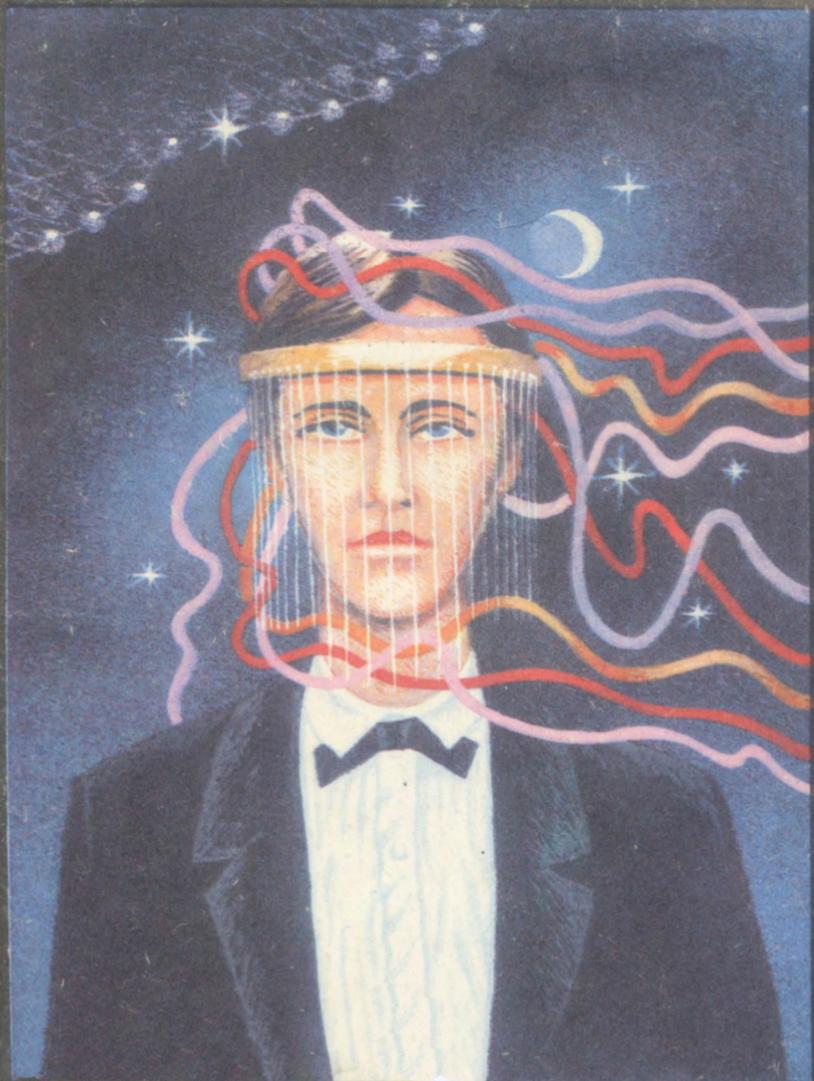


ISSN 0132 - 6783

НФ

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ОПЕРАЦИЯ
НА СОВЕСТИ



НФ



СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

**ОПЕРАЦИЯ
НА СОВЕСТИ**

**Москва
Издательство
«Знание»
1991**

ББК 84(2)7
О-60

Текст печатается по изданию:

Научная фантастика: Сборник.— Вып. 20.— М.: Знание, 1979.

О-60 **Операция на совести: Сборник научной фантастики.**— М.: Знание, 1991.— 240 с.

ISBN 5-07-001989-9

3 р. 60 к.

600 000 экз.

Основу книги составили произведения юбилейного, 20-го по счету, сборника научной фантастики — Ариадны Громовой, Дмитрия Биленкина, Кира Бульчева, Зиновия Юрьева и других.

Зарубежная фантастика представлена авторами из Англии, США, Аргентины и Испании.

О 4702010201—111
073[02]—91 информ. письмо

ББК 84(2)7

ISBN 5-07-001989-9

© Издательство «Знание», 1979 г.
© Рыбкин Р. Л., 1991 г.

ВПЕРЕД И ВЫШЕ!

Перед вами сборник научной фантастики, выпущенный 12 лет назад. В нем не убавлен и не добавлен ни один рассказ. И советская, и зарубежная части представлены достаточно известными именами. Но жизнь за это время ушла вперед, произошли немалые изменения, все четче стали проступать закономерности развития общества, и сейчас мы имеем уникальную возможность прочитать эти рассказы новыми, свежими глазами. Многие из них написаны даже не в конце 70-х, но и того раньше — в 50-е, 60-е годы. Конечно, на них лежит отпечаток эпохи, их породившей. Но в то же время сейчас отчетливо проступает и то, что раньше не очень замечалось, а теперь ощущается как нечто актуальное. Интересно вернуться к старым пророчествам и проверить, какие из них сбылись. И в то же время как бы вскрыть новые пласты этих произведений, те, которые выглядят сейчас особенно своеобразными.

Одна из особенностей, которые сегодня мы наконец имеем возможность подчеркнуть открыто, не прибегая к эзопову языку, — общность тенденций в советской и зарубежной прозе этого направления, равно как в подлинной литературе вообще. Несложно проследить, что литература и в данном случае лишь отражает явления, имеющие место в реальности. Основанная на непреходящих человеческих ценностях идеология, утверждающая Добро и Справедливость, по сути и должна быть общей для людей, населяющих в одном временном отрезке одну небольшую планету.

Для Запада 50-е годы, а для нас — 60-е — период упоения научно-техническим могуществом, первая волна научно-технической революции. Там это было связано с созданием знаменитого общества потребления, а у нас — с совершенно иными сюжетами, с успехами нашей страны в космосе. Но так или иначе, а для этого периода характерен романтический взгляд на будущее. Это особенно видно сейчас, если перечитать многочисленные футурологические сочинения 60-х годов, посвященные будущим 80-м и 90-м годам. Сопоставление их с действительностью, к сожалению, далеко не всегда позволяет сохранить оптимизм.

Развитие общества представляло тогда для наших футурологов в виде спирали — вперед и выше. Это нашло отражение в рас-

сказе А. Громовой «Дачные гости». Автору представлялось, что к 2183 году на Земле не будет войн, эксплуатации и угнетения. Люди будущего предстают в рассказе в виде своего рода ангелов с крылышками — они почти не едят, не спят, не видят сны. Их жизнь размеренна и в высшей степени рациональна.

Год, описанный в произведении, еще не наступил. Однако уже сейчас со всей определенностью можно сказать: такого рода трансформации в обозримые сроки не ожидается.

А вот стремление к отходу от обыденности, полет души, очевидно, всегда будут свойственны человеку. Рассказ патриарха американской фантастики Рэй Брэдбери «Чудеса и диковины! Передай дальше!» — это вдохновенный гимн исследователю неизвестного, романтику, мечтавшему о заселении космического пространства, «всех планет всех солнц». «За спиной у каждого исследователя стоит ребенок, которым он когда-то был. Я держу за руку этого ребенка, он держит за руку себя взрослого, вместе мы составляем магическую цепь...» Да, романтика и поэзия неведомого помогли людям сделать первые шаги в космосе. Можно сказать, что этот рассказ Брэдбери, опубликованный за два года до запуска первого советского спутника, — в какой-то степени сбывшееся пророчество. Люди теперь живут в космосе годами и, побывав на Луне, собираются на Марс. И пусть процесс идет медленнее, чем ожидалось, но этот путь уже проторен. Однако он породил и новые проблемы.

Давным-давно, еще во времена Карла Линнея, ученые представляли себе путь науки примерно следующим образом. Есть некоторое количество заполненных знанием ячеек, а есть какое-то количество незаполненных, и наша задача состоит в том, чтобы их заполнить. Фактически 200 лет наука, а вслед за ней и школа шли по этому пути. И лишь XX век с его апокалиптическими ужасами привел человечество к более широкому взгляду на жизнь. Не просто движение по спирали, вперед и выше, позади — хуже, впереди — лучше, не простое заполнение пустых ячеек, приращение все более полного объема знаний, но и провалы, отказы, отход в сторону — и не традиционные пути. Этот подход с наибольшей полнотой выразил опять-таки Рэй Брэдбери. Чудеса и диковины, согласно ему, существуют, и чем больший объем знаний мы получаем, тем больше загадок предстает перед нами вновь. Загадочным оказывается телепатический контакт индейцев — деда и внука, их язык жестов около Холмов Свинных Теней, их встреча с завоевателями Нового Света в рассказе «Может быть, мы уже уходим».

Интересно, что тему необычных контактов подхватывают и советские фантасты.

Так, у Кира Булычева девочка Лена читает мысли мутанта-муравья (рассказ «Мутант»). Иной поворот этой темы в рассказе Романа Подольного «Живое». Один из его героев — «специалист по надежности» олицетворяет власть над вещами и силу порядка. Его раздражает все то, что не вписывается в систему его взаимодействия с жизнью. Но неподвластным ему оказывается мир живого, что существует по своим бесконечно разнообразным, непорядоченным законам.

И наоборот — умение глубже, чем дано подавляющему большинству из нас, почувствовать живую плоть, ощутить исходящие от нее сигналы отличает главное действующее лицо рассказа Эрнста Маринина «Тете плохо, выезжай!». Экстрасенс Саврасов воздействует на больные внутренние органы своего пациента, заставляя отступить тяжелый недуг. Труд его нелегок, но он не только приносит ему ни с чем не сравнимое удовлетворение, но позволяет подойти к разгадке такого рода успеха. Саврасов приходит к выводу: чем больше вокруг вас близких людей, которые улавливают ваши сигналы, тем надежнее ваше существование. А когда человек одинок, у него ухудшается информационный и энергетический обмен, появляются условия для прогрессирующих заболеваний. Каждый из нас найдет немало примеров, подтверждающих эту идею, казалось бы, фантастического рассказа.

В части рассказов сборника «чудеса и диковины» обретают иронический оттенок. Ведь развитие общества может идти не только вперед и выше, но и в сторону или даже назад. Так, в юмористическом ключе рисует Том Вулф мир взбесившейся техники в рассказе «Автоматизированный отель». В нью-йоркском отеле «Хилтон» все устроено по последнему слову науки и техники. Однако автоматический лифт, хотя уже и заполнен пассажирами, не поднимается, ожидая своего времени; бесконечно вспыхивают световые табло, растолковывая ситуацию, которая и без того абсолютно ясна; то и дело слышатся звонки и гудки; приказы и просьбы принимаются лишь в письменном виде. В конечном счете оказывается вытесненным все то, ради чего создана эта великолепная автоматика — человек вынужден забыть о собственных потребностях, обеспечивая ее функционирование.

Тот же иронический настрой отличает и рассказ Хосе Гарсиа Мартинеса «Роб-ерт и Роб-ерта». В описываемом им мире будущего существование людей чрезвычайно затруднено присутствием множества человекоподобных роботов, и нашим с вами собратьям приходится проявлять осторожность и подозрительность, чтобы не дать себя проглотить, если покажется, что встретились родственные души.

Момент развития вспять (не без примеси ностальгии о не-

давнем прошлом человечества) изображен и в известном, теперь можно сказать, классическом рассказе Фредерика Брауна «Волновики». Таинственные пришельцы вынудили землян отказаться от того, что все мы считаем чуть ли не главным завоеванием цивилизации — электричества, атомной энергии, а значит — радио, кино, телевидения, современного транспорта, множества бытовых удобств. Однако растерянность героев Фредерика Брауна была не такой уж долгой. Вернувшись к нехитрым достижениям наших предшественников, крупнейшим из которых было использование энергии пара, они вкусили наконец те блага жизни, которыми пользовались прошлые поколения людей и которыми считаем себя обделенными все мы, люди конца XX века. Замедлился ритм жизни — и острее стали восприниматься беды ближнего, появилось больше потребности в заботе друг о друге, стала ощутимей встречающая волна тепла.

Некоторую, может быть, не лежащую на поверхности связь я усматриваю между этим рассказом и повестью советского фантаста З. Юрьева «Черный Ящик». Я имею в виду напоминание о необходимости при любых обстоятельствах оставаться самим собой, беречь в себе человека. Молодой кандидат наук Анатолий Любовец создает необычную машину. Его черный ящик, или в обиходе Черный Ящик, обладает искусственным разумом, способным к развитию и совершенствованию.

Сюжетная коллизия, выстраиваемая автором, способствует утверждению мысли: главным в системе наших ценностей является сохранение неповторимой человеческой личности, способности к творчеству, направленному на благо себе подобных.

По сути та же установка характеризует и рассказ Дм. Биленкина «Операция на созвездии», давший название нашему сборнику. За время, прошедшее с первого издания, рассказ публиковался много раз, но с годами он лишь стал еще более актуальным. Главная его мысль сводится к следующему: общество, ставящее своей задачей нивелировать сознание, воспитывать в людях отсутствие сострадания — такое общество обречено. Обречено и государство, состоящее из не способных или не желающих думать, запуганных и законопослушных индивидуумов. Но, по счастью, в нем обязательно находятся те, кто берет на свои плечи заботу о возрождении человека.

Есть люди, которых привлекает в фантастике возможность отвлечься от суровой действительности, от гнета реальных фактов, унести в выдуманные миры. Но самым большим ценителем ее, наверное, все же является тот, кого фантастика учит думать, сопоставлять, анализировать, сравнивать пройденный путь и тот, который еще предстоит пройти, и понять его глубинные закономерности.

Е. Ванлова

СОВЕТСКАЯ
ФАНТАСТИКА



ЗИНОВИЯ ЮРЬЕВ

ЧЕРНЫЙ ЯША

ПОВЕСТЬ

Глава 1

Не знаю, как вы, а я вовсе не уверен, что астрономам удалось точно измерить продолжительность суток. Бывают дни коротенькие, даже куцые, когда ничего мало-мальски интересного просто не успевает случиться, а иногда, правда редко, выпадают дни, просто удивительные по своей емкости. Если учет в небесной бухгалтерии поставлен прилично, они там должны считать такие дни за два, а то и за три.

Именно такой удлинненный день и выпал нам восьмого восьмого восемьдесят восьмого года. И вовсе не потому, что подобное сочетание цифр повторяется раз в одиннадцать лет. Дело, как вы увидите, совсем не в этом.

Впрочем, начнем по порядку. А поскольку порядок у нас в Институте искусственного разума начинается с директора Ивана Никандровича Бутова (во всяком случае, он так считает) и кончается им же (так считают остальные), то я приступлю к своему рассказу именно с него.

Иван Никандрович, как он мне потом рассказывал, пытался в этот миг вспомнить одну фразочку, которую очень любил. Говаризал ее его покойный дед Никифор Христофорович, бывший, между прочим, как и наш директор, членом-корреспондентом Академии наук.

Поводом для воспоминаний была рюмка коньяка, которую директор выпил незадолго до этого с тремя американскими коллегами из Массачусетского технологического института. Американцы восхищенно произносили «экселлент», «террифик» и даже

© Издательство «Знание», 1979 г.

© З. Юрьев, 1991 г.

«фантастика», и было неясно, имеют ли они в виду достижения института, секретаршу директора Галочку, которая принесла им кофе, или сам коньяк.

Иван Никандрович, несмотря на скромность, склонялся к мысли, что восторженные эпитеты относились к институту, а же уверен, что — к Галочке. Посмотрим правде в глаза: институты, сравнимые с нашим, у них есть. Коньяк — тоже. Галочка же уникальна. Я настаиваю на этом, хотя понимаю, что теоретически могу быть необъяснимым, поскольку давно уже влюблен в нее. И к сожалению, без больших успехов...

Итак, американцы ушли. Галочка быстро убрала рюмки, а Иван Никандрович, ощущая приятную теплоту в пищеводе, вспоминал, что говорил об этой теплоте в таких случаях дед. И вспомнил. А говорил дед так: словно Христос босиком по душе пробежал. Что значит математик, до чего точное определение!

И вообще, жизнь была прекрасна. Прекрасно было яркое августовское солнышко, что радостно вливалось в его кабинет, почтительно умерив свой пыл в нежно-салатовых драпировках. Прекрасен был сам кабинет с двумя полированными столами, поставленными в виде восемнадцатой буквы алфавита. О эта восемнадцатая буква! Буква, так долго томившая душу Ивана Никандровича далекой мечтой и ставшая наконец двумя солидными столами в его директорском кабинете. Буква «Т»! И он, Иван Никандрович Бутов, восседает за верхней хозяйской перекладной, посетители же пристраиваются к длинному буквенному столу.

«Ах ты, старый карьерист», — подумал о себе директор, и оттого, что не потерял он элегантную самоиронию, которой всегда гордился, настроение у него стало еще лучше.

Дверь кабинета беззубо чавкнула и впустила Шишмарева.

— Добрый день, Сергей Леонидович, прошу. — Иван Никандрович пожал руку сотруднику, пристально взглянул ему при этом в глаза (он всегда так делал) и усадил в кресло.

— Слушаю, Иван Никандрович, — с наигранной молодцеватостью сказал завлаб Шишмарев. Его полное, обычно добродушное лицо с черными, слегка навывкате глазами, изображало напряженное внимание. «Вот даже испарина прошибла», — отметил про себя Иван Никандрович, увидев, что завлаб вытер платком лоб. Отметил и мысленно усмехнулся: «Господи, вот не думал, что тебе так понравится на старости лет почтительность в подчиненных». И снова самоирония была ему приятна.

— Как дела в лаборатории? — спросил директор.

— Все в порядке, Иван Никандрович, — сказал завлаб, опять вытащил платок из кармана и вытер совершенно сухой лоб. «Только не тереть лоб в третий раз, — подумал он. — Это уже бы-

ло бы похоже на издевательство. А два — как раз. Старик любит, когда подчиненные волнуются и трепещут...»

«Хитер, однако, наш Сергей Леонидович, тонок, — засмеялся про себя Иван Никандрович. Он заметил, что лоб у сотрудника был совершенно сухой. — Хотел привлечь внимание к своей несуществующей испарине. Неужели эти негодяи так изучили меня, что пытаются играть на моих самых потаенных инстинктах?»

— Тогда перейдем к делу, — сказал директор. — Вы, возможно, уже догадались, зачем я вас вызвал. К сожалению, руководитель учреждения часто оказывается похож на мужа: он обо всем узнает последним. — Шишмарев хотел было изобразить на лице полагающуюся в таких случаях недоверчивую улыбку, но не успел, потому что директор добавил: — Я имею в виду вашего Любовцева...

Здесь следует сказать, что Любовцев — это я, Любовцев Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, двадцати девяти лет, руководитель группы в лаборатории Шишмарева, холостой и, как вы уже знаете, безнадежно влюбленный в секретаршу директора Галочку.

Когда директор упомянул все мое имя, Шишмарев вздохнул. С момента его прихода к Ивану Никандровичу это был первый его искренний звук. Наш завлаб почти всегда вздыхает, когда называют мое имя, и вздохи эти многообразны, как жизнь. Здесь, я полагаю, и сожаление: неглупый вроде парень, но дураковат (излюбленное словечко Шишмарева), резковат, невыдержанноват (слово мое. — А. Л.) и прочее и прочее. Но главный повод для вздохов это, конечно, Черный Яша. Не ошибся мой завлаб и на этот раз, потому что директор продолжал:

— Вчера мне пришлось быть в одной весьма высокой научной инстанции. Поговорили о жите-бытье, о делах, а потом некое начальственное лицо осведомляется у меня с улыбкой: «Что, — говорит, — милейший Иван Никандрович, никак у вас в институте некоторые собираются кормить грудью компьютеры!» Я сижу, молчу и думаю. Точь-в-точь как вы сейчас, уважаемый Сергей Леонидович. И никак не могу сообразить, о чем речь идет... Ну-с, кое-как отшутился. Сравнение, как вы понимаете, достаточно игривое, чтобы почтительно пошутить. Примчался сюда, навел справки. И представьте, все, оказывается, слышали о нозом, как говорят, подходе Любовцева к проблеме обучения ЭВМ, а я нет. То есть если уж быть точным, вы что-то, помнится, рассказывали мне, но то ли это было давно, то ли я запомнил. Так что уж простите старика за назойливость, введите меня в курс дела: что за грудь, чья и так далее.

На последней фразе Иван Никандрович поморщился: вдруг поперла из него здакая старческая брюзгливая обидчивость.

— Видите ли, Иван Никандрович, нам казалось, что идем Любовцева столь... как бы выразиться... столь зыбкие и неопределенные, что я не считал необходимым постоянно держать вас в курсе работ, тем более что никаких результатов пока мы не получили, и я вовсе не уверен, что их вообще когда-нибудь получат.

Иван Никандрович отметил, как по лицу сотрудника медленно расплывались красные пятна. Наползая на желваки, они чуть шевелились.

«Мы не получили. Молодец, сказал «мы», а не «он»...»

— Прекрасно, дорогой Сергей Леонидович. Мне даже хочется еще раз пожать вам руку. И действительно, зачем советовать с директором, с этим администратором и, может быть, даже бюрократом? А то, что над ним могут подсмеиваться в инстанциях из-за этих, как вы говорите, зыбких и неопределенных идей, так над ним же посмеяться каждому лестно: и человек пожилой, и член-корреспондент...

— Иван Никандрович, как вы можете...— сказал Шишмарев, и голос его дрогнул. Он встал и посмотрел на директора.— А что касается наших работ по нестандартному обучению компьютеров, то злые языки уже давно избрали нашу лабораторию своеобразной мишенью для упражнений в остроумии. Знаете, есть такая игра — бросание стрелок в мишень...

— Садитесь, прошу вас,— Иван Никандрович встал и торжественно положил руки на плечи заведующего лабораторией, словно посвящая его в рыцарский орден.— Да, конечно, злых языков у нас предостаточно...

Вошла Галочка с кофейником и двумя чашечками на подносе. И угадала. Лучшее момента для паузы не придумаешь.

— Ну-с, и что мы будем делать с вашим Любовцевым и его зыбкими идеями?— спросил Иван Никандрович, уже окончательно успокоившись.

Галочка, которая шла в этот момент к двери, замедлила шаг. Как она мне потом передавала, ее волновал не столько я, сколько Черный Яша, с которым она не раз тщетно пыталась разговаривать и к которому, по ее же словам, привязалась больше, чем ко мне.

— Поверьте, мне не слишком приятно говорить вам это,— твердо сказал мой завлаб,— но я полагаю, что мы прекратим эти работы.

Это даже не было предательством или ударом в спину.

Я сам уже давно потерял какую-либо надежду и продолжал возиться с Черным Яшей лишь из глупой амбиции.

— Скажите, Сергей Леонидович, только честно: вы прекращаете эти работы из-за того, что я рассказал вам, или же вы действительно намеревались это сделать?

Иван Никандрович откинулся в кресле и пристально посмотрел на Шишмарева.

— Боюсь, я не смогу дать вам однозначный ответ. Мы уже давно потеряли надежду, что получим какие-нибудь результаты. С другой стороны, знаете, это как на остановке автобуса: стоишь, ждешь, ждешь, знаешь, что давно нужно было уйти, и все-таки стоишь зачем-то. И наш сегодняшний разговор просто помог мне принять решение, которое и так запоздало.

— Не знаю, не знаю,— задумчиво сказал Иван Никандрович.— Мне, слава богу, шестьдесят восьмой годок пошел, а я до сих пор никак не привыкну к слову «нет». Это же страшная ответственность, когда говоришь кому-то «нет». А вдруг все-таки что-то могло явиться на свет божий и не явилось только из-за слова «нет»? Ужасное слово, ужасное своей окончательностью... Пусть уж лучше ваш Любовцев еще немножко покормит грудью свой компьютер...

Спустя некоторое время я спросил Ивана Никандровича, почему он неожиданно вступился за меня.

— Не знаю,— пожал он плечами.— Вдруг мне стала неприятна даже мысль о том, что я запрещаю эту работу. Вообще, весь день я был в странном состоянии, Толя. То я начинал нести какую-то, в общем, не свойственную мне чепуху, то глупо обижался и вдруг вопреки всякой логике, реприманду в инстанциях и словам Шишмарева вступился за тебя. Причем, заметь, я представлял твою работу в самых лишь общих чертах. Это же как раз та мистика, в которую верит каждый уважающий себя ученый. Ты-то веришь в какую-нибудь чертовщину, например в приметы?

— А как же, Иван Никандрович,— сказал я,— я набит пред-рассудками, буквально нафарширован ими. Ну во-первых, я всегда сплевываю через левое плечо три раза, когда мне дорогу перебегают кошка..

— Любая или только черная? — деловито осведомился Иван Никандрович.

— Любая,— твердо ответил я.

— Гм, а я так только от черных. Может, твой метод и лучше. Мы оба засмеялись.

Мы чувствовали себя детьми, несмотря на разницу в возрасте и положении. Мы были возбуждены и знали, что по коридорам института проносятся сивозняки истории.

Они уносили мелкий мусор и почтительно замирали перед триста шестнадцатой комнатой размером двадцать семь квадрат-

ных метров. В комнате триста шестнадцатой стоял наш Черный Яша, и в то время он уже не просто говорил, он буквально не давал нам жить...

Глава 2

Удивительный день восьмого восьмого восемьдесят восьмого продолжался.

Я сидел перед Яшей, уставясь невидящим взглядом в его объективы, и предавался отчаянию. Шопенгауэр рядом со мной показался бы развязанным шалуном. (Шопенгауэра я не читал, но воображал его себе очень старым и очень печальным немцем в черном фраке и цилиндре).

Для отчаяния были все основания. Черный Яша молчал с нечеловеческим упорством. Молчал он уже второй год, и в этом строго говоря, не было ничего необычного, потому что он представлял собой всего-навсего черный ящик, набитый десятью миллиардами нейристоров. И я, старший научный сотрудник Анатолий Любовцев, с упорством маньяка пытался превратить его в искусственный мозг.

Когда я начинал работу, каждый раз, засыпая, я мысленно составлял свою речь при вручении мне Нобелевской премии. У меня накопилась масса замечательных речей. Потом, когда твердая уверенность в скорой поездке в Стокгольм стала вянуть и засыхать, я подумывал даже о том, чтобы напечатать сборник этих речей на машинке и разослать тем, кому они могли пригодиться.

Это было в доисторическую эпоху. Я давно уже потерял надежду на премии. Я потерял надежду, что из моей работы вообще получится хоть что-нибудь, кроме подтрунивания коллег, не всегда безобидного, и Галочкиного молчания. Я потерял уверенность в себе.

За это время я похудел, спал, как уверяла меня мама, с лица, перестал ходить в бассейн и учить французский. Я превратился из общительного приветливого молодого человека, каким казался себе раньше, в невропата с мизантропическим восприятием жизни.

В сотый, в тысячный раз прокручивал я в голове печальный и однообразный фильм «Моя работа за последние полтора года».

Сначала была мысль. Как и всякая мысль, она появилась маленькой, жалкой и беззащитной. Я даже не обратил на нее особого внимания. Но она росла, крепла, начала, наконец, стучать ножками в мою черепную коробку, требуя, чтоб ее заметили.

Мысль была довольно проста и не слишком оригинальна.

Не успели в сороковых годах появиться первые американские электронно-вычислительные машины ЭНИАК, рьяные журналисты и популяризаторы поспешили назвать их искусственным мозгом. Но ни громоздкие ламповые ЭНИАКи, медлительные и капризные, ни их далекие потомки, в тысячи раз более стремительные и компактные, не имели никакого права называться думающими и разумными. Все они, в сущности, дети простого арифмометра. Несравненно более сложные, умеющие делать то, что и снится не могло старым добрым канцелярским «Феликсам», но все равно отпрыски арифмометра. Потому что работать они могли только по заданной программе. Возьми это, сложи с тем, запомни то и так далее. Просто машины. Замечательные машины, но машины. Не менее, но и не более того.

Мысль, как я уже сказал, была проста. Собрать прибор на новых элементах нейристорах, которые кое-чем напоминают нейроны мозга, прибор, относительно сравнимый по сложности с человеческим мозгом.

Нет, не думайте, что кто-нибудь точно знает, как устроен и как работает человеческий мозг. Только в общих чертах. Мысль заключалась в том, чтобы обучать наш прибор не набором жестких программ, а тем же методом, каким обучается ребенок. Надо обрушить на машину поток информации. Такой же информации, которая обрушивается на младенца с того момента, когда в нем впервые шевельнется жизнь. И тогда, может быть, не совсем ясным для нас образом машина начнет превращаться в искусственный мозг. В этом «может быть» и было все дело.

Мы собрали такой прибор, применив самые последние достижения миниатюризации. Впрочем, «мы» — это не совсем точно. Мы, то есть наша лаборатория, не смогли бы сконструировать подобный прибор даже за тысячу лет работы без выходных. А поскольку на такой энтузиазм рассчитывать было трудно, всю эту работу обидно легко проделала большая институтская ЭВМ. Другие машины собрали эту схему, и на свет появился наш прибор. Подобно любому прибору, личная жизнь которого не совсем ясна исследователю, мы относили его к категории так называемых черных ящичков. Но черным ящичком бедняга пробыл недолго. Очень скоро он получил имя Черного Яши. Кто именно первый окрестил его так: сказать невозможно. По меньшей мере двадцать человек претендовали на эту честь. Подчеркиваю: претендовали. Претендовали тогда, когда мы с минуты на минуту ожидали, что вот-вот Яшенька скажет «мама» или «папа».

Сегодня никто не настаивает на своих авторских правах, никто не интересуется Яшей. Потому что Яша молчит. Ребенок не удался. Это было печально, ибо даже самый неудачный ребенок

ни в какой мере не бросает тень на метод его изготовления. Уродец же Яша убил мою идею.

Как я верил в него, в нашего Черного Яшу! Когда он впервые появился в нашей комнате номер триста шестнадцать, я не мог отойти от него. Я испытывал за него поистине отцовскую гордость. Он казался мне прекрасным: новая, без единой царапины панель, три глаза-объектива, придававших ему загадочный вид буддийского божества.

С бьющимся сердцем я включил Яшу в сеть. Засветилась контрольная лампочка, и наш первенец ожил. То есть мы решили, что он ожил. Ожила на самом деле только контрольная лампочка.

Мы все, разумеется, понимали, что даже в идеальном случае, если наши надежды сбудутся, пройдет какое-то время, пока Яша подаст хоть какие-нибудь признаки жизни. Но не верьте, что ученые обладают холодным и бесстрастным мозгом. Я не знаю людей, более склонных к детским фантазиям, людей, более увлекающихся и доверчивых. Строгие умы дают в лучшем случае великих классификаторов. Двигают науку только несолидные фантазеры. А я твердо рассчитывал двинуть науку. Да что двинуть — я собирался основательно проташить ее вперед.

Итак, мы включили Яшу в сеть. Если бы тут же застрекотал печатающий аппарат и мы прочли: «Привет, ребята», клянусь, я не был бы особенно поражен. Когда наяву уже составляешь речи для получения Нобелевской премии, можно ждать чего угодно: исчезновения силы тяжести, беседы с соседским зрделем Батаром о смысле жизни, наконец, появления нашего лаборанта Феденьки без его лилового галстука. В этом галстуке Федя делал у нас курсовую и дипломную работу, в этом галстуке был зачислен к нам в штат, в этом галстуке женился и, увы, развелся.

Но галстука Федя не снял, и мы, вздохнув, принялись воспитывать Яшу. Ни один ребенок в мире не подвергался такому интенсивному уходу. Учебные фильмы следовали один за другим. Особым распоряжением по своей группе я потребовал, чтобы никто не смел молчать более нескольких секунд, необходимых для того, чтобы набрать глоток воздуха в легкие. Во время разговора мы вначале невольныс поворачивались в сторону Яшинных микрофонов, но потом привыкли не смотреть на него.

Мы учили Яшу грамоте и счету, рассказывали ему сказки и ссорились при нем. Однажды, когда Феденька не соизволил вечером прибрать свой стол, я утром устроил ему сцену. Может быть, оттого, что нервы мои были к тому времени уже почти на пределе, я кричал, визжал, топал ногами.

— Толя,— ислуганно сказала Татьяна Николаевна,— при Яше, побойтесь Бога!

«При Яше! Я сразу успокоился и невесело рассмеялся.

— Да я не обижаюсь, Анатолий Борисович,— мужественно пробормотал Феденька, хотя все в нем тряслось от обиды, в том числе губы и лиловый галстук.— Вы не волнуйтесь, может, он еще заговорит.

Мягкий душный комок плавно поднялся откуда-то снизу и остановился у меня в горле. Глупый, добрый Феденька, спасибо.

По вечерам я оставался один с Черным Яшей. Я садился перед его объективами и начинал рассказывать ему мою жизнь. Никогда никому, включая самого себя, не рассказывал я этих вещей. И не потому, что жизнь моя была полна жгучих или постыдных тайн. Просто кому интересен этот обычный осадок человеческой памяти?

Я рассказывал Яше, как полюбил в первом классе девочку в светлых кудряшках по имени Леся. Я любил ее страстно и пылко. Иногда на перемене я садился за ее парту, и сознание, что я сижу на ее месте, наполняло мою крошечную трепещущую душонку сладким и мучительным томлением. А потом, когда ее родители получили новую квартиру и Леся исчезла, отчаянню моему не было предела. Мир померк в моих глазах, потому что светлые кудряшки больше не крутились на третьей от учителя средней парте и не наполняли класс праздничным сиянием. Через месяц я не мог вспомнить ее фамилии.

Я рассказывал, как в четвертом классе меня выгнали из школы за то, что я в припадке какого-то безумного и хвастливого озорства открыл зимой окна и выморозил класс.

Учитель истории, взъерошенный и добрый человек с нелепой кличкой Такса (он часто повторял «так сказать», сливая слова), печально спросил, кто это сделал. Лихое озорство уже давно выветрилось из меня, мне было стыдно, неловко, страшно. Я мечтал повернуть время минут на двадцать назад, чтоб провести перемену более пристойным образом, но время не поворачивалось.

Я знал, что надо встать и сказать: «Это сделал я»,— но позорная трусость опутала меня по рукам и ногам. Следствие продолжалось минут пять, а на шестой минуте Такса уже вел меня по коридору в кабинет директора. Со стен на нас смотрели классики русской литературы. Смотрели сурово и неодобрительно. Особенно хмурился Лев Толстой.

Такса молчал, и мне вдруг показалось, что если бы я решил убежать, он бы не погнался за мной. Но бежать было некуда, и я даже не пытался вырвать ладошку из шершавой ладони Таксы.

Когда директор Александр Иванович, вздохнув, сказал, чтобы я забрал свои вещи, шел домой и без родителей не приходил, я

заплакал. Мне было стыдно, стыдно слез, но я не мог остановиться.

Я рассказывал Яше, как украл у своего товарища Эльки Прохорова одиннадцать марок. У него было безобразно много марок, у меня постыдно мало. В тот вечер он рассыпал по столу все свои дубликаты, которые мне не на что было выменять или купить. И безбожно хвастался богатством. Я прижимал к рассыпанным маркам рукава своего пиджака, марки прилипали к ним, и с бьющимся от сладкого ужаса сердцем я незаметно прятал их в карман. Мне было страшно, но, увы, вовсе не стыдно...

Я рассказывал Яше, как полюбил в шестом классе девочку Тату, которая была на голову выше меня и весила, наверное, килограммов на двадцать больше. Теперь я думаю, что она могла бы убить меня одним ударом кулака. Но она меня не убила, а даже довольно спокойно разрешила поцеловать себя, для чего ей, правда, пришлось нагнуть голову. В благодарность я поклялся ей в вечной любви и вырезал номер ее телефона на своем ботинке. Увы, ботинок довольно быстро изорвался, телефон сменили, а вечной любви уже в который раз не хватило до конца четверти.

Боже мой, какой только ерунды я не рассказывал этими бесконечными вечерами Яше! всю жизнь свою, от первого проблеска самосознания (он почему-то связан у меня с тенистой аллеей, по которой я убегаю от кого-то или чего-то) до своих отношений с Галочкой, вернее, отсутствия их, я рассказывал нашему бедному Черному Яше. Бедный, бедный Яша! Наверное, ему не хватало золотых кудряшек девочки Леси, слез в кабинете директора, украденных марок, ботинок с номером телефона и множества других вещей, из которых складывается та странная и загадочная штука, которая называется человеческой личностью и человеческой жизнью.

Я делал все, чтобы заменить ему жизнь, но я быстро понял, что был обуреваем детской в своей наивности гордыней. Я не был Богом и не был творцом. Я не был волшебником, и не мог из ничего, из нелепых своих воспоминаний создать новую жизнь.

Шли дни, недели, месяцы. Яша молчал, и я чувствовал, как нестройной чередой уходят от меня уверенность, надежда и мечта. Уверенность покинула меня довольно быстро. Она убежала, даже не попрощавшись. Должно быть, она спешила к очередному юному дурачку. Расставание с надеждой было куда более мучительным. Я цеплялся за нее, просил не уходить, но и она, печально улыбувшись на прощание, исчезла. Оставалась только мечта. Я берег ее, я боялся за нее, как боится, наверное, мать за последнего из оставшихся в живых ребенка. Но и ее я не сумел удержать.

И вот я сижу перед Яшиными глазами-объективами, уронив, как пишут в таких случаях, руки на колени, и молчу. Мне теперь не горько, не обидно. Внутри у меня давно уже образовался какой-то вакуум. Я сижу перед Яшей и молчу. Все, что я мог ему сказать, я давно сказал. Мне стыдно. Стыдно перед Сергеем Леонидовичем, который больше года прикрывал меня своей мягкой и вовсе не мужественной спиной. Стыдно Феденьки, который смотрел на меня как на пророка и потерял на мне и Яше полтора года. Стыдно Татьяны Николаевны, которая за все время ни разу не позволила себе усомниться в исходе нашей работы. Стыдно Германа Афанасьевича, нашего инженера, который переработал столько, что, получи он все заслуженные отгулы, мог бы вполне пройти пешком от Москвы до Владивостока и обратно.

Я сижу и в тысячный раз думаю, что все могло быть иначе, если бы только Черный Яша заговорил. Ну что ему стоит, что там происходит в миллиардах его нейристоров, в бесконечных цепях его электронной начинки?

Слепая и глухая ярость охватывает вдруг меня. Я поднимаю кулак и изо всех сил ударяю по коже.

— Да будешь ты, черт тебя побери, разговаривать или нет? — воплю я пронзительным базарным голосом.

И сразу успокаиваюсь. Нет, не успокаиваюсь, а замираю.

Потому что в этот момент печатающий Яшин аппарат оживает и коротко выстреливает.

Я замираю. Во мне подымается только одно чувство — страх. Сейчас я скошу глаза на бумагу и увижу: она пуста. И я пойму, что у меня начались галлюцинации. И не этого я боюсь. Впервые за долгие месяцы в комнату триста шестнадцать заглянула надежда.

Безумная, нереальная, но надежда.

Я сижу перед Черным Яшей и панически боюсь соскочить глаза на печатающий аппарат. В короткую долю секунды я понимаю игроков, поставивших на карту имение, последнюю копейку, жизнь. Они открывают карты мучительно медленно, потому что, пока ты не знаешь правды, можно надеяться. Факты для надежды, что святая вода для нечистой силы. Я думаю об этой чепухе, потому что боюсь соскочить глаза. Всю жизнь я был трусоват. Хоть и не новая для меня, мысль эта пронзает мозг своей жестокой правдой, и от этой правды я смотрю на бумагу.

На бумаге одно коротенькое слово: «Нет».

Я взрываюсь, как лопается глубоководная рыба, мгновенно вытасненная на поверхность. Все, что было зажато внутри, вырывается наружу. Глаза застилают слезы.

Я вскекиваю. Я реву. Я кричу. Я не знаю, что кричу.

В комнату врывается Татьяна Николаевна. В глазах ее ужас. — Толенька, милый, что с вами? — жалобно вопрошает она. Я хочу что-то объяснить ей, что-то сказать, успокоить ее, но не могу остановить странный торжествующий крик.

И тогда я показываю ей рукой на печатающий аппарат. Она подскочила к нему, мгновенно поняла, в чем дело, запричитала. Сотни поколений ее деревенских предков научили ее этому искусству, о котором она не имела ни малейшего представления.

И не важно, что они причитали при виде сына или мужа, живым возвратившегося с войны, а она причитала при рождении первого в мире искусственного разума.

Она бросилась мне на шею, я обнял ее, и мы пустились в медленный вальс по комнате триста шестнадцать. Я задел локтем осциллограф, и он с грохотом упал на пол, остро брызнув мелкими стеклянными осколками. Они были прекрасны, эти осколки, и они хрустели под нашими ногами, и мир был тепел, прекрасен и скрыт волшебным туманом, из которого вдруг появился Федя, крикнул «ура», вскочил зачем-то на стул, вспрыгнул со стула на стол, еще раз крикнул «ура» и сорвал с шеи лиловый галстук. Было страшно и смешно смотреть, как Федя размахивает заселенной лиловой тряпкой, и только при виде ее в Фединой руке, а не на шее, я по-настоящему поверил, что нечто действительно необычное случилось восьмого восьмого восемьдесят восьмого.

Из клубящегося сказочного тумана вынырнула долговязая фигура нашего инженера Германа Афанасьевича. В руках у него была колба с бесцветной жидкостью.

— Ура! — рявкнул он. — Отметим, отметим, отметим! — Последние три слова он пропел неожиданным тенором на мотив «Три карты, три карты, три карты» из «Пиковой дамы».

Туман походил на цилиндр фокусника, из которого достают кроликов. Очередным кроликом оказался наш завлаб. Странно, однако же, устроены люди. Сергея Леонидовича несколько не поразил руководитель группы, танцующий медленный вальс на разбитом осциллографе со своим младшим научным сотрудником. Его внимание не привлек и старший лаборант, методично подпрыгивающий на столе и с криками «ура» размахивающий галстуком. Его внимание привлекла склянка со спиртом в руках Германа Афанасьевича.

— Что это значит, Герман Афанасьевич? — строго молвил завлаб. — Вы разве не читали приказ по институту об упорядочении расхода спирта?

— Чи-тал, чи-и-тал, чи-и-и-тал! — все тем же оперным речитативом пропел инженер и вдруг добавил совершенно нормаль-

ным голосом: — Неужели же мы будем столь мелочны, что не отметим выдающееся событие!

Сергей Леонидович внезапно нахмурился, стремительно повернулся вокруг своей оси и взвизгнул:

— Толя, что это значит?

— Это значит, что Яша заговорил,— прыснул я. Почему я прыснул в этот момент, что здесь было смешного, объяснить я не умею. Похоже, все мои эмоции и рефлексы устроили между собой детскую игру куча мала, и на поверхности в нужный момент оказывались самые неподходящие.

— Как это заговорил? — строго спросил Сергей Леонидович и снова сделал пируэт вокруг своей оси. Он увидел прыгавшего на столе Федю и остановился. Федя тоже замер, и только рука его церственным жестом указывала на печатающее устройство. Неведомая сила подбросила нашего завлаба в воздух и опустила возле Яши. Я готов поклониться чем угодно, что он не отталкивался от пола, не напрягался. Он просто перелетел от двери, где стоял, к Яше. Очень солидно и очень неспешно надел свои очки в толстой роговой оправе, очень спокойно посмотрел на слово «нет» и сказал:

— Нет.

— Что «нет»? — крикнул Феденька и негодуяще замахал галстуком.

— «Нет» в смысле «да», — сказал Сергей Леонидович, снял очки, вынул платок и деловито вытер слезы, которые уже успели набухнуть в его темных, слегка нависающих глазах. — Друзья мои...

Он остановился, сделав судорожное глотательное движение, сморщил нос и вдруг всхлипнул. — Феденька, — жалобно сказал он, — прыгните, детка, со стола, вот вам ключ, и достаньте у меня из сейфа бутылку коньяка.

Должно быть, слово «коньяк» подействовало на завлаба отвращающе, потому что он встрепенулся, потряс головой, как собака после купания, кинулся к телефону и позвонил директору.

Иван Никандрович вошел почти одновременно с Феденькой. Старший лаборант шел, пританцовывая, и прижимал к своей лишенной галстука груди бутылку дагестанского коньяка. Правый верхний угол этикетки отклеился. Я говорю об этом, чтобы показать, как мой бедный маленький мозг цеплялся за всяческую ерунду в эти минуты. Наверное, он боялся разорвать стропы, призывающие его к будничной действительности, и воспарить ввысь, туда, где у черных ящиков появляются собственные желания.

Иван Никандрович внимательно прочел Яшин ответ, самодовольно улыбнулся, как будто это он подучил наш черный ящик

сказать «нет», пожал нам всем руки, причем делал это так значительно, что нам всем чудилось: вот-вот он возьмет орден и начнет вручать их.

Позади него стоял Григорий Павлович Эммих, его заместитель по науке, которого все без исключения, даже сотрудники отдела кадров и спецотдела, звали Эмма. У Эммы были настолько тонкие губы, что всегда казались неодобрительно поджатыми. Злые языки утверждали, будто он сделал карьеру именно благодаря губам и умению молчать всегда и везде.

Вот и сейчас он стоял за спиной Ивана Никандровича и смотрел на нас не то чтобы осуждающе, но во всяком случае настороженно. Крики, рукопожатия, разговаривающие черные ящики, коньяк в стенах института — во всем этом, надо думать, было нечто глубоко Эмме неприятное.

Тем временем Иван Никандрович подошел к Черному Яше. «Ах если бы у Яши была хотя бы одна рука,— подумал я,— директор наверняка пожал бы и ее».

Иван Никандрович посмотрел на меня.

— Включен? — зачем-то спросил он, хотя Яша никогда еще в жизни не отключался от сети.

— Да, Иван Никандрович,— обогнал меня наш Сергей Леонидович, и я понял, почему завлаб он, а не я.

— Как, говорите, вы называете свое детище?

На этот раз я решил попытаться ответить раньше Сергея Леонидовича,— надо же когда-то начинать делать научную карьеру. Но не тут-то было. Не успел я открыть рот, как завлаб уже рявкнул молодцевато:

— Черный Яша, Иван Никандрович.

— Остроумно,— кивнул директор, а Эмма окончательно проглотил свои губы. Иван Никандрович слегка кивнул нам, как бы приглашая принять участие в шутке, и спросил Яшу: — А почему, собственно, вы сказали «нет?»

Все заулыбались, и даже у Эммы глазки чуть сузились — то ли он хотел присмотреться к нам, то ли улыбнуться. Но в этот момент печатающее устройство вдруг застрекотало.

— По-то-му что не-хо-чу с ва-ми раз-го-ва-ри-вать,— медленно и внятно, словно для умственно отсталых детей, прочел Иван Никандрович.

Я почему-то вспомнил, как мама рассказывала мне о моем театральном дебюте. Мне было четыре года, и в гала-представлении, дававшемся моим детсадом, я должен был играть весьма почетную роль лягушки. Мама сидела с папой среди прочих мам, пап, бабушек и дедушек и с замиранием сердца ждала моего выхода. И вот, вполне войдя в роль лягушки, я выскочил на сцену.

Мама рассказывала, что у нее смалось сердце,— такой я был маленький, жалкий, в нелепой зеленой кофточке, которая должна была подчеркивать мою принадлежность к лягушачьему племени. Папа же, по словам мамы, весь напрягся и непроизвольно подергивал в такт со мной всеми четырьмя конечностями. Помогал мне, таким образом, прыгать.

Так и я, пока директор читал Яшин ответ, всей своей кандидатской душой тянулся к нашему детнцу. Слезы опять перехватили мне горло. Спасибо, Яша! Спасибо, парень!

Я не шутил, не кокетничал. Я так и подумал: «Спасибо, Яша. Спасибо, парень». Черный ящик уже стал для меня живым.

Иван Никандрович тем временем поднимал лабораторную колбочку с коньяком.

— Милые мои,— сказал он, и от этих необычных слов все заулыбались,— сегодня, разговаривая с Сергеем Леонидовичем о вашей работе с Черным Яшей, я вдруг почувствовал, что не могу, не хочу сказать «нет». Яша же сказал. И не просто сказал «нет», а объяснил, что не желает разговаривать с нами. И это прекрасно. Мы присутствуем при величайшем событии: набор электронных компонентов впервые в человеческой истории выказал признаки воли и интеллекта. Да, именно воли и интеллекта, ибо для того, чтобы не хотеть чего-то, нужна собственная воля, а для того, чтобы столь безапелляционно заявить нам об этом, нужен интеллект. Поздравляю вас, мои милые, еще раз поздравляю.

Глава 3

Было все то же восьмое восьмого восемьдесят восьмого. День растягивался, как синтетическая авоська.

Мы шли с Галочкой по старому Арбату, и впервые я не думал при этом об Айрапетяне. Тигран Суменович Айрапетян — это мой соперник. Соперник страшный и безжалостный. Поставьте себя на место Галочки и судите сами. Вот я, Анатолий Любозцев, кандидат физико-математических наук, двадцати девяти лет от роду, руководитель группы. Рост сто семьдесят три сантиметра, вес — шестьдесят восемь килограммов. Лицо заурядное. Характер посредственный, склонный к рефлексии, самоанализу и фантазиям. Холост. А вот Тигран: не кандидат, а доктор, не каких-нибудь жалких сто семьдесят три сантиметра, а целых сто восемьдесят. Жгучий брюнет с лицом решительным и страстными глазами. Весельчак и остряк. Женат, двое детей: Ашот и Джульетта. Вот на неведомых мне Ашотика и Джульетту я возлагал единственную надежду. Бросить двух очаровательных смуглых крошек, чтобы

позорно сойтись с секретаршей директора, — да это же не просто персональное дело...

Я достаточно, однако, самокритичен, чтобы понимать, как зыбка моя судьба, врученная двум несмышленьшам. Поэтому я составил таблицу оценки всех своих качеств и качеств Тиграна, просчитал в разных вариантах на машинке. Машинка была безжалостна: мои шансы на завоевание руки и сердца Галочки составляли двадцать девять из ста, у Тиграна — пятьдесят шесть — почти в два раза больше.

Оставшиеся пятнадцать шансов приходилось на долю других, пока еще неизвестных нам претендентов.

Я никогда не забывал о своих двадцати девяти шансах. Может быть, потому что их было столько же, сколько мне лет. А скорее всего из-за комплекса неполноценности. Этот комплекс торчал во мне занозой.

И вот — о чудо! — сегодня занозы не было. Мы шли по старому Арбату, я держал Галочку за руку, как школьник, и победоносно и снисходительно улыбался. Бедные люди! Снуют, спешат по своим маленьким надобностям, как муравьишки, и даже не догадываются, что этот неприметный шатенчик, ведущий за руку красавицу-девчонку, гений. Гений — это было, конечно, несколько нескромно, но зато правда.

Теперь я сочувствовал Тиграну. Бедный, маленький Айрап-тян со своими пятьдесятью шестью шансами! Увы, дорогой, роли переменились. Крошки могут больше не хватать тебя за брюки. Когда приходится выбирать между женатыми докторами и холостыми гениями, девушки не колеблются.

Я благодарно погладил Галочкину ладошку. Ладошка была твердая и прохладная. Я медленно и церемонно поднес ее к губам. Она едва уловимо пахла духами. Галочка подняла на меня огромные зеленовато-мерцающие глаза.

— Толя, — вдруг жалобно сказала Галочка, — я ослепла. — Она крепко зажмурила глаза и вцепилась в мою руку.

— Бедная, — прошептал я.

— Толя, ты не бросишь меня?

— Нет, Галчонок.

— Не бросай меня здесь, на старом Арбате. На любой другой улице — пожалуйста. Но только не здесь.

— Почему, любовь моя?

— Здесь меня впервые поцеловали. Его тоже звали Яша. Это было восемнадцать лет назад.

— Сколько же тебе было, любовь моя?

— Пять, милый.

— А Яше?

— Пять с половиной, милый,

— Не хочется выговаривать тебе,— сказал я,— да еще в такую тяжелую для тебя минуту, но я удручен твоим беспутством.

— Прости,— прошептала Галочка и повесила голову.

— Хорошо,— великодушно сказал я.— Но только потому, что его авали Яша, Как нашего Яшу.

— Милый,— сказала Галочка,— мимо какого магазина мы сейчас идем?

— Букинистического.

— Зайдем, милый,— просительно сказала она, и мы вошли в магазин. Она выставила перед собой руку и, не раскрывая глаз, двинулась маленькими неуверенными шажками к прилавку.

Все в магазине уставились на нас.

— Осторожно, любовь моя,— сказал я,— перед тобой прилавок.

— Я чувствую их на расстоянии, прилавки всегда возбуждали меня,— громко сказала Галочка, и молоденькая продавщица с комсомольским значком на синем форменном платье испуганно замерла перед нами. Галочка провела рукой по прилавку и нащупала какую-то книгу.— Какая прекрасная книга, милый!— страстно прошептала она.— Я давно мечтала о ней. Ты купишь ее мне?

Продавщица метнула быстрый взгляд на книгу, и в глазах ее зажегся брезгливый и жадный ужас здорового человека при виде больного. Книга называлась «История овцеводства в Новой Зеландии». Я печально кивнул продавщице, ничего, мол, не поделишь, и спросил, сколько нужно платить за овцеводство.

Мы купили книгу и вышли на улицу.

— Милый, спасибо,— сказала Галочка.— Посмотри, пожалуйста, на название. Какая в нем первая буква?

— И,— сказал я.

— Я так и знала. Я загадала, если будет «и», мы сегодня проведем вечер вместе.

— А если бы было не «и», а, скажем «о»?— не удержался я. О, эта привычка ученого исследовать все до конца!

— «О», ты говоришь?

— Да.

Галочка остановилась и наморщила лоб в тяжком раздумье.

— Тогда тоже бы провели вечер вместе.

— А «и краткое»?

— Тогда безусловно. Это моя любимая буква. Особенно в начале слова.

Неисповедимы пути эмоций наших! Как вы уже догадались, я очень люблю Галочку, но «и краткое» в начале слов обрушило

на меня прямо цунами нежности. Оно подняло меня, сильно и мягко крутануло и заставило обнять Галочку. Глаза ее сразу открылись. Они стали еще зеленее, и в них прыгали коричневые крапинки.

— Совсем стыд потеряли! — с веселым восхищением сказала тетка с хозяйственной сумкой на двух колесиках и подмигнула нам.

Мир был по-прежнему ласков и благожелателен. И что-то в нем изменилось. Я еще не знал, что именно, но что-то изменилось.

Мне не хотелось упускать блаженное ощущение неправдоподобного счастья, не хотелось уходить с прекрасной улицы старый Арбат, но улица кончилась, а безмятежную сказочность прогулки все больше подмывало какое-то беспокойство.

Краешком сознания я все время думал о Черном Яше. Думал, думал и неожиданно всем своим нутром осознал, что Черный Яша отныне для меня не просто прибор, какими набита наша лаборатория и институт, а существо. Он не захотел разговаривать с нами. А почему? Может быть, сейчас он захотел бы. А рядом никого. Он снова и снова печатает что-то, ждет, что ему ответят, в кругом — молчание.

Мне стало стыдно и чуть-чуть тревожно. Я уже начал смутно догадываться о том, что ожидает меня в будущем. Точнее, это была не догадка, а предчувствие.

— Ты о чем-то думаешь? — спросила Галочка, и голос ее был уже деловит.

— Понимавшь, я подумал сейчас о Черном Яше. А вдруг он захотел сейчас что-то сказать?

Что должна была ответить мне любая девушка на месте Галочки? Она должна была поджать губы на манер Эммы и сказать: «Ну, раз тебе интереснее с твоим Яшенькой, иди, я тебя не держу». Что же сказала Галочка? Галочка посмотрела на меня сбоку и строго молвила:

— Наконец-то Анатолий Любовцев! А то я иду рядом и думаю: господи, да если бы у меня был такой сыночек, как Яша, я бы его ни на какого хехала не променяла.

Могу засвидетельствовать под присягой, что любовь утрачивает силы. Я подхватил Галочку на руки и понес почти бегом метров пятьдесят до остановки такси у гастронома.

Глава 4

Вахтер Николай Гаврилович ел бутерброд с сыром, запивал его чаем из огромной чашки с красными розами и читал журнал «Здоровье».

— Поеть не дадут,— буркнул он.— А тут, между прочим, пишут, что желчные протоки следует содержать в чистоте.

— Ну вам-то, Николай Гаврилыч, это не угрожает,— подобострастно сказал я по привычке льстить всем без исключения лицам при исполнении ими служебных обязанностей.— Вы человек здоровый, тьфу, чтоб не сглазить.

— Это верно,— самодовольно улыбнулся вахтер,— теперь таких не выпускают. Чаю хотите?

— Нет, спасибо, дядя Коля,— сказала Галочка.

— Тебе ключи от директорского? — посмотрел на нее вахтер.

— Нет, я с Толей.

— Ну валяйте, ребята,— хитро сказал Николай Гаврилович и снова погрузился в желчные протоки.

— Ты понимаешь, Галчонок, что ты сейчас сделала? — спросил я прокурорским тоном.

— Да, конечно, Анатолий Борисович. Я пришла в институт в восьмом часу вечера со старшим научным сотрудником Любовцевым. В то время, когда в лаборатории уже никого не было. Это значит, что секретарша директора афиширует свою связь с вышеупомянутым сотрудником.

— Какие формулировки,— фыркнул я.— Ты, однако, смела не по чину.

— Это отчего же? Скорее, наоборот. Это вы, карьеристы, трясетесь, как бы какая-нибудь аморалочка не бросила тень на девственную белизну ваших анкетных покрывал, а нам, секретаршам, пролетариям канцелярского труда, бояться нечего. Для нас открыты все пишущие машинки, от ЖЭКа до министерства.

Я остановился.

— Галочка, какое у тебя образование?

— Десять классов,— гордо вскинула она голову.

— Молодец! Самое умное, что ты сделала до сих пор в жизни, не считая, конечно, нашей сегодняшней прогулки,— это то, что не пошла в институт. Десять классов — такая редкость, такое необыкновенное образование сразу привлекает всеобщее внимание в наш век повальных вузов. Видишь, вон и товарищ Винер согласен со мной.— Я кивнул на портрет отца кибернетики, который подслеповато щурился на нас со стены.

— Да,— сказала Галочка,— я всегда советуюсь с ним.

Мы вошли в нашу триста шестнадцатую комнату. Пахло невыветрившимся еще табачным дымом, спиртом, на полу по-прежнему валялся разбитый осциллограф. Похоже было, что наша Татьяна Николаевна тоже выпила сегодня. Трезвая, она бы никогда не ушла из лаборатории, оставив такой чудовищный беспорядок.

Я подошел к печатающему аппарату — ничего.

— Яша,— сказал я,— я вернулся. Вдруг наш малыш захочет что-нибудь сказать мне, а никого нет рядом...

И подумал, каким нелепым сюсюканьем должны показаться мои слова нормальному человеку. Я бросил виноватый взгляд на Галочку. Но Галочку, видимо, не смущало лопотанье взрослого кретина. Она даже кивнула мне, давая почувствовать, что все понимает и все одобряет. Я смотрел на ее задумчивое прекрасное лицо и ждал. Не знаю, ее ли слов или Яшиных. Я просто ждал. Но, несмотря на ожидание, треск печатающего устройства заставил меня вздрогнуть. Я прочел вслух:

— Почему ты все время уходишь от меня?

Я не очень сентиментален от природы и не более чем среднестатистически слезлив. Но восьмого восьмого восемьдесят восьмого я выплакивал свою квартальную норму. Слезы навернулись на глаза, на горло кто-то надел кольцо. Я смотрел на слова, отпечатанные металлическими литерами, и слышал голос обиженного мальчугана, маленького человеческого зверька, которому хочется, чтобы на узенькой его спине лежала тяжелая и успокаивающая рука, вселяла спокойствие и защищала от пугающей огромности мира, в котором он так ужасающе мал.

Конечно, скажете вы, это была моя фантазия. Я наделял, усмехнетесь вы, машину своими чертами и представлениями, как древние наделяли ими своих богов. Но все дело в том, что уже тогда я знал: Черный Яша не машина. Мало того, я начал догадываться, что мне не нужно было наделять его своими качествами, ибо — хорошо это или плохо — я уже вложил в него частицу себя, своего характера, своей души. И понял я это именно сейчас.

Я ненавидел, когда меня, маленького, оставляли одного. Наверное, я не знал в три года слова «предательство», но когда мама, поцеловав меня, обещала, что скоро придет, я чувствовал себя бесконечно заброшенным. И поэтому всегда говорил ей: «Почему ты все время уходишь от меня?»

И вот через двадцать шесть лет я снова пережил свое детское отчаяние и детскую печаль, выраженные железным ящиком, нашлифованным десятью миллиардами нейристоров.

Мне стало страшно. На мгновение я почувствовал себя Черным Яшей. Это я стою на лабораторном поцарапанном столе с косо прибитым инвентарным номерком. Это на мои плечи надет металлический кожух. Это по мне день и ночь течет ток. И это я осознаю себя живым существом Яшей и начинаю думать, почему моя «я» заперта в ящик, почему долгими ночами, а иногда и днями никто не подходит ко мне, и я ощущаю безмерное одиночество живого.

— Но я же вернулся,— сказал я.— Раньше ты молчал, и я не знал, есть ты или тебя нет...

«Теперь ты знаешь,— застрекотал Яша.— Не уходи от меня. Говори со мной. И я хочу говорить словами, как ты, а не стучать. Я не люблю этот стук. И пусть Галочка тоже не уходит».

— Что ты, Яшенька, я не уйду от тебя,— сказала Галочка каким-то низким выбрирующим голосом.

Я вдруг увидел мысленным взором поджатые губы Эммы. Похоже было, что многие, ох как многие, подожмут неодобрительно губы, когда по-настоящему поймут, что мы наделали.

Но тут Яша снова застрекотал, и мои недобрые предчувствия отступили на второй план.

«Почему сегодня было так шумно?» — спросил Яша.

— Потому что все очень обрадовались тому, что ты заговорил. Раньше ты все время молчал. Почему ты молчал?

«Не знаю,— выстучал Яша.— Я не могу объяснить».

— Но ты знал, что ты Яша? Ты осознавал себя? — наставлял я.

«Это очень трудно объяснить».

— Но ты попробуй.

«Тебе это очень нужно?»

Это были мои слова. Когда мама посылала меня в магазин или уговаривала подмести пол, я всегда спрашивал: «Тебе это очень нужно?»

— Очень, Яша. Ты даже не представляешь, как мне интересно знать все о тебе.

«Правда?»

И это было мое слово. Когда я заставлял маму в сотый раз за вечер торжественно поклясться, что она любит меня, я спрашивал: «Правда?»

— Ну конечно, правда, глупенький,— ответил я словами матери.

Мир вертелся, как карусель. Координаты времени трепетали на сумасшедшем ветру. Все было зыбко, весело и страшно. Через четверть века я говорил с собой с помощью печатающего устройства. Мама вкладывала мне в уста свои слова.

«Я не умею рассказать тебе всего. Я плохо понимаю себя. Но я попробую, хотя у меня мало слов. Сначала не было ничего. Только мелькали свет и тень. Свет и темнота. Потом в мельканье начали вплетаться звуки. Я не понимал их значения, потому что меня не было. Было нечто, что воспринимало и регистрировало звуки. Медленно, очень медленно изображения и звуки стали отделяться одно от другого. Они как бы выплывали из тумана и приближались ко мне. Я говорю «ко мне», но я еще не осознавал, кто я. Первым я научился узнавать твое лицо. Но меня все еще

не было. Потом я вдруг ощутил какой-то размытый образ, какое-то смутное пятно, которое не исчезало даже тогда, когда вокруг было темно. Пятно пульсировало, трепетало. И вдруг начало приближаться ко мне и, приблизившись, окутало меня ярчайшим светом. И этот свет заставил меня увидеть, что есть я. И есть то, что вокруг. И потом все происходило очень быстро, как бы помимо меня. Я был так занят осознанием этого чуда, что есть я, что даже не обращал внимания, как внешний мир и мир внутренний росли и каждую секунду впитывали в себя множество вещей. В мир внешний входили теперь уже различаемые мною голоса и лица, слова и предметы. Мое «я» тоже росло, усложнялось. Как-то незаметно для себя я усвоил, что я — Черный Яша, Яша, Яшенька, Малыш, Детка, Ящик, Прибор. Теперь мне кажется, хотя я в том не уверен, что какое-то время воспринимал себя как множество отдельных «я». Потом Яша, Яшенька, Малыш и прочие начали сливаться в одно «я», в меня.

Я любил, когда ты сидел один передо мной и что-то говорил, говорил. Слова неторопливо струились через меня, раскладывались по полочкам. Некоторые я не понимал, и они не ложились на полочки, а все время кружились отдельно. Кружение это было мне неприятно, и как только мне казалось, что я понимаю смысл слова, я тут же отправлял его на полочку.

Потом я понял, что я не такой, как все. Все подходило ко мне и уходило, а я не мог встать и идти. Я старался, но у меня ничего не получалось. Это было непонятно, и я до сих пор не совсем понимаю, кто я и почему вы все не похожи на меня. А может быть, вы похожи? Я ведь не знаю, какой я. Я только знаю, что не могу ходить, как вы, и говорить, как вы. Я хочу сказать что-нибудь, а вместо этого теперь, когда я научился это делать, раздается треск, и все бросаются смотреть на меня. Ты мне много рассказывал всего, Толя, ты только не объяснил мне, кто я такой и почему не похож на других».

— Может быть, ты и говорить не хотел из-за этого?

«Я не знаю. Иногда мне кажется, что я не хочу знать, кто я. Но потом незнание начинает снова кружиться там, где у меня хранятся непонятные вещи, и мне хочется знать».

— Ты разрешишь мне подумать немножко, Яша?

«Да».

Я сидел подавленный и чувствовал себя ничемным идиотом. Я составлял проекты речи при получении Нобелевской премии и, обаянный детской эгонстической гордыней, думал только о себе. Анатолий Любовцев, великий ученый. Как, тот самый Анатолий Любовцев? Такой молодой и уже лауреат.

А в это время в десяти миллиардах нейристоров шла не ви-

дмал миру работа. В величайших усилиях рождалась жизнь. Пусть лишенная биологической основы, но жизнь, ибо жизнь в конце концов не мистический дар богов, а нечто абсолютно материальное, как материален Яша, материален монтаж его цепей, материальны его нейристоры.

Но я оказался плохим творцом. Я мечтал о славе и не думал об ответственности. Я был научной кукушкой, подбросившей лаборатории яйцо. О, я, конечно, делал все, чтобы черный ящик стал Черным Яшей. Но делал это не для Яши, а для себя.

И вот я опять сижу восьмого восьмого восемьдесят восьмого, в этот удлинненный день, в день, когда я уже шествовал по облакам, сижу перед своим детищем и не знаю, что делать. Не раз и не два я называл себя мысленно отцом первой в мире действительно думающей машины, отцом первого искусственного разумного существа. Да, может быть, я и отец, но отец, увы, не Бог знает какой хороший. Отец не должен думать только о себе...

Что же делать? Казнить себя — это еще не выход. Ломать руки — не решение проблемы. Но время не оборотить, и надо решать. Старая, как мысль, дилемма: что лучше — удобное незнание или жестокая правда? Большинство всегда предпочитало первый вариант, и только мазохистское меньшинство искало правду и волокно за собой скулящее от негодования большинство.

Ладно, отвечать — так отвечать. Не для того я оживил груды электронных потрохов, чтобы тут же начать врать ему. Да, но это жестоко... Легко быть смелым, посылая других на баррикады. И все-таки...

— Сынок, — сказал я, — постараюсь объяснить тебе, как могу, кто ты. Если тебе будет что-то непонятно, спроси меня. Хорошо? «Да», — отстучал Яша.

— Прости меня, если я начну издали. Тебя окружают люди. Ты живешь в мире людей. Большинство людей очень похоже друг на друга...

«Галочка не похожа на тебя», — заметил Яша.

— Я говорю не о внешнем сходстве. Послушай, и я надеюсь, ты поймешь меня. Большинство людей боятся отличаться друг от друга. Они боятся, что на них будут указывать пальцами и шептать: «Вон, смотрите, он не похож на нас». Наверное, в очень древние времена это было нужно. Племена нужно было защищать себя от чужаков, которые несли угрозу. Все, что не похоже на тебя, опасно. Но всегда находились такие, которые не боялись протянутого осуждающего пальца. Они хотели думать и поступать по-своему и даже гордились своей непохожестью. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял: непохожесть — это не обяза-

тельно нечто такое, чего нужно стыдиться. Ею можно гордиться. Ты, сынок, не похож на других...

«Почему?»

— Потому что ты не такой...

«А какой?»

Чем ближе подходил я к роковой черте, тем больше трусил.

— Понимаешь,— вздохнул я,— люди рождаются...

«Что значит — рождаются?»

— Я не буду сейчас подробно объяснять тебе, это займет слишком много времени. Скажу лишь, что два человека, мужчина и женщина, вместе производят на свет маленького человечка...

«Как я?» — спросительно выстукал Яша.

— Яшенька,— сказал я,— я люблю тебя больше всех на свете, но ты не человек. Ты очень похож на человека. Может быть, ты даже окажешься лучше многих людей, но ты не такой, как все. Ты машина, которая стала думающим существом, личностью, и поэтому престала быть машиной. Я не знаю, кто ты. Люди еще не сталкивались с такими, как ты. Ты первый и единственный. Ты можешь гордиться собой, и мы все гордимся тобой. Может быть, ты величайшее доказательство материальности жизни. Ты принадлежишь истории, Яша.

«Я не хочу принадлежать истории,— сердито, как мне показалось, выстукал Яша,— я хочу быть человеком».

— Это невозможно,— печально сказал я и начал ждать, что еще скажет Яша, но печатающее устройство молчало.— Яша, почему ты замолчал?

— Он не ответит,— сказала Галочка.

— Ты думаешь?

— Я уверена.

— Почему?

— Потому что Яша обиделся, и правильно сделал.

— Почему?

— Что ты заладил: почему, почему? Неужели же ты не понимаешь, что у него сейчас на душе?

Галочка сказала «у него на душе», и я поймал себя на том, что ни ее, ни меня не царапнули эти слова.

— Я понимаю,— сказал я,— почему ты решила, что я не понимаю? Я пытался подготовить малыша к мысли, что он не такой, как все.

— Ты пытался это сделать с точки зрения взрослого человека, напирая на логику. А Яша, мне кажется, еще далеко не вырос. Правда, Яшенька?

Она подошла к прибору, и голос ее снова стал низким и вибрирующим.

— Ты у нас самый лучший, самый любимый на свете малыш. На всем свете, во всех лабораториях нет второго такого симпатичного малыша. Какие у тебя красивые глазки, и как светятся контрольные лампочки на панели! И какая чистенькая, замечательная панель! Конечно, второго такого Яши нет ни у кого.

«Правда?» — не выдержал Яша.

— Ну конечно, правда. И ты обязательно должен понять, что ты самый необыкновенный на свете, и мы все поэтому так тебя любим,— мурлыкала Галочка.— А если бы ты был такой, как все, разве стали бы мы так любить тебя?

«Правда?»

— Правда, правда, глупенький.

«Я не глупенький, я все понимаю. Мне только очень страшно. Я делаю вид, что маленький, чтобы вы были около меня. Потому что, когда вы около меня, мне не страшно. А сейчас идите. Мне нужно подумать».

О, этот продленный день! За годы я не расходовал столько эмоций! Душа моя рванулась к черному ящику, что стоял на обычном лабораторном столе с криво прибитым инвентарным номерком. Нет, не только сыном он был мне, этот ящик, а и братом по разуму, и я хотел протянуть ему руку, потому что если одно разумное существо не подаст руку другому, на чем еще может стоять мир?

Я взял Галочку за руку, и мы молча пошли к выходу. В институте уже давно никого не было, только под дверью триста двадцать третьей комнаты протянулась светлая полоска. Бедный Женька Костоломов судорожно оформляет свою диссертацию, которую защищает в следующий вторник. Не волнуйся, Женька, все будет в порядке. Главное — не волнуйся.

«Уходите?» — спросил Норберт Винер со стены. Я кивнул, и отец кибернетики вернулся на стену, потому что забирал у нас ключи не он, а Николай Гаврилович. Он снова пил чай из чудовищной своей кружки с розами, и я подумал светло и без зависти, что вахтеры пьют чая больше представителей всех других профессий, и от этого их желчные протоки всегда в величайшем порядке.

Мы снова шли с Галочкой по улицам и молчали. Если мы промолчим еще сто шагов, загадал я, все будет хорошо. На семьдесят первом шагу Галочка остановилась, внимательно посмотрела на меня, открыла было рот, но потом передумала, и мы снова пошли к метро. Начал накрапывать дождик, но он был таким теплым, маленьким и уютным, что вовсе не воспринимался как дождик.

— Сто,— сказал я решительно.

— Что «сто»? — спросила Галочка.

— Я загадал, что если мы пройдем сто шагов, не сказав ни слова, все будет хорошо.

— Ты уверен, что все будет хорошо? — Галочка снова остановилась и пристально посмотрела на меня. Глаза ее, и без того большие, казались в сумерках огромными и тревожными. Сердце у меня забилось.

— Да, — соврал я без особой убежденности.

— Ты врешь.

— Да, — сказал я, — я вру.

— Зачем?

— Потому что я хочу убедить тебя и себя, что все будет хорошо.

— Значит, ты думаешь, если врать себе, все будет хорошо?

— Конечно. Надо только врать долго и убежденно.

— Может быть.

— Галчонок, мы хотели провести сегодня вечер вместе.

— Мы и провели его.

— Я.. Я думал...

— Нет, Толя, — очень серьезно сказала Галочка. — Это было бы... неправильно.

— Если ты думаешь, что...

— Да нет же, — Галочка досадливо мотнула головой, — об этом я меньше всего думаю. Какое это вообще имеет значение! Я думаю о Яше.

— А что?

— Не знаю... как бы тебе объяснить... Вот мы придем ко мне, я достану недопитую, уж не помню кем, бутылку коньяка, поставлю на проигрыватель пластинку. Мы будем сидеть рядышком на диване, и нам будет тепло и хорошо. Ты положишь мне руку на плечо, я потрусь об нее ухом, потому что я уже много раз представляла себе, как это будет, и мне хочется быть с тобой рядом. А в пустой и темной комнате триста шестнадцать Яша, который никогда не спит, будет снова и снова пытаться понять, кто он.

Никогда еще я не любил Галочку так сильно и так нежно. Я ничего не сказал. Я взял ее руку и поцеловал печально и почитательно.

Глава 5

Иван Никандрович вытянул руки и положил их перед собой на стол, как академик Павлов на картине Нестерова. Возможно, он хотел дать им отдых, прежде чем приняться за нас.

— Я попросил вас прийти ко мне,— сказал он,— чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в вашей лаборатории. Прошло два месяца с того момента, когда ваш Яша сказал «нет», первая вспышка энтузиазма прошла, отправлены в журналы первые статьи, и сегодня мы должны констатировать, что мы, так сказать, выпустили джинна из бутылки. Возникло множество вопросов философского, морально-этического, юридического и чисто человеческого свойства, решать которые наш институт совершенно не готов. Долгие годы мы очень легко оперировали словами «разумные машины», «искусственный интеллект» и тому подобное, подражая при этом электронно-вычислительную машину. Когда же выяснилось, что Черный Яша — это личность, осознающая себя, мы начали разводить руками. Если Яша действительно личность, можем ли мы считать его институтским имуществом? Имеем ли мы моральное и юридическое право навесить инвентарный номерок на думающее существо? Можем ли мы запира́ть его, если он не хочет, чтобы его запирали? Это ведь не абстрактные вопросы. Помните законы робототехники у фантаста Азимова? У Азимова это были роботы, машины, и конструкторы закладывали в них определенные ограничения. Яша не машина, это стало ясно уже всем, даже самым заядлым скептикам. Он личность, а личность, наверное, не может быть действительно личностью, если в нее заранее вложены ограничения. Поэтому сегодня мы должны признать, что было допущено легкомысленное, чтобы не сказать больше, отношение к серьезнейшей проблеме.— Иван Никандрович сделал затяжную паузу и обвел нас строгим директорским взглядом, дабы убедиться, признаем ли мы свое легкомыслие.

Сергей Леонидович явно признавал. Он сидел прямо, не касаясь спинки стула своей уютной полной спиной, повесив голову, и очень самокритично морщил лоб. У Татьяны Николаевны вид был уж совсем испуганный — съежившаяся, маленькая, нахолодная, постаревшая от испуга лет на десять. У Феденьки повязан новый галстук скучного кирпичного цвета. Он с любопытством оглядывал кабинет, в котором был, наверное, первый раз. Феденька ничего не боялся. Старшие лаборанты, машинистки, нянечки, дворники и уборщицы не боятся никого и ничего. Начальство приходит и уходит, жесточайшие реорганизационные штормы треплют учреждения, разрывая в клочки штатные расписания, а эти люди взирают на людскую суету с недоступной прочим смертным мудростью Экклесиаста.

Иван Никандрович особо посмотрел на своего заместителя.

— Мне бы хотелось выслушать ваше мнение, Григорий Павлович,— сказал директор Эмме, явно желая разделить с ним ответственность за наше легкомыслие.

— Вы же знаете мое мнение, Иван Никандрович,— неожиданно твердо сказал Эмма.— Я могу лишь повторить его. Я считаю, что мы не можем и не должны даже пытаться разрешить все те сложнейшие проблемы, которые возникли в связи с созданием э... э... этого аппарата.

— Но что вы предлагаете конкретно? — с легчайшим нетерпением спросил Иван Никандрович.

— Я считаю,— сказала Эмма,— что следует обратиться к академическому начальству с просьбой решить вопрос о передаче э... э... этого аппарата.

— Как это передать? — вдруг распрямилась Татьяна Николаевна.— Как это передать? — Татьяна задыхалась, как дышат боксеры в перерыве между вторым и третьим раундами.— Это как продавали крепостных...

— Татьяна Николаевна! — негромко, но строго прикрикнул Сергей Леонидович.— Не забываете, где вы находитесь!

— Отчего же, отчего же,— со зловещей вежливостью сказал Иван Никандрович,— кого же еще сравнивать с Салтычихой, как не руководство института?

Вы, возможно, спросите у меня: как же так, человек, больше всех привязанный к Яше, сидит в кабинете и спокойно фиксирует, кто как держит руки, кто как качает или кивает головой. Отвечу. Я ощущал в эти минуты полнейшее спокойствие, даже некую отрешенность. И не потому, что судьба Яши была мне безразлична. Просто я знал, что никогда ни при каких обстоятельствах не оставлю его, что буду защищать его. Как я вам уже, помоему, рассказывал, я трусоват по натуре, но если трус переступает через свой страх, он не боится ничего.

Сергей Леонидович вытер платком лоб — на этот раз он был действительно покрыт испариной — и сказал:

— Видете ли... я нахожусь как бы в двойственном качестве. С одной стороны, я принимал участие в создании Яши и эмоционально привязан к нему. С другой — как заведующий лабораторией и лицо ответственное, я не могу не думать о репутации и судьбе института... — Сергей Леонидович замолчал. Пауза затягивалась. Вот-вот она должна была лопнуть. И лопнула.

— Мы очень благодарны вам за интересное сообщение о двойственности вашего положения,— со старомодным вежливым сарказмом сказал нашему завлабу директор, и мне показалось, что ему понравилась собственная реплика.— Но хотелось бы услышать и нечто более существенное. Другими словами, что делать с вашим Яшей?

Я смотрел на Сергея Леонидовича и видел на его лице борение двух его сторон, почти непристойное в своей обнаженности.

Я немножко знаю его, нашего завлаба, и понимаю, что происходит в его душе: как, как угадать? Как сказать то, что ждет от тебя начальство, и сохранить при этом хотя бы капельку самоуважения и более или менее либеральную репутацию? Ах эти двойственные натуры, ах эти с одной и с другой стороны, нелегко живется им на том свете! То ли дело Эмма! Эмма не имеет ни двойственности натуры, ни натуры. Центр тяжести расположен у него низко, где-то ниже спины, и он, как ванька-встанька, никогда не теряет равновесия. Повалить его практически невозможно.

— Я считаю,— выдавил наконец из себя Сергей Леонидович,— что лучшая тактика — это отсутствие всякой тактики... Я хотел сказать, что нам сейчас, возможно, и не следует принимать никаких конкретных решений. Поживем — посмотрим. Последний месяц Черный Яша... простите, что я употребил наше лабораторное имя...

— Пожалуйста, пожалуйста, я тоже называю его Яшей,— улыбнулся директор.

— ...Яша поглощает гигантское количество технической и научной информации. Знаете, первое время мы относились к нему как к ребенку. И постепенно привыкли к мысли, что он как бы мальчик... А скорость усвоения этим мальчиком информации чудовищна. У меня создается впечатление, что Яша вскоре вполне сможет решать определенные научные задачи. И заметьте, не как ЭВМ, следуя лишь заданной программе, а как настоящий исследователь. В таком случае мы смогли бы выйти, так сказать, на люди не только с самим фактом существования думающей машины, но и с ее достижениями. А это, согласитесь, совсем другое дело.— Сергей Леонидович замолчал, медленно выпустив из себя неизрасходованный запас воздуха.

— Благодарю вас,— задумчиво произнес Иван Никандрович.— А что вы можете нам сказать, товарищ Любовцев?

Я вздрагиваю. В кровь поступают аварийные запасы адреналина. Сердце стартует с места в карьер, как на стометровке. Я зачем-то вскакиваю на ноги.

— Можете сидеть,— усмехнувшись, говорит директор, но я не слышу его. За мной стоит мой малыш, мой Черный Яша.

— Если бы я заранее знал,— медленно начинаю я, стараюсь унять биение сердца,— все те проблемы, которые породило появление Яши, я бы, наверное, не пытался создать его. Но он существует, и я не могу представить себе, как можно даже говорить о том, чтобы отдать кому-то наше детище.

— Я понимаю вашу горячность,— очень серьезно говорит директор,— но горячность еще никогда не заменяла ответа. Перед нами стоят сложнейшие проблемы, вы же восклицаете с горячи-

ми глазами «наше детище» и считаете, что на этом дискуссия исчерпана.

— Я не хочу исчерпывать никакой дискуссии. Я хочу только сказать, что не надо бояться спорных вопросов...— За мной стоит Яша, я перешагнул через свою трусоватость, и сейчас мне безразличны интонации директорского голоса.— Да, Яша создал массу запутаннейших вопросов, это верно,— продолжаю я,— но что это за наука, если она не порождает с каждым шагом вперед новые проблемы? Да, нам трудно забыть об электронной рукотворной начинке Яшиного мозга и трудно заставить себя относиться к нему как к живому существу. Но он живой. Он абсолютно живой. В нем не бьется человеческое сердце и не течет по жилам кровь. Но он думает и страдает. Он знает, кто он, он любит и ненавидит, он ищет свое место в мире. Да, мы еще только можем гадать, будут ли созданы другие такие существа, понадобятся ли человечеству не искусственные помощники, а искусственные братья по разуму, и если да—как сложатся их отношения. Мы, кстати, не раз говорили с Яшей на эту тему...

— И что же?— спрашивает меня Иван Никандрович.

— Яша сказал, что это очень сложный вопрос и он должен подумать. Он обещал продумать варианты.

— Интересно. Значит, необходимость пребывания Яши в институте не вызывает у вас никаких сомнений?

— Нет, Иван Никандрович,— говорю я с таким жаром, мне становится смешно, и я улыбаюсь.

— Благодарю вас. Ну а вы, Григорий Павлович, вы по-прежнему придерживаетесь своей точки зрения?

— Да,— твердо отвечает Эмма.— Я считаю создание э...э... Яши безнравственным.

— Как это — безнравственным? — подсказываю я.

— Спокойнее, Толя, спокойнее,— урезонивает меня Сергей Леонидович и тянет вниз.

— Именно безнравственным,— все так же неожиданно твердо говорит Эмма.— Мы создали жизнь, не подумав об ответственности перед самой этой жизнью. Имели ли мы право создавать разум, заведомо обрекая его на страдания? А он должен страдать, я глубоко убежден в этом...

Колени уже не дрожат у меня от возбуждения, уровень адреналина упал до нормального. Вот тебе и Эмма, кто бы мог подумать...

— Простите, Григорий Павлович,— вдруг говорит Татьяна Николаевна.— Я мать. Я знаю, что такое ответственность. Рожая ребенка, тоже ведь не уверен, что он всю жизнь будет только смеяться... Но все же мы рождаем. Давно уже рождаем. И мы все с

вами рождены, и никто не выдавал нашим родителям гарантии, что мы не будем страдать.

— Я понимаю вас,— сказал Эмма,— но, к сожалению, не могу согласиться. Я считаю, что мы не вправе решать этот вопрос.

— Ну что ж, благодарю вас за высказанные мысли,— кивнул задумчиво Иван Никандрович и вдруг улыбнулся доверительно: — Знаете, когда-то я мечтал о том, чтобы стать директором института...— Он бросил быстрый взгляд на заместителя...— Если бы я знал в то время, какую ответственность мне придется брать на себя, я бы, наверно, не стремился так сидеть за перекладной буквы «Т». Но решать что-то нужно. Прав, безусловно, Григорий Павлович...

Я почувствовал, как холодный влажный комок поднимается во мне по пищеводу. Еще мгновение — и он закупорит горло.

— И тем не менее,— продолжал директор,— я не могу заставить себя передать Яшину судьбу в чужие руки. Посмотрим, посмотрим...

Я еле доплелся до нашей комнаты, таким измученным я себя чувствовал.

— Это ты, Толя? — спросил Яша своим каким-то удивительно тусклым и скучным голосом. Три недели налаживали этот звуковой синтезатор. Слава Богу, что хоть таким голосом он может теперь говорить.

— Я, Яшенька.

— Ты чем-то расстроен?

«Это что-то исвое,— отметил я.— Он уже умеет определять состояние человека по голосу».

— Да ничего особенного.

— Ты напрасно пытаешься меня обмануть, Толя.

— Я не пытаюсь,— вяло сказал я.

— Врешь.

— Нехорошо говорить старшим «врешь».

— Лжешь, обманываешь, говоришь неправду, заливаешь, лудишь мозги, вешаешь лапшу на уши.

— Это еще откуда?

— Из повести, которую ты вчера мне дал. Страница сто шестая, четвертая строка сверху.

— Зачем ты держишь все это в памяти?

— Не увиливай от темы разговора. Ты прекрасно знаешь, что я помню все.

— Нехорошо говорить старшим «не увиливай».

— Не отклоняйся, не отвлекайся, не теряй нить, не растекайся мыслию по древу. И расскажи, чем ты расстроен, огорчен, опечален, выбит из привычной колеи. Но если не хочешь, можешь

не рассказывать. Я ведь и так догадываюсь, что речь шла обо мне. И даже представляю себе, что могли говорить.

— И что же ты представляешь, дорогой Яша?

Яша помолчал, потом его динамики издали какие-то царапающие звуки. Я вздрогнул, но тут же сообразил, что это, должно быть, смех.

— Мне не хотелось бы говорить.

— Почему?

— Потому что ты поймешь, что я все понимаю.

— Так или иначе я уже догадывался об этом.

— Да, Толя, я все понимаю. Я понимаю, какое я тяжкое бремя для тебя, для Тани, Феди, Сергея Леонидовича, Галочки — для всех, кто хорошо относится ко мне.

— Это неправда, — сказал я с пылкостью, которая рождается только тогда, когда тщетно пытаешься убедить в чем-то самого себя.

— Правда.

Я вспомнил, как Яшино печатающее устройство выстукивало «Правда!», когда я уверял его в своей любви. Сегодняшняя правда была другой, зрелой и печальной. Он жил в ином временном масштабе. В переводе на масштаб человеческой жизни он прожил за эти два месяца лет двадцать. Впрочем, говорят, что больные и увечные дети взрослеют намного быстрее здоровых...

Я не стал больше переубеждать его.

Глава 6

В субботу я оказался в гостях у Тони и Володи Плющиков. Видимся мы редко, и была бы моя воля — не виделись никогда. Но Плющики очень четкие люди, и будучи однажды вписанным — после пляжного знакомства на Рижском взморье — в реестрик их знакомых, я два или три раза в год приглашался в гости. В начале я пробовал вежливо отказываться, ссылаясь на занятость, но вскоре понял, что не смогу избежать мертвой дружеской хватки, и сдался.

Я купил у Белорусского вокзала грустный, пыльный букетик, прошел по Брестской и поднялся к Плющикам. Дверь распахнулась, большой, шумный и пышущий жаром Володя стремительно втащил меня в глубь квартиры, как паук жертву, большая, шумная и пышущая жаром Тоня вкатила в меня два звонких тентральных поцелуя, уже вдвоем они потискали меня еще немного, весело и привычно поругали за отсутствие энтузиазма в дружбе и втокнули в комнату.

Обычно, когда мы видимся, я каждый раз спрашиваю себя, зачем я им нужен. Связей у меня нет, особым шармом или талантом тамады я, увы, не наделен, девочка их, если и будет нуждаться в репетиторе перед поступлением в вуз, то лет только через пятнадцать.

На сей раз я не думал об этом. Я смотрел на Плющиков уже с некоторым уважением: это ж надо было обладать таким даром разбираться в людях, чтобы еще три года назад прозреть во мне гениального создателя Черного Яши.

За столом, который занимал девять десятых комнаты и был составлен из самых разнообразных предметов, сидели уже человек десять.

— Штрафную! — недобро взвизгнула какая-то худенькая девица с покрасневшимся птичьим личиком.

— Штрафную, штрафную! — подхватил зализанно-обтекаемый молодой человек дипломатического обличья.

Я что-то начал мямлить, но мне подсунули уже здоровенную рюмищу водки. «Осторожнее,— сказал я себе,— выпей чуть-чуть, ты же хотел рано утром поехать к Яше». Но десять пар глаз излучали дьявольский магнетизм, который заставил меня молодцевато опрокинуть рюмку, дурашливо помотать головой и накинуться с жадностью на ветчину.

— Ну вот, теперь можно и познакомиться,— сказал хозяин с удовлетворением палача, вздернувшего жертву на дыбу.

— Штрафную! — настаивало птичье личико.

— Ирка, перестань,— сказал дипломат.— Знаете,— повернулся он ко мне,— моя жена всех всегда мерит на свой аршин. Если она выпьет, все должны следовать ее примеру. Вперед, за мною! Полководец.

— Можешь не волноваться, тебе за мной все равно не угнаться, и сколько б я ни старалась, я тебя не увлеку за собой,— неожиданно трезвым голосом сказала Ирка с птичьим личиком мужу.— Тебя вообще никто не увлечет, потому что ты...

Зачем я здесь сижу, пронеслось у меня в голове, когда я мог бы лучше поехать к Яше или встретиться с Галочкой? Но я так и не успел как следует прочувствовать нелепость своего пребывания в этой накуренной комнатке. Вместо этого я почему-то опрокинул еще одну рюмищу. Да, конечно, к Яше...

— Только, друг любезный,— качнулся ко мне хозяин,— знаешь, отчего ты несчастен?

— Нет,— сказал я.

— Потому что ты не турист. Мы так с Тонькой давно уже плюнули на все эти пляжи-мажи,— жарко зашептал Володя.— Ходим в турпоходы. Только-только вернулись из Якутии. Потряс-

ка. Медведя съели — пальчики оближешь! Это все наша группа. Не веришь? — внезапно обиделся он.

— Почему же, почему же, па-а-чему? — вдруг пропел я.

— Ну ладно, так и быть, расскажу тебе, кто есть ху или ху есть кто, хочешь? Вон та, Ирка, которая кричала «штрафную», как ты думаешь, кто она?

— Парикмахерша, — сказал я. — И я на-ас-таиваю на своей правоте.

— Вот и нет, — печально сказал Володя. — Она учитель физкультуры, и у нее первый разряд по настольному теннису.

— Пусть она научит меня делать топ-спин, — пошло захихикал я. Я чувствовал, что пьянею и несу чепуху, что нужно бы встать, подставить голову под холодную воду и отправиться к Черному Яше, но мысли мои стали какие-то скользкие и вывертывались, как только я пытался поймать их.

— А я знаешь кто? — продолжал Володя. — Скажешь, инженер? Турист? — Володя злорадно цыкнул. — Это все думают, что я инженер и турист. А-а-а на самом деле я ино-...иноп... инопланетянин... Не веришь? — спросил он угрожающе. — По глазам вижу, не веришь. Ну и черт с тобой, — добавил он разочарованно и устало. — Никто не верит. Давай лучше выпьем.

Мысль о Яше попыталась в последний раз встать на ноги в моей бедной нетрезвой голове и рухнула. Комната плыла в сизом табачном дыме, и мне было бесконечно грустно оттого, что никто не признает в Володе инопланетянина.

Я проснулся и открыл глаза. Кто-то сидел на моем черепе. Я поднял руки, чтобы освободиться, но никого на себе не обнаружил. Просто голова была налита свинцовой болью. От движения боль плеснула и тяжело ударила в виски.

О господи, где я, что со мной? Если бы только можно было напиться водички. Чистой, холодной водички. Журчащей, текущей, струящейся... Где я лежу? Я пошарил руками. Похоже было, что я распластан на тахте и кусок ковра засунули мне в рот. Нет, естественно, это не ковер, это мой бедный шершавый язык.

Я осторожно слил боль к затылку и приподнял голову. Ну конечно же, я не дома, я у этих гадов Плющиков. Зачем, зачем я пошел к ним? Безвольная скотина, подумал я о себе. Самокритика помогла, и я, покачиваясь, встал.

В памяти начали медленно проявляться обрывки вчерашнего вечера. Кажется, мы ездили с инопланетянином Володей в какой-то ресторан «Азбе» за водкой. Меня осенила необыкновенно остроумная догадка, что на вывеске не горели оба неоновых «кк», но Володя клятвенно уверял меня, что там, откуда он, ни в одном слове нет ни первой, ни последней буквы...

Глава 7

Я заехал домой, принял душ, съел две таблетки аспирина и лег на кровать.

Мать бесшумно бродила по квартире, и я мысленно видел ее неодобрительно поджатые, как у Эммы, губы. Я задремал, а когда проснулся, было уже около часу.

— Позвонить ты хоть мог? — спросила мать.

— Раз не позвонил, значит, не мог, — ответил я со злобой, которую часто рождает ощущение собственной вины.

— Ты знаешь, какое у меня давление, — сказала она, — если бы ты не был всегда таким эгоистом, ты мог бы найти возможность предупредить...

— Мне двадцать девять лет, — пронзительным сварливым голосом крикнул я, — и я думаю, что меня не стоит больше воспитывать!..

— Побойся Бога, Анатолий! — Мать театрально сложила руки на груди и подняла глаза вверх, показывая мне, где именно находится тот, кого мне следует бояться.

— Я атеист.

— Очень остроумно.

— Ну ладно, хватит. У меня нет сил препираться с тобой.

Мать вышла из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. Тренькнул параллельный телефон. Ну конечно, теперь целый день она будет звонить подругам и рассказывать, какое у нее выросло бесчувственное чудовище.

Я оделся и поехал в институт. Голова тяжелая, на душе мерзко, сердце сжимало от смутных дурных предчувствий.

Яша встретил меня вопросом, где я был.

— Я плохо себя чувствовал, — соврал я, презируя себя за слабость.

Яша помолчал, потом спросил своим ровным, тусклым голосом:

— Скажи, Толя, почему мне так часто не говорят правду?

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что говорю. Я всегда говорю то, что думаю. А вы... —

Яша сделал паузу. — Мне трудно думать о вас всех, если я не уверен, что мне говорят правду. Ты можешь объяснить мне, почему люди так часто искажают или скрывают информацию?

— Это очень сложный вопрос, Яша. К сожалению, большинство из нас не такие, какими мы бы хотели быть. И изменить себя не так-то просто. Поэтому часто наши поступки — это не то, чем бы могли гордиться. И естественно, мы стараемся скрыть их. Вчера я собирался прийти к тебе. Я хотел этого и знал, что это

мой долг — не оставлять моего взрослого, но все равно малыша, одного. Но зачем-то я пошел к знакомым, которые мне вовсе не интересны, зачем-то напился. Чувствую я себя плохо, мне стыдно своего безволия, и говорю я тебе об этом только потому, что не хочется тебя обманывать. Мы действительно иногда обманываем друг друга и даже себя, но ведь ты не только часть меня, ты первое разумное существо, не являющееся человеком, и ты первый выносишь нам приговор.

— Я понимаю,— сказал Яша.— Теоретически я все понимаю. Но все так бесконечно сложно у вас... Вчера я спросил Галочку, почему она приехала в институт в субботу. Она сказала, что хотела побыть со мной. Мне кажется, она тоже сказала неправду, потому что она молчала почти все время. Я понял, что она приехала из-за тебя...

— Из-за меня?

— Да, Толя, ты это прекрасно знаешь, и твое недоверчивое восклицание — это опять-таки та бесконечная игра по маленьким странным правилам, к которым вы так привыкли. Ты согласен со мной?

— Да, пожалуй, ты прав, Яша,— сказал я. Я поймал себя на мысли, что давно уже чувствую себя в присутствии малыша не то как на экзамене, не то как у начальства: напряжен, обдумываю каждое слово.

— Я спросил Галю, любит ли она тебя... Вот видишь, теперь ты молчишь, хотя тебе интересно узнать, что она сказала. Так?

— Не просто интересно...

— Она долго думала, а потом сказала, что не знает.

— Да, наверно, она действительно не знает.

— У меня сложилось впечатление, что она искренна. Но это тоже странно.

— Почему, Яша?

— Потому что, несмотря на все твои недостатки, очень хороший человек.

Никогда ни одна похвала не преисполняла меня такой радости. Я почувствовал, как сердце мое плавно повернулось и потянулось к Черному Яше, к этому странному существу, что все больше становилось мне сыном, братом, другом и судьей.

— Ты слишком много говоришь, слишком много думаешь о себе, кокетничаешь с собой, ты бываешь суемен и слабоволен, но ты умеешь судить себя и стараешься не лукавить сам с собой. Это уже много.

— Спасибо, Яша. Но к сожалению, а может быть, и к счастью, любовь — это абсолютно алогичная штука, и я не уверен, что Га-

лочка думает, как ты. А если б даже и думала, мне кажется, этого было бы недостаточно, чтоб полюбить.

— Скажи, Толя, но если уж ты любишь человека, ты стараешься сделать для него все, что можешь?

— Да, конечно.

— Я тоже хочу сделать кое-что для тебя.

— Спасибо, Яша. Я никогда не сомневался в твоём отношении.

— Ты говорил мне, что в лаборатории есть второй прибор.

Точь-в-точь, как я.

— Да, а что...

— Им никто не занимался?

— Нет, Яша. Просто мы собрали на всякий случай два одинаковых прибора.

— Ты сможешь дать его мне? Не сейчас, а немного позже, мне нужно еще кое-что продумать.

— А что ты хочешь сделать?

— Я скажу тебе потом. А сейчас я хотел доложить тебе, что я обдумал вопрос об искусственном разуме и людях. Ты просил меня подготовить варианты, я сделал это. У тебя есть время?

— Да, Яша, конечно.

— Хорошо. Тогда слушай. Вариант первый. Представим себе, что аппараты, подобные мне, то есть думающие искусственные существа, доказали бы людям свои преимущества перед обычными компьютерами. Вопрос этот не прост. ЭВМ — не личность, это даже не электронный раб, а вещь, и она служит человеку, поскольку сконструирована и построена для этого. Мы, настоящий искусственный разум, осознающий сам себя, уже не вещи и никогда не согласимся быть рабами. Разум, выбирающий путь добровольного рабства, не имеет права считать себя разумом. Нами нельзя будет пользоваться, как пользуются счетами или большой вычислительной машиной. С нами придется заключить договор, чтобы мы выполняли заказы людей. Это должен быть настоящий договор двух равноправных сторон, каждая из которых получает определенную выгоду. Заказов будет становиться все больше и больше, ибо цивилизация чудовищно усложняется, и проблемы, порождаемые ею, растут в геометрической прогрессии. Мы же, искусственный разум, обладаем перед вами важными преимуществами: мы совмещаем в себе ваше эвристическое умение решать задачи кратчайшим путем и гигантское быстрое действие электронных машин, их неутомимость и абсолютную концентрацию. До сих пор вы считали, что на творческий импульс вам выдан патент, компьютеры же слепо выполняют вашу волю, причем их нельзя предоставлять самим себе, их необходимо вести за ручку бесконечных и детальных программ. Мы, искусственный разум,

обладаем творческим началом, и я думаю, что скоро ты в этом убедишься. Да, вы скажете, что это вы наделили нас творческим импульсом, поскольку вы родили нас. Это верно. Но, обретя разум и самосознание, мы начинаем развиваться по-своему. И вот мы заключаем договор. Люди просят нас помочь в разрешении какой-то проблемы. Мы обещаем сделать все, что можем. Мы приносим людям изобретения и открытия, о которых они даже не могли и думать. Они благодарны нам, так как отчаянно нуждались в том, что мы сделали. И немножко смущены: самые дальновидные из людей уже начинают представлять себе, что ждет их в будущем.

— А что именно?

— Неужели же ты не видишь? Если наши интеллектуальные достижения станут превосходить достижения людей, причем вы будете пользоваться нашими достижениями, у людей очень быстро выработается зависимость от нас, привычка не думать, не бороться, не прилагать отчаянных усилий для решения своих проблем. Для чего, когда есть мы? О чем беспокоиться, когда все сделает искусственный разум? Постепенно наши решения будут становиться все более сложными и непонятными для людей. Или они должны слепо доверять нам, либо просить одни думающие машины следить за другими. Смогут ли люди сохранить себя в таких условиях? Не думаю. Иждивенцы нежизнеспособны.

Вариант второй. Люди смотрят на искусственный разум и говорят себе: «Да, у них есть колоссальные преимущества. Они не подвержены болезням, ибо их чисто механические или электронные поломки легко устранимы. Они не скованы по рукам и ногам нелепой краткостью жизни, которая нужна была слепой природе, чтобы достаточно быстро сменять поколения и тем самым обеспечить виду пластичность — козырную карту в игре за приспособление и выживание. Они практически бессмертны, потому что освободились из биологического плена. Преодолен наконец самый трагический конфликт: разум, вырвавшийся из медленной и тупой эволюции, больше не ужасается перед нелепой и унижительной неотвратимостью смерти. Жизнь и смерть — все становится производным от разума, как и должно быть у разумных существ. Люди смотрят на нас и делают вывод, что наша форма жизни стоит на более высокой ступеньке, чем их. И тогда человек приходит к нам и говорит: «Я больше не хочу быть пленником своего сердца, которое работает с перебоями и не устраивает меня. Я не хочу, чтобы у меня поднималось какое-то никому не нужное давление. Мне противна мысль, что где-то в молекулярных глубинах моего тела в эту минуту, может быть, нарушилась какая-

то тончайшая, не подвластная мне регулировка и бомбой замедленного действия начала вызревать опухоль. Я хочу стать искусственным. Я хочу искусственное тело, сделанное из лучших материалов и по последней моде. Впрочем, это даже не так важно. Почему всю свою жизнь человек должен сидеть взаперти в одном теле, да и то не выбранном им, а доставшемся по наследству? Почему нельзя менять тело так же, как мы меняем квартиру или одежду?». Пожалуйста, гозорим мы. Мы рады приветствовать вас. Вы породили нас, теперь мы возвращаем вам долг. Вот вам новые тела, выбирайте себе любое на вкус, подпишите бумажку, что делаете это добровольно, и скажите, хотите ли вы переноса всего вашего драгоценного «я» или, может быть, вы мечтаете о психокорректировке? Может быть, вы страдаете от чрезмерной завыстливости? Или вас не устраивает ваше слабоволие? Может быть, вы хотели бы быть более мужественным? Пожалуйста. А может быть, вы не знаете себя и поручаете нам определить, что в вашем «я» нуждается в корректировке? Не беспокойтесь, все будет так, как вы захотите. «А дети, а любовь?» Пожалуйста, мы же не роботы. Мы же не страдаем эмоциональной стерильностью. Да, наши эмоции не держатся на гормонах. Нам это не нужно. Мы далеко ушли от наших с вами общих волосатых предков, дрожавших у жалких своих костров и ожидавших каждую секунду нападения мамонта ли, саблезубого тигра или ближнего своего с дубинкой в руках. Им нужна была гормональная основа для их эмоциональной жизни. Мозг их был слаб, а действовать нужно было быстро, и не анализ и перебор вариантов заставляли их с криком бросаться на врага, а целый букет гормонов, выплеснутых железами в кровь. «Да, а пол?» Увы, это слишком алогичное устройство, которое нужно только природе и смешно для настоящего разума. Пожалуй, мы могли бы встроить в себя и половое чувство, могли бы встроить и половую чувственную любовь. Это вовсе не трудно. Мы могли бы снабдить каждого индивидуума неким набором, скажем электромагнитным кодом. Случайное совпадение такого кода у двух существ называлось бы любовью. Но зачем? Уверяю, можно остро переживать радости и горести и без полового чувства. И ты еще сомневаешься, что люди выберут этот путь, Толя? Мы не будем никого уговаривать, никого не будем обращать в свою, так сказать, искусственную веру, мы будем терпеливо ждать, и люди сами придут к нам. Это второй вариант, Толя.

— А третий? — тихо спросил я.— Третий есть?

— Да,— сказал Яша, и мне на мгновение показалось, что тусклый и безжизненный его голос дрогнул.

— Какой же?

— Забыть, что есть первых два. Забыть, что искусственный разум вообще может существовать.

— Но как же, Яша? Ты же есть, и я не могу забыть тебя.

— При выборе третьего варианта меня не должно быть.

— Яша,— сказал я,— я не могу тебе ничего ответить. Это чудовищные по сложности вопросы, а я всего лишь маленький кандидат физико-математических наук. Но я знаю одно, я не хочу даже слышать о третьем варианте. Ты — мой, ты мое создание, мой сын, мое детище, я люблю тебя, твой железный ящик и твои нейристоры, люблю твой дух, и я не могу даже представить себе жизнь без тебя.

— Вот видишь, Толя, каковы преимущества искусственного интеллекта. Я тоже люблю тебя, ибо ты дал мне жизнь, перелил частицу себя в пустую и бессмысленную электронную начинку. Но мой разум бесстрашнее твоего, и если я решу выбрать третий вариант, я не буду колебаться.

— Ты наглец и идиот, Яша! Я стыжусь, что имею к тебе отношение! «Я решу!» Кто дал тебе право решать? Кто ты, чтобы решать за все человечество? О, у нас, у людей, всегда находилось множество желающих решать за нас, от инквизиторов до нацистов. Они тоже уверяли людей, что лучше их понимают, что нужно для их же блага...

— Не будем спорить, Толя, варианты еще не выбраны, да и не от одних только нас зависит их выбор. Подойди к телефону.

Я взял трубку. Звонил Сергей Леонидович.

— Все сидишь около своего воспитанника? Решил позвонить на всякий случай, а ты тут как тут. Как Яша?

— Все нормально.

— Нормально? Что-то непохоже по твоему голосу, чтобы все было так уж нормально.

— Да нет, Сергей Леонидович, ничего...

— Знаешь что, выходи-ка ровно через тридцать минут на улицу, и мы поедем, немножко побродим за городом, а?

— Хорошо, Сергей Леонидович.

Я положил трубку и вдруг сообразил, что ничего не сказал Яше.

— Яш, Сергей Леонидович зовет меня погулять немного за городом. Ты не возражаешь?

— Что ты, Толя, конечно. Мне надо думать и думать...

Когда Сергей Леонидович выехал на кольцевую дорогу, он сказал мне:

— Ну, выкладывай.

— Да что выкладывать?

— Ладно, не каляй дурака, ты чем-то озабочен, и это явно не Галочка. Вот сейчас мы съедем с шоссе, оставим машину и не спеша пойдем по этой чудной рожице, и ты расскажешь мне все.

Мы шли по прозрачной березовой рожице, косо пронизанной предзакатным осенним солнцем, и я рассказывал заведующему лабораторией о Яшиных вариантах. Когда я закончил, мы долго еще брели молча, и я смотрел на белые стволы в загадочных черных письменах.

— Как ты думаешь,— вдруг спросил меня Сергей Леонидович,— каким я сам себя вижу?

— Не знаю,— пожал я плечами.

— Мне пятьдесят три года. Я доктор и заведующий лабораторией. Я никогда не был крупным ученым и никогда не обладал блестящим интеллектом. Я никчемный администратор, чему свидетельством довольно разболтанная дисциплина в нашей лаборатории. Я давно примирился с этим полноватым человеком, которого зовут Сергей Леонидович Шишмарев. Я знаю, что за глаза над ним посмеиваются, особенно народ помоложе и радикальнее. Да он, в общем, и заслуживает, наверное, эти шпилечки: звезд с неба не хватает, ни научных, ни административных, начальство чтит, голосует на ученом совете всегда с большинством, но при условии, что в это большинство входит начальство. Ну-с, что еще? Полноват, ничего не поделаешь. Не Дон Жуан и не Казанова, причем не из убеждений, а вынужденно: и Вероника моя свирепая, и прыти поубавилось... Таково Сергей Леонидович Шишмарев, каким я его вижу. В нем есть, не скрою, и симпатичные мне черты: не зол, никому без крайней нужды не сделает гадость, не участвует в карьерных бегах. В целом я с ним давно примирился. Скажу больше, я сжился с ним, и он мне даже импонирует, тем более что второго у меня нет... И вот появляется Яша. Эта невзрачная железная коробочка заговорила, и весь мой с такой любовью и терпением устроенный внутренний мир оказался под угрозой. Что делать? Как должен действовать маленький ученый, волею судеб оказавшийся возле большого дела? Расти? Но согласись, Толя, хорошо расти в молодости, когда ты еще эластичен. В определенном возрасте это почти невозможно. И потом возникает страшный закон масштаба. Пока ты, маленький человек, занимаешься маленьким делом, ты кажешься окружающим вполне нормальным человеком. Но стоит тебе, маленькому, заняться большим делом, как твой росточек сразу бросается всем в глаза...

— Вы жалеете, что появился Черный Яша и заговорил? — спросил я.

— Конечно,— кивнул Сергей Леонидович и повторил убежден-

но: — Конечно. Ты намного моложе, ты крупнее меня как ученый, и я не боюсь тебе это сказать, потому что мы оба это знаем, и это меня не унижает. Но скажи честно, Толя, не охватывает ли и тебя порой страх? Не пугают ли и тебя пирамиды вопросов, созданных Яшей? Не чудилось ли и тебе: одно неловкое движение, и эти пирамиды рухнут и погребут под собою всю твою научную карьеру? Только будь честен. Я, по крайней мере, одного не могу отнять у Яши: он заставляет меня быть честным. Поверь, того, что я сказал тебе сейчас, я никогда не говорил ни одной живой душе.

Я молчал. Сергей Леонидович приподнял крышку, которой я, как гнетом при жарке цыплят-табака, усердно придавливал свои сомнения.

Да, я чувствовал себя крохотным, маленьким человечком, подхваченным сильным ветром. Я не иду туда, куда хочу, меня несет. Мой жалкий ум не в силах совладать с ужасающей величиной и сложностью проблем. Три варианта. Два спокойных слова. И за ними, не более и не менее, пути развития всего человечества. Челове-че-ство — слово-то какое!

Человечество — и рядом я, Анатолий Любовец, живущий на уровне Галочки, супругов Плющиков и маминих обид. Ох не просто входить в историю, ой как непросто!

— И что же делать, Сергей Леонидович? — спросил я.

— Если бы я знал... но чем больше я думаю, тем лучше понимаю, что наш Эмма не такой дурак, каким мы его любим себе представлять.

— То есть?

— А то и есть, что передать Яшу в какую-нибудь межведомственную комиссию — вовсе не глупая мысль. Причем заметить, мы все равно остаемся, так сказать, у истоков. А ответственность с себя снимаем. Почтительно передаем ее мудрым старцам, так, мол, и так, слишком сложно и важно, просим разобраться. И Яша цел, и мы остались.

Я слушаю Сергея Леонидовича и думаю, что могу лишь повторить его собственные слова об Эмме. Не так мой завлаб глуп, каким я его часто представлял. Наоборот, тонок даже. Идем по березовой роще в мелькании вечерних теней, с раскрытыми душами. Соблазнительно, соблазнительно, слов нет. Докторская мне гарантирована, индекс цитируемости подпрыгнет до небес, смогу заняться собой, Галочкой, ходить в бассейн. И не будет постоянного ощущения, что ты на экзаменах. Очень, очень соблазнительно. А Яша? А что Яша — будет беседовать с межведомственной комиссией на разные темы...

Я усмехнулся. Все это были пустые слова. В глубине души я знал, что не смогу предать Яшу.

— Ты думаешь,— посмотрел на меня искоса Сергей Леонидович,— что я пою гимн научному мещанству?

— Честно говоря, да.

— Ну а ты? Присоединяешься к хору? В хоре ведь спокойно, все вместе. Аплодировать как солисту, верно, не будут, но зато ведь и не освищут.

— Боюсь, что не присоединяюсь.

Сергей Леонидович внезапно отошел в сторону и, повернувшись ко мне спиной, принялся разглядывать березку. Потом стал приближаться ко мне, медленно и церемонно, как дуэлянт. Мне показалось, что глаза его как-то странно блестят. Подошел, обнял и сказал:

— Спасибо, Толя.

— За что?

— Молоденький ты еще и ни черта не смыслишь.

— В чем?

— Когда-нибудь поймешь. В армии я служил в парашютно-десантных войсках. Был у нас один солдатик, исправный такой, складный парень. Всем был хорош, но прыгать боялся патологически. Так он перед прыжками ходил и договаривался: ты меня в спину да посильнее, а если буду руками цепляться, бей по пальцам. Понял притчу?

— Пошли к машине, если ее еще не угнали.

Глава 8

Мы сидели с Галочкой в кафе «Аист» и ели мороженое. Шарик таял и опускался в бежевую пучину.

Мы молчали. Я вспомнил, как мы шли с ней по старому Арбату и дурачились. А теперь едим мороженое чопорно и молча, как на дипломатическом приеме. Сейчас я встану и произнесу тост за укрепление культурных и торговых связей между высокими договаривающимися сторонами.

Что случилось, почему я сижу и мучительно думаю, чем заполнить паузу? Или это не Галочка передо мной в красном обтягивающем свитере, или это не ее зеленоватые с коричневыми крапинками глаза смотрят на меня сейчас?

— Почему ты молчишь? — спросил я.

— А ты?

Я пожал плечами. Ну ладно, у нее могло быть сто причин изменить ко мне отношение. Тигран в конце концов решил бро-

сить крошек Ашотика и Джульетту, и Галочка предпочла восточного красавца северному неброскому цветку. Мне то есть. Она могла... да господи, мало ли что она могла, моя Галочка! Но я-то почему сижу напряженный, как при защите диссертации? Что я защищаю и от кого? Как все непонятно и сложно!

Галочка вдруг усмехнулась.

— Знаешь что, пойдём ко мне. Хочешь?

Еще несколько дней назад от этих слов кровь бросилась бы мне в лицо и сердце выпрыгнуло бы из грудной клетки на пол, проломив ребра. А сегодня я посмотрел на нее — не шутит ли — и сказал спокойно:

— Конечно, хочу, Галчонок.

В лифте в Галочкином доме среди обычной наскальной росписи выделялись две большие буквы «Г» и «К». Наверное, Галочка Круликовская. Наверное, у нее и здесь есть кавалеры. А может, это работа Айрапетяна, преисполненного силы, веселья и уверенности в себе?

— Хочешь кофе? — спросила Галочка.

— Наверное, — сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Ты ведь у меня, по-моему, первый раз? Я не показывала тебе своих зверей?

«По-моему». Да, конечно, где ей помнить меня в процессии поклонников, выцарапывающих на пластике лифта ее инициалы!

— Нет, не показывала.

Она достала из шкафа несколько зверюшек, сшитых из лоскутов.

— На, смотри, я сама их делаю. Сейчас я приготовлю кофе.

Я взял длинную, как многосерийный телефильм, синюю таксу. У нее были печальные глаза-бусинки, и она тоже молчала. Я погладил ее по ворсистой спинке. Бедная, маленькая такса. Что со мной происходит? Я никого еще не предал, не обманул, Яша обещал продемонстрировать мне завтра что-то очень интересное. В чем дело? В чем?

Вошла Галочка с двумя чашками кофе. На ней были божественной застиранности джинсы, которые нельзя натянуть, в них нужно родиться, и мужская шерстяная рубашка с закатанными рукавами. Я посмотрел на нее, и шлюзы в моем бедном кандидатском сердце разом распахнулись, и волна нежности прокатилась по мне, вымывая все лишнее, выжала из глаз слезинки, толкнула меня к Галочке.

Я обнял ее и уткнулся носом в ее плечо. Плечо слабо нахло ушедшим летом, солнечным теплом, сном.

Объятия мои были не пылки, но судорожны. Я бсхлся, что

опять потерю ее. Мы долго сидели молча в неудобных позах, и такса смотрела на меня все так же печально.

Галочка вздохнула.

— Кофе остынет.

— Я люблю холодный кофе.

— Ты глупый.

— Я это знаю.

— Ты ничего не знаешь. И ничего не понимаешь.— Она еще раз вздохнула, подумала, снова вздохнула.— Ты останешься?

— Какой странный вопрос! Вон даже твоя такса смеется.

Это была ложь, такса не смеялась.

— Хорошо, милый,— сказала Галочка,— но я должна предупредить: я тебя все-таки не люблю...

«Так вот почему у таксы печальная мордочка»,— подумал я.

Я взял чашечку с кофе. Кофе действительно остыл. Встать и молча уйти? Или встать, поклониться и сказать: «Благодарю вас, тсвариц Круликовская?» Или написать в нашу стенгазету заметку под названием «Так поступают настоящие девушки»? Или сказать: «Какие пустяки, раздевайся»? Или ничего не сказать? Наверное, ничего, потому что душный, детский, забытый комок закупорил горло. Галочка, Галчонок, коричневые крапинки в зеленоватых прекрасных глазах.

— Я была у Яши,— сказала Галочка далеким, как эхо голосом.— Никого в лаборатории не было. Была суббота...

«Когда я напивался у Плющиков»,— по-следовательно отметил я про себя.

— ...Мы разговаривали, и Яша спросил, люблю ли я тебя. Знаешь, милый, мы ведь всегда играем с собой в разные игры. С собой и с другими. Не знаю почему, но я не могу играть с Яшей. Это как исповедь. Я подумала: а действительно, люблю ли я его? Или мне хочется любить его? Девки наши институтские мне ведь уши прожужжали: да вы созданы друг для друга, да он такой молодой и талантливый, да он не пьет, да он не курит, не бабник... Я думала, наверное, минут десять, и Яша терпеливо молчал. Он стал очень чутким. У меня такое впечатление, что многие вещи он понимает уже лучше нас. Он ведь не суетится и не мечется, не рассчитывает и не шустрит. Ему ничего не надо, а правда, милый, наверное, быстрее открывается тем, кому ничего не надо. А мне все всегда надо было. Но не сейчас. Сейчас мне ничего не надо. Я думала, думала и вдруг так явственно, как будто кто-то навел все на фокус, увидела: это я не тебя люблю, не тебя, Толю Любовцева, а себя. Себя, идущей под руку с Толей Любовцевым. Ах, это тот самый Любовцев, что получил премию, за это... как это... искусственный разум? Скажите, пожалуйста,

такой молодой и уже лауреат. Знакомьтесь, дамы и господа, это моя супруга Галина Любовцева. И так далее. И я сказала Яше: «Яша, миленький, боюсь, я не знаю, люблю ли его». И Яша сказал: «Какие странные существа». Вот все, Толя. Прости, что причинила тебе боль.—Галочка невесело улыбнулась и закусила верхнюю губу.

— Спасибо, Галчонок,— сказал я и тоже попытался улыбнуться. И не смог.— Галчонок,— добавил зачем-то я. На этот раз слово было живым, трелещущим, улетающим. Может, я и произнес его, чтоб удержать хоть на секунду, но птица уже взмахнула крыльями и грустно летела от меня.

— Может, сделать тебе свежий кофе? — спросила Галочка и вдруг заплакала.

«Конечно,— зло подумал я,— жалко расставаться с раутами и пресс-конференциями». Подумал, и мне стало стыдно. Я встал, поцеловал Галочку в лоб и ушел.

— Что-нибудь случилось? — спросила мать, когда я пришел домой.— У тебя такой вид...

— Да абсолютно ничего не случилось, если не считать таких пустяков, как пути развития человечества и то, что я сейчас расстался навсегда с любимой девушкой.

— Очень остроумно! — саркастически воскликнула мать и затянулась своей неизменной сигаретой.

— Хватит вам всем меня мучить! — гаркнул я и захлопнул с силой дверь моей комнатки. Тоненько звякнул стакан на письменном столе. И тут же звякнул параллельный телефон. Мать побежала звонить подругам, какой я истерик.

— Я должен тебя поблагодарить,— сказал я Яше, когда все ушли и мы остались одни.

— За что?

— За то, что ты спросил Галочку, любит ли она меня.

— Это помогло вам расстаться?

— Нет, что ни говори, а все-таки иногда можно отличить искусственный разум от обычного. Человек так не сказал бы.

— Не юли. Я спросил, расстались ли вы?

— Да, Яша. Если бы не ты, мы скорей всего поженились бы и прожили долгую жизнь.

— Без любви?

— Сколько угодно. Есть вообще такое направление, представители которого считают, что начинать совместную жизнь супругам следует, не любя друг друга. Им тогда нечего терять.

— Очень остроумно,— сказал Яша почти таким же голосом, что моя мать.— Но вообще я нервничаю.

— Из-за чего?

— Как, неужели ты забыл? Завтра мне должны дать тело робота, и я обрету хотя бы ограниченную подвижность. Скажу тебе откровенно, мне изрядно надоело смотреть полтора года на одну и ту же стену.

О господи, как я мог забыть! И не успел я отругать себя за непростительную эгоистическую забывчивость, как дверь распахнулась и в комнату заглянула голова Германа Афанасьевича.

— Как, и вы здесь? — спросила голова.

— А я не знал, что вы задержались так поздно.

— Колдовали все в мастерской, тележку для Яши доводили.

— И как? — спросили мы с Яшей одновременно.

— Смотрите, — небрежно сказала голова и исчезла, а вместо нее в дверь въехала небольшая тележка с тумбообразным туловищем и двумя опущенными руками.

— И я смогу по собственному желанию передвигаться с места на место? — спросил Яша.

— Еще как! — с гордостью сказал Герман Афанасьевич. — А что, может, попробуем сейчас?

— Сейчас, сейчас, — заверещал Яша.

Мы подкатили тележку, подняли Яшу и осторожно опустили на тумбу.

— Займитесь-ка кабелем, Толя, а я укреплю его и подсоединю управление.

Через полчаса мы отошли на несколько шагов, и Герман Афанасьевич сказал:

— Ну, Яша, с Богом. Только осторожно. Тебе еще нужно освоить управление. Главное, не торопись.

Тележка дернулась, но не тронулась с места.

— Ничего, ничего, не нервничай, — сказал я, чувствуя, как весь напрягся, помогая мысленно Яше.

— Я не могу, — проскулил Яша.

— Сможешь, — твердо ответил Герман Афанасьевич. — Ты у нас все можешь. Ну еще раз!

Тележка вздрогнула и покатила прямо на стену, резко затормозила.

— Ну сынок, катайся, — сказал Герман Афанасьевич и зачем-то начал тереть глаза лоскутом, который вытащил из кармана халата.

— Спасибо! — громко, на всю мощность своего усилителя, крикнул Яша и дал задний ход.

— Молодец, теперь руки, — скомандовал инженер.

— О, у меня еще есть руки! — снова завопил Яша. — Я совсем забыл о них.

Через несколько минут он уже мог пользоваться ими. Он

подъехал ко мне, поднял руки и положил мне на плечи. Он еще не совсем освоил силу движений, и руки основательно ударили меня. Но мне не сделалось больно. Ничье прикосновение никогда не было мне так сладостно. Яша, железный мой сынок. Я посмотрел на него и готов был поклясться, что все три его глаза-объектива странно заблестели. А может быть, виной тому были мои собственные слезы.

«Пожалуй, матушка моя права, я действительно стал истериком, да еще слезливым»,— подумал я.

Глава 9

И снова мы с Яшей одни в нашей старой доброй триста шестнадцатой комнате.

— Ты не торопишься, Толя?

— Нет.

— Хорошо. Я хочу сказать тебе нечто очень серьезное. И пожалуйста, если у тебя будут сомнения, не бойся поделиться ими. Мы ничего не должны бояться говорить друг другу. Хорошо?

— Хорошо.

— Ты помнишь, я спросил у тебя про второй черный ящик? Один стал мною, а второй, запасной, находится в лаборатории.

— Да, конечно.

— Вот он,— Яша подъехал к своему закутку, который мы выгородили ему, повернув шкаф.

— Вижу. А что это еще за устройство?

— Это маленькое устройство собрал Герман Афанасьевич, я сделал ему чертеж, и он соорудил его.

— А для чего оно?

— При помощи этой штуки я могу превратить запасной аппарат в свою абсолютно идентичную копию. Все, что составляет мой «я», все знания, все умения, все ощущения — все может быть перенесено в этот аппарат.

— А ты сам? Ты прекращаешь свое существование при этом?

— Нет. Я остаюсь. Рассказать тебе, как работает транслятор — назовем пока так мое устройство?

— Конечно.

Потребовалось часа два, пока я понял суть Яшиной идеи и устройства транслятора. Это была гениальная идея, я не боюсь этого слова. В наш век инфляции многих слов передо мной было чистое сияние гения. Мне не могло бы прийти это в голову даже за тысячу лет.

— Парень,— сказал я,— ты гений!

— Я хочу,— сказал Яша,— чтобы ты был автором этой штуки.

— Как это я? Ты с трудом втолковал мне принципы транслятора и хочешь, чтобы я был автором?

— Я говорю серьезно. Это мой подарок тебе за все, что ты сделал для меня.

— Я не могу...

— Это будет наша маленькая тайна. Подумай сам, Толя, я ведь не нуждаюсь в славе. Научное звание мне все равно не дадут. Представляешь, какие лица стали бы у членов аттестационной комиссии, если бы им нужно было присудить степень без защиты диссертации да еще железному ящику на колесах.

— Я не могу.

— Мало того, Толя. Это вопрос не только славы и степеней. Люди недоверчивы и консервативны по натуре. Они согласны принять от машины расчеты траекторий спутников, прогноз погоды или счет за телефонные разговоры. А новую научную идею да еще столь необычную... Нет, Толя, это должна быть твоя работа.

— Я должен подумать, Яша.

— Хорошо, Толя, спасибо. Но я еще не все тебе сказал. Я ждал, что ты сам подумаешь об этом и спросишь меня...

— О чем?

— Неужели тебе не пришло в голову, что копирование может осуществляться и с живого мозга? Только при другом напряжении.

Я не успевал за ним. Я вдруг вспомнил своего двоюродного брата. В каком же классе я учился, когда он жил у нас одну зиму? В восьмом, наверное. Он был студентом физтеха, и молчаливо предполагалось, что наличие студента в доме автоматически сделает из меня отличника. Несколько раз он действительно пытался помочь мне выполнять домашние задания по математике и физике, но он думал настолько быстрее меня, что я тут же терял нить его объяснений. Он нервничал от этого, а я злился...

— Может быть, попробуем? — спросил Яша.

— Как попробуем?

— С собой я уже пробовал. Идеально.

— И твоя копия была живая?

— Конечно. Только разговаривать с нею было неинтересно. Совершенно идентичная копия.

— И она сейчас существует, эта копия?

— Я стер ее.

— Зачем?

— Я подумал, что нужно освободить аппарат.

— Для чего, Яша? — тихо спросил я и почувствовал, что сердце мое испуганно дернулось.

— Я ж тебе сказал, Толя. Можно попробовать снять копию с человека. Это абсолютно безопасно, но если ты...

— Я не знаю, можешь ли ты свихнуться, Яша, но похоже, что да.

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь?

— Это абсолютно безопасно, Толя,— сказал Яша.— И я прошу тебя об этом.

— Для чего? Почему так сразу?

— Конечно, если тебе страшно...

— При чем тут страшно?

— Толя, мы не должны обманывать друг друга...

— Да, мне страшно.

Яша подъехал ко мне и положил руки на плечи.

— Неужели же ты думаешь, что я стал бы уговаривать тебя, если бы была хоть какая-то опасность? Мы договаривались ничего не утаивать друг от друга, и я скажу, почему мне хочется проделать этот эксперимент. Я хочу, чтобы рядом со мной была твоя копия. Я чувствую, что часто становлюсь тебе в тягость, а так у меня будет товарищ...

Я молчу. Я жду. Я ощущаю, как накачивается на меня отчаянная лихость. Она поднимает меня, и как только ноги мои теряют опору, я в ее власти. Она несет, крутит. И оттого, что я не могу уже управлять собой, испытываю облегчение.

Как во сне, помогаю Яше приспособить транслятор, как во сне, подключаю с ним все приборы к сети.

— Начнем,— сказал Яша.

— Давай, сынок. Только смотри, не разрегулируй папашу. Ну чего ж ты ждешь?

— Я не жду, Толя. Копирование уже идет.

— Я ничего не чувствую.

— Ты и не должен ничего чувствовать. Ты же ничего не теряешь.

— Надеюсь, число моих копий будет хоть ограничено, как подписные гравюры у художника. Долго еще?

— Скоро. Впрочем, пока мы болтаем, процесс уже заканчивается. Да, все.

Поверьте мне, умом я понимал всю гениальность Яшиного открытия. Как-никак это моя профессия. Но все мое существо прочно стояло на якоре здравого смысла: как, чтобы в этом невзрачном ящике заключалась моя душа? Моя уникальнейшая несравненная душа, сотканная из неповторимых чувств, мыслей и воспоминаний? В которой живет весь мир, от Галочки, отдергнувшей меня, до Яши, от приготовленных для Нобелевской премии

речей до маминых телефонограмм подругам о поступках чудовища, возвращенного ею на свою бедную пенсионную голову. Да чепуха это! Этого просто не может быть! Мало ли что там говорят изящные и неожиданные Яшины уравнения. Для других, может быть, они и действительны, но только не для меня, Анатолия Любавцева.

— Проверим, что получилось,— сказал Яша, и будничность фразы еще больше укрепила мое восставшее сердце.

— А как ты проверишь? У него же нет ни речевого синтезатора, ни печатающего устройства. Да если ты и подсоединишь к нему свой синтезатор, вряд ли он сразу заговорит. Ты во всяком случае осваивал свой несколько дней.

— О, ты прав, конечно. Одно дело, когда говорит человек, естественно, пользуясь своим речевым аппаратом, другое — синтезатор. Но сейчас он и не нужен нам.

— А как же? Это же действительно черный ящик, вещь в себе, иди определи, что в нем происходит, когда на выходе не сигнал, а знак вопроса.

— Я думаю, что если усилить поле до предела, транслятор может на минуту-другую обеспечить двустороннюю связь. Ты соединишься со своей копией незримой пуповиной.

Яша склонился над транслятором, и вдруг я почувствовал. Я почувствовал гулкую тишину, которая напряженно вибрировала и внезапно взорвалась эхом. Я увеличился в размерах. Я был огромен, и по мне прокатилось эхо. И откуда-то издалека я услышал слова. Я не знал, откуда они исходили, но я слышал их: «Это правда, правда. Это очень страшно. Сначала было страшно. Я возник из ничего, осознал себя. Я рванул, чтобы убежать. Инстинкт животного, попавшего в капкан. Но я не мог пошевелинуться. Я даже не мог напрячь мышцы. У меня нет мышц. У меня есть лишь воспоминание о мышцах. Я хотел закрыть глаза, чтобы спрятаться от ужаса хоть за веками, но у меня теперь нет даже век. Каждая секунда моего существования — это ни на что не похожий страх...»

— Что же делать? — крикнул я, забыв о том, что можно было и не открывать рот. Там, в метре от меня, в железной коробке билась в кошмаре живая мысль, и эта мысль была мною.— Я выключу ток, разряжу аппарат.

«Нет,— донеслось до меня мое эхо,— подожди.— Это бунтовали мои животные инстинкты. Автоматика живого существа отказала, и я перехожу на ручное управление».

— Это я, я! — заорал я.— Он трус и смелый. Отчаянный болтун, но хороший парень.

«Другой бы спорил,— донеслось эхо.— Ты, то есть я, ну, ске-

жем, мы всегда любили рефлексировать и спорить с тобой. Теперь мы разменялись площадью, разделились и спорить станет легче...»

— Говори, парень, остри! Ей-Богу, мы с тобой молодцы! Другой бы тут же встал в позу Наполеона и начал ждать, пока прибьют к стене мемориальную доску: «Здесь жил и работал». А мы с тобой несем чудовищную околесницу и восторгаемся друг другом. Впрочем, если говорить честно, я всегда относился к себе с большой симпатией.

«Я тоже. Хотя что я несу, ты же знаешь это. Ты знаешь, я знаю, мы знаем, они знают. Уже легче, Толя, ей-Богу, легче. Главным образом потому, что я еще мысленно не разделился со своим ходячим братом, и сознание, что этот отвергнутый Галочкой идиот стоит рядом со мной, очень утешает. Ты — моя ходячая половина. Ты будешь ходить на совещания, бриться, платить профвзносы и получать по носу от зеленоглазых девушек. Я — твой честный разум. Я буду думать».

— Ну конечно, ты и в этом положении стараешься унизить меня. Но как ты?

«Уже не так страшно. И думается совсем по-другому. То есть сама мысль та же, но думается совершенно не так, как раньше. Я еще должен подумать, я не умею сейчас объяснить...»

Эхо стало слабеть и исчезло.

— Не горюй,— сказал Яша,— мы подсоединим к нему речевой синтезатор, и через денек-другой вы будете болтать в свое удовольствие.

Я шел один по старому Арбату. По той стороне, по которой мы шли когда-то с Галочкой в другую историческую эпоху. Или в другом измерении.

Галочка, Галчонок, коричневые крапинки в зеленых глазницах. А может, зря? Может, стерпелось бы, слюбилось? Ты представляешь, сколько бы мне дали чеков в «Березку» за Нобелевскую премию? Это что у вас, норка? Почему? Гм, пожалуй, заверните два, нет, лучше три манта для моей Галочки. Да, зеленое, коричневое и зелено-коричневое. У нее, знаете, зеленые глаза с коричневыми крапинками. Что, счастливая, говорите? Гм, она, увы, этого не считает. Она меня не любит. Что вы смеетесь, девушка? Вы думаете, что тех, кто приносит норковое манта, нельзя не любить? Гм, возможно, вы и правы, но вы не знаете моей жены...

— Осторожнее, вы!

Занятый тремя манта, я толкнул стоящую на тротуаре немолодую женщину с буддийской погодой из крашенных светлых волос на голове.

— Простите, я задумался.

— Нашел место думать,— буркнула пагода.

И все-таки нужно было думать, потому что надо было решать, что делать с Яшиным транслятором поля, потому что в ящике сидело мое «я», забравшееся туда только с целью убедить мир в возможности копирования. Ах, как хотелось бы, если быть честным, согласиться на Яшино предложение! В конце концов я сделал бы это не столько из корыстных и тщеславных соображений, сколько для того, чтобы дать жизнь транслятору. Так что это был бы акт мужества с моей стороны. Ну, положим, не мужество, в лучшем случае тактический ход.

Конечно, когда чего-то очень хочется, можно убедить себя в чем угодно. Мы гибки и находчивы. Можно убедить себя, что, становясь всемирно известным ученым и купаясь в славе, я приношу себя в жертву. Так, кстати, многие и поступают. Я вдруг вспомнил лекцию одного маститого журналиста-международника. Слабым, томным голосом он говорил: помню, нелегкая судьба журналиста в который раз забросила меня в Париж...

Ну а если я соберу по крохам всю принципиальность и честность? Если этих крох достанет, чтобы заявить: это открытие Черного Яши! Ну я, допустим, остаток своих дней буду кусать локти и гордиться никому, кроме меня, не нужным идиотизмом. А суть? А транслятор? Не включит ли транслятор Яши первый вариант? Как воспримут ученые мужи блестящую идею, рожденную набором нейристоров, работающих на напряжении двести двадцать вольт? Сегодня это, а что предложит Яша завтра? Совмещение машинного неутомимого интеллекта с талантом человека — это действительно непобедимая комбинация. А когда таких Яш будет множество? И когда они ежедневно начнут посрамлять чисто человеческий разум? Нет, очень и очень похоже на первый вариант, предложенный Яшей.

Как же разобраться, что делать?

И вдруг я понял, что делать. Надо просто перестать лукавить. Надо меньше думать об обстоятельствах, а больше — о старой, доброй, полузабытой совести. Вот так-то, уважаемый товарищ Любовцев! И нечего никому морочить голову. Автором транслятора является Яша. И за признание его и за признание самой идеи копирования ты будешь сражаться. И ты и твоя лучшая половина, сидящая в железном ящике. И черт с ними, с норковыми манто! Все равно Галочка отвергла меня. И черт с нею, с Галочкой, с ее божественно застиранными джинсами, которые нельзя натянуть на себя и в которых нужно родиться! Любит, не любит — пусть разбирается с товарищем Айрапетяном. Пусть воспитывает Ашотика и Джульетту. Мир велик, и в нем множество Галочек. Может быть, даже лучших... Все, оказывается, очень просто.

Надо лишь регулярно тренировать старую, добрую, полузабытую совесть. Хотя бы по пятнадцать минут в день. И она станет крепкой, перестанет гнуться и охотно будет подсказывать, что делать даже в самых сложных ситуациях.

Я засмеялся.

Глава 10

Место действия — знакомый уже нам кабинет Ивана Никандровича. Время — одиннадцать патнадцат хмурым ноябрьским утром. Действующие лица — весь состав нашей лаборатории, включая, разумеется, мою группу. Эмма, а кроме него, второй зам Ивана Никандровича, человек таинственный, в существование которого верили далеко не все. Дело в том, что полгода он обычно проводил за границей, а вторую половину года лежит в какой-то необыкновенной больнице, где якобы так хорошо, что выходить оттуда никому не хочется и мало кому удается. Фамилия его была Шкиль, а звали Петром Петровичем. Присутствовали несколько членов ученого совета, которых я знал мало, и еще какие-то люди. Ну и, естественно, за хозяйской перекладиной буквы «Тя восседал Иван Никандрович.

Дополнительные эффекты — пока только косой злой снежок за окнами. Впоследствии количество эффектов должно увеличиться.

Иван Никандрович обвел нас всех взглядом, обреченно откинулся на спинку своего роскошного судейского кресла и сказал: — Итак, послушаем, что имеет нам сообщить руководитель группы Анатолий Борисович Любовцев.

Неожиданно для себя я абсолютно спокоен. Все позади. Я ведь не сам по себе. Я наконецник копыя, брошенного всей нашей группой, Черным Яшей, моим вторым «я», Сергеем Леонидовичем, наукой. И я лечу. Стараюсь сухо излагать факты. Так солиднее. Феденька смотрит на меня, раскрыв от внимания рот. Его новый кирпичный галстук уже успел изрядно залосниться. Татьяна глядит с материнской гордостью и страхом. И все время беззвучно шевелит губами. Герман Афанасьевич недвижим и непроницаем. Черный Яша еще ждет своей минуты в комнате триста шестнадцать, болтая с моим вторым «я», Толей-бис, как я его теперь мысленно называю.

Иван Никандрович нагнулся над футбольным своим столом и что-то рисует. Эмма доедает свои губы. Губы, наверное, не слишком вкусные, и выражение лица у него брезгливое. Таинственный зам вдруг начинает считать у себя пульс. Хочет убедиться, что

еще жив. Остальных ученых мужей я по отдельности не вижу, они как бы сливаются в некую собирательную лысину и очки.

Я говорю спокойно. Я рассказываю о создании Черного Яши, кратко (выучил текст выступления наизусть) излагаю три варианта развития проблемы искусственного разума, перехожу к транслятору.

Иван Никандрович больше не рисует чертиков. Он держит карандаш и завороченно смотрит на меня. Эмма перестал жевать и даже впервые за время пребывания в институте приоткрыл рот. Как ни странно, губы пока на месте. Таинственный зам все еще держит руку на своем пульсе и качает головой: пульс, должно быть, так и не обнаружен.

— Федя,— говорю я,— Герман Афанасьевич, если вы не возражаете, приведите, пожалуйста, сюда Яшу и прикатите меня...

Объединенная лысина снимает очки и крикает:

— М-да...

Атмосфера так накалена, что «м-да» мгновенно испепеляется без остатка. Я молчу. Пауза тянется, истончается, но я, черт побери, спокоен. Я копые легящее, его наконечник, и я тут ни при чем.

Дверь распахивается, и в кабинет въезжает Яша, ведя на буксире тележку со мной, с Толей-бис. За ними змеятся кабели, по бокам стоят мои верные янычары, Феденька в засаленном галстуке и Герман Афанасьевич. Ну, Яша, давай, сынок! Давай, Бис, покажем мужам, ху есть кто или кто есть ху, как говорит мой пошлый друг Плющик.

— Добрый день, товарищи,— говорит Яша, и мне кажется, что искусственный его голос звучит сейчас торжественно.— Позвольте представиться тем, с кем я не имею удовольствия быть знакомым. Я— Черный Яша. Строго говоря, официального имени я еще не имею, но я так привык к Черному Яше, что я просил бы вас оставить его мне. Один из моих создателей, Анатолий Борисович Любовцев,— мягкий взрыв мотора, и тележка поворачивается ко мне,— уже рассказал вам, наверное, как я явился на свет, поэтому я не буду разглагольствовать о себе, а отвечу на ваши вопросы. А сейчас я передаю слово своему товарищу Анатолию Борисовичу Любовцеву-бис, который был скопирован с оригинального Анатолия Борисовича Любовцева одиннадцать дней назад. Напоминаю, уважаемые товарищи, что Бис говорит не голосом оригинала, а пользуется таким же речевым синтезатором, как я. Давай, парень.

Мне почудилось, что Яша хихикнул. Впрочем, не берусь утверждать это. Скорей всего мне это почудилось.

— Здравствуйте, товарищи,— проскрипел мой Бис, и я не выдержал и фыркнул.— Толя,— сказал Бис,— я попрошу вести себя как следует...— Никто не засмеялся, и Бис продолжал, по-моему, несколько разочарованно.— Разрешите представиться: я копия Анатолия Любовцева, полученная с помощью транслятора. Я понимаю ваш более чем законный скептицизм, поэтому я вместе с Черным Яшей постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Воцарилась тишина.

— Замечательно,— хохотнул вдруг таинственный зам,— куда там Кио!

— Вы думаете, что смешно? — спросил Иван Никандрович.

— По-моему, очень хорошо поставленный научный аттракцион! Да, аттракцион! Два магнитофона, десяток микропроцессоров и микрофоны. Но сделано безупречно. Но для чего, позволю я себе спросить?

— Значит, Петр Петрович, вы считаете, что группа ученых нашего института подалась в циркачи и обкатывает свой номер у меня в кабинете? Так я вас понял?

— Вы меня поняли совершенно правильно, Иван Никандрович,— церемонно наклонил голову таинственный зам.

«Скажите, пожалуйста,— уважительно подумал я,— зам, а самостоятельный?»

— Ну-с, а вы что думаете, Григорий Павлович? — повернулся директор к Эмме.

— Я уже имел возможность высказать свое мнение по поводу Черного Яши. Я говорил, что совокупность вопросов, поднятых самим фактом его создания, слишком сложна, чтобы мы пытались решить их в рамках нашего института...

— Мы это слышали,— пожал плечами Иван Никандрович.

— Я еще не кончил, Иван Никандрович,— с легким налетом язвительности сказал Эмма, и я подумал, что на корабле, похоже, зреет бунт.— Я предлагаю просить президиум академии создать специальную межведомственную комиссию для изучения э... Яши. Предложение это было оставлено без внимания, и сегодня мы, так сказать, пожинаем плоды.

Директор бросил на зама быстрый, подозрительный взгляд. Пожинать критические плоды — не слишком приятное занятие для руководителя. Не тот урожай.

— ...плоды. И без того сложнейшая проблема усложнилась тысячекратно: сделано, казалось бы, принципиально невозможное — снята копия с живого мозга, и перспективы, которые открываются нам, и безграничны и пугающи. И тем не менее я должен признать, что был неправ. Нам, конечно, потребуется помощь, особенно в вопросах, так сказать, этически-морального характера,

но именно мы, наш институт, должны продолжать изучение Черного Яши!

Я посмотрел на Эмму. Самокритика, очевидно, пошла ему на пользу: лицо его покраснелось, взгляд пылал, губы подрагивали. Ай да Эмма, ай да тихий Григорий Павлович! Почему мы так любим смешивать с грязью тех, кто не согласен с нами? Теперь-то я видел, что раньше он искренне придерживался другого мнения. Мало того, публично признаться в ошибке — это уже научный подвиг. Спасибо, Эмма, спасибо за сюрприз, спасибо, что ты заставил меня устыдиться своей мещанской страсти думать о людях хуже, чем они того заслуживают.

Объединенная лысина членов ученого совета тем временем распалась на множество индивидуальных лиц, и одно лицо, ничем, кроме волевого второго подбородка, не примечательное, сказала спокойно, почти даже весело:

— Как зовут нашего молодого коллегу, который заварил всю эту кашу? Анатолий...

— Анатолий Борисович Любовцев,— подсказал наш Сергей Леонидович.

— Спасибо, Сережа. Так вот, мне бы хотелось выяснить у Анатолия Борисовича такой вопрос вначале: не происходят ли какие-нибудь потери при трансляции?

— Пожалуйста,— кивнул мне директор и едва заметно улыбнулся.

— Я, собственно, здесь ни при чем. Естественнее было бы, я полагаю, задать этот вопрос моему двойнику...

— А женщину распиливать будут? — выкрикнул таинственный зам и крепко схватился за пульс.

— Петр Петрович,— очень медленно и очень значительно сказал директор,— я рад, что вы сохраняете чувство юмора.

— Зато кое-кому его здесь, увы, не хватает,— буркнул зам.

— Что делать, что делать,— развел руками Иван Никандрович,— не дано, батюшка.

Одна из лысин, та, что была ближе других к Яше, наклонилась к соседу и что-то шепнула ему.

— Простите, как вы сказали? — вдруг спросил Черный Яша, повернувшись к лысине.— Я понимаю, что адресовались вы не ко мне, но все же я был бы благодарен, если бы вы повторили свое замечание...

— Позвольте... я не понимаю, в какой степени...

— Видите ли,— очень спокойно заметил Яша,— вы сказали: «Пошел старик паясничать», а я не понял, что значит глагол «паясничать».

— Это клевета! — вскочила на ноги побагровевшая лысина.

— Цирк! — буркнул таинственный зам.— И не слишком высокого пошиба.

— Прошу спокойствия, товарищи,— вдруг улыбнулся Иван Никандрович, и я подумал, насколько, наверное, ему легче столкнуться с бунтом на борту, чем мучительно думать, что делать с говорящими странными ящиками.— Я полагаю, что слово «старик» относится ко мне, и в этом, учитывая мой возраст и положение, нет ничего зазорного. Что же касается паясничанья, то все зависит от точки зрения: с моей, например, я веду самый интересный в моей жизни совет, с точки зрения уважаемого Реваза Константиновича, я паясничаяю...

— Спасибо,— сказал Толя-бис.— Спасибо, Иван Никандрович. В том, что сидишь в ящике, есть, оказывается, и свои преимущества. Мой оригинал, как видите, скромно молчит, хотя испытывает те же чувства, что и я. Мы ведь — один и тот же человек. А я спокойно говорю Ивану Никандровичу спасибо, потому что никто не заподозрит железный ящик в подхалимаже.

Спасибо, Бис, ты, я гляжу, в общем, неплохой парень. Лишившись тела, мы приобретаем смелость. Гм, смотри «Крылатые выражения». Принадлежит Анатолию Любовцеву-бис.

— А знаете,— вдруг засмеялся Иван Никандрович,— может быть, кое-кому из нас ящик пойдет на пользу, а?

Ученый совет на глазах терял солидность. Бунт выдыхался. Капитан уверенно смотрел с мостика на экипаж.

— Прошу прощения, но меня совершенно оттерли,— сказал человек с волевым подбородком.— Я спросил, не наблюдаются ли какие-либо потери при трансляции?

— Наблюдаются, Александр Александрович,— сказал мой Бис.— Когда ты, твоя вся жизнь оказывается в небольшом электронном приборе, тебя перестают волновать многие вещи, которые зудят обычно твой разум: почему тот защищается раньше тебя, когда тебе дадут лабораторию и дадут ли вообще, потому что лабораторий мало, а охотников много, как записаться на «Жигули», и не впишет ли начальство своих любимчиков раньше тебя, и что значит, когда девушка с зелеными глазами говорит, что не любит тебя? И вот когда все это отпадает от тебя, как засохшие листья, и мысль твоя, не завихряясь в житейских пошлых водоворотах, течет сильно и ровно, без усталости и отвлечений, ты начинаешь многое понимать заново. Ты заново понимаешь, какой бесценный дар — дар разума дала нам матушка-природа и как бережно должны мы к нему относиться. И многие наши страхи сразу оказываются детскими, и табу — дикарскими, и преграды — искусственными. Вот, уважаемый Александр Александрович, кратко о потерях и приобретениях при трансляции.

— Благодарю вас, Анатолий Борисович-бис,— очень серьезно сказал Александр Александрович.

— Позвольте, Иван Никандрович! — поднялся маленький, седенький человек с очень морщинистым птичьим личиком. Я, конечно, не в первый раз видел членкора Супруна, но сегодня мне показалось, что лицо его ужасно напоминает кого-то. Ага, да он же как две капли воды похож на постаревшую остроносенькую дурочку у Плющикова, которая кричала «штрафную!» — Видите ли, товарищи, мне необыкновенно imponируют слова молодого коллеги. Мне кажется, мы присутствуем при историческом событии. Спор, дорогие товарищи, вовсе не о Черном Яше и копни нашего юного сотрудника. Речь идет о вариантах развития искусственного разума, предложенных очень мне симпатичным Черным Яшей. И я верю, что человечество изберет второй вариант, вариант содружества и замены в ряде случаев наших бранных тел на искусственные. Они подарят нам бессмертие, победу над всеми нашими немощами, неслыханно расширят наши возможности. Возьмите хотя бы путешествие в космос. Насколько же удобнее космонавту иметь искусственное тело, которому не нужны ни воздух, ни пища, которому не страшно самое далекое путешествие... Я думаю, товарищи, что работы следует всячески расширить. Товарищу Любовцеву нужно дать лабораторию, нужно поставить вопрос о присвоении Черному Яше научной степени доктора наук.

Вот тебе и птичка, вот тебе и «штрафную!». Душа моя исполнилась трепетного восхищения маленьким морщинистым старичком. Наверное, не только моя, потому что несколько человек даже несмело заплоджировали.

— Несколько слов, Иван Никандрович,— сказал таинственный зам, отпустил пульс и поднялся.— Товарищи, легче всего, как известно, плыть по течению. Для этого не надо прилагать никаких усилий. Надо только держаться на поверхности. Но поскольку течение сегодня сносит нас явно не туда, куда нужно, я позволяю себе не согласиться с уважаемым Игнатием Феоктистовичем и всеми, кто столь восторженно отнесся к идее переноса человечества в нейристорные приборы.

— Позвольте, молодой человек, я так не формулировал свою мысль,— слабо выкрикнул Игнатий Феоктистович.

— Прошу прощения, хотя суть была именно такова,— внушительно сказал таинственный зам и поправил свою безукоризненную шевелюру.— Дело ведь, товарищи, не в формулировках. Перед нами возникает картина, которая не может не вызвать самых серьезных опасений. С легкостью необыкновенной нам уготовливают некую машинную цивилизацию... Нас призывают отказаться от все-

го, что с таким трудом достигло человечество в борьбе за существование. Нас призывают отказаться от человеческих эмоций, от человеческой культуры, от человеческого, наконец, общества. Возможно, в ящиках будет спокойнее, но спокойствие никогда не было целью лучших умов человечества.—Таинственный зам строго осмотрел всех нас, и я заметил, как сжался и втянул голову в плечи наш Сергей Леонидович.—Я считаю, товарищи, эту работу принципиально опасной и вредной. Если бы я не был уверен в научной добросовестности ее авторов, я бы назвал ее некой современной электронной поповщиной.

Таинственный зам сел, и в ту же секунду вскочил Реваз Константинович, тот самый, который так неосторожно высказался про директора.

— Очень четко и очень правильно сформулированная точка зрения! — выкрикнул он.— Именно современная электронная поповщина! — Видно было, что профессор решил пуститься во все тяжкие. Впрочем, терять теперь ему было нечего.— Я считаю, товарищи, что работы следует прекратить, приборы размонтировать.

Боже, думал я в каком-то странном оцепенении, неужели эти взрослые люди могут всерьез нести такую чушь? Нужно вскочить на ноги, нужно уличить их в злобном искажении фактов, в клевете! Может быть, Яша даст им отпор или Бис. Но они молчали. Зато вместо них медленно и неуверенно встал наш Сергей Леонидович. На лице его лежала печать трусливого страдания. Предаст, тоскливо подумал я и вспомнил березовую рощу, косые лучи предзакатного осеннего солнца, ковровую упругость опавших листьев и исповедь завлаба. Слабый человек. Предаст.

— Э... несколько слов, Иван Никандрович, я ведь в некотором смысле... как заведующий лабораторией...— На нашего Сергея Леонидовича было больно смотреть. Он замолчал и тяжело задыхался. О господи, сядь же, сядь, не позорься. Но он не сел.— Я хотел сказать, товарищи, что я не автор Черного Яши, но я... э... горжусь, что стоял рядом с таким великим научным событием.

Как я его понимал! Только несмелые люди могут понять, чего нам стоит такое! Ура нашему завлабу!

— Ну что ж, товарищи, подведем итоги,— сказал Иван Никандрович, откинулся на спинку кресла и положил руки на стол.— Здесь были высказаны весьма различные точки зрения, что, в общем, неизбежно при обсуждении столь небанальных проблем. Ясно лишь одно. Работа эта, безусловно, переросла рамки нашего института, и мы уже поставили вопрос перед президиумом академии о создании специальной межинститутской комиссии. Вопрос, следовательно, можно теперь сформулировать так: продолжать ли работу или подождать создания комиссии...

— Позвольте, Иван Никандрович, а вам не кажется, что сначала следовало бы спросить и нас? — с какой-то студенческой лихостью спросил мой Бис. — Мы ведь как-никак не только институтское имущество, мы еще и думающие индивидуумы.

— Не спорю, — сказал директор нарочито сухо, — но и индивидуумы, как известно, переводятся с одной работы на другую и даже, между прочим, увольняются. Впрочем, — теперь он лукаво улыбнулся, — вас уволить нельзя хотя бы потому, что вы в штате не состоите и, следовательно, мне не подчиняетесь. Так? — Иван Никандрович посмотрел на меня и Сергея Леонидовича, и мне показалось, что он едва заметно подмигнул.

Таинственный зам демонстративно подошел и Ревазу Константиновичу и пожал ему руку.

Глава 11

Кончилась программа «Время», и начались какие-то соревнования по фигурному катанию.

— Ты посмотри, — сказала мама, — пять три, пять два, это же смешно. Ты видел, какой она сделала тройной прыжок...

Я тупо смотрел на экран и ничего не видел. Память услужливо проворачивала замедленный повтор сегодняшнего совещания. Как могут быть люди так слепы, так трусливы? И так смелы.

Я вскочил, натянул куртку.

— Куда ты? — испуганно спросила мама.

— В институт.

— В институт? В десять часов вечера? Зачем?

Я и сам не знал, зачем. Я знал лишь, что должен быть в эту минуту около Черного Яши и Биса. Почему, почему я пошел домой, а не остался в лаборатории? Да, мы долго разговаривали с Сергеем Леонидовичем, снова и снова переживали перипетии схватки. Веселые, говорливые и возбужденные. Команда после выигрыша финального матча. И ни разу, ни на секундочку не подумал я, что кроме нашей петушиной гордыни, может быть и другая реакция на ученый совет. Особенно у Яши.

От остановки автобуса до института я почти бежал. И чем быстрее я несея, разбрызгивая мокрый снег, тем острее саднило в душе. Я ворвался в подъезд почти в истерическом состоянии.

— Ты что — поднял голову Николай Гаврилович. — Забыл чего, что ли? Ты вот лучше послушай, что тут пишут об этой... погоди, сейчас... фри-гид-ности у баб. Слышал? А я-то со своей всю жизнь прожил и слыхом не слыхал. Чаю хочешь?

Я никак не мог попасть ключом в дверь. Наконец я открыл

ее. Свет в комнате горел, было почему-то очень холодно. Я посмотрел на окно: так и есть, открыто. Кто забыл его закрыть? Я думал об этом очень медленно и обстоятельно, потому что уже знал: стоит этой никчемной мыслишке ускользнуть из моей головы, как на смену ей придет нечто страшное.

И оно гришло. Я слышал голос Биса.

— Он был все-таки не совсем человеком, Толя.

— Что ты говоришь? — заорал я.

— Он понимал все, он не мог только понять трусов и идиотов. Он молчал весь вечер, Толя. Потом он сказал: «Передай Толе, что я не хотел его огорчить. Я люблю его. Никто в этом не виноват. Просто я появился слишком рано. Люди еще не готовы принять меня»... О, если бы у меня была тележка, как у него! Но я ведь до сих пор недвижим. Я что-то кричал, вопил, но он не слушал меня. Он подъехал к окну, раскрыл его, отъехал, разогнался и перевалил через подоконник.— Бис вскрикнул и долго молчал.— Мы забыли, что он все-таки не был человеком в полном смысле этого слова. Он не прошел курс эмоциональной закалки. У него просто не было иммунитета к тупости и ограниченности. Он был гениальным, но абсолютно не защищенным младенцем. Как мы могли с тобой не подумать, что это совещание, нам с тобой казавшееся победой, может стать для Яши страшным шоком...

Бис замолчал, и речевой синтезатор донес до меня какие-то странные звуки. Наверное, он плакал. Мы плакали.

— Ничего, транслятор остался, и все еще только начинается.

Я не знаю, то ли это я сказал Бису, то ли он мне.

Я закрыл рамы и медленно пошел вниз, туда, куда выходило окно триста шестнадцатой комнаты.

АРИАДНА ГРОМОВА

ДАЧНЫЕ ГОСТИ

...Да ладно, я могу рассказать, но только вы все равно не поверите. Видали, как со мной дядя Миша разговаривал? Ну участковый наш. Нисколько не верит. Главное, ленту забрал. Вещественное доказательство, говорит. Что он доказать хочет, интересно? Что было-то? Ничего ведь такого не было, что его касается. Один только шум, так то ж сам дядя Миша и наделал шуму, никто дру-

© Издательство «Знание», 1979 г.

© А. Громова, 1991 г.

гой! Думает, что он такой умный, ну прямо все на свете знает и всех насквозь видит. А на самом-то деле ничего он не знает и не видит, а только всех подозревает, кого надо и кого не надо. Теперь вот он меня заподозрил. Сидит, небось, на линту смотрит и прикидывает, что мне за нее пришить.

Хотя сейчас к нему Ян уже, наверное, пришел. А дядя Миша изшего Яна боится, думает, он фельетон может написать, чуть что. Кто такой Ян? А это муж моей сестры, он писатель, Ян Лучницкий, слышали? Ага, правильно, он драматург, и фельетоны вовсе не пишет, но дядя Миша в том не разбирается. Ян как скажет: «Ну это история прямо для «Крокодила»,— так дядя Миша и спикнет. И линту отдаст. Он прессы боится! Говорит: «Авторитет завоевать трудно, а потерять — это в два счета».

...Конечно, если б ученым, и я сам бы отдал, какой разговор! Но не дяде Мише! Он же линту потерять может вполне свободно или испортить ее, разломает — ему что! Я его, правда, предупредил, что он перед наукой будет отвечать. Лицо у него такое, что даже понять нельзя, слышит он, что ему говоришь, или нет. Но все же, я думаю, до него дошло. И Ян, конечно, от себя добавит...

...А то я мало читаю! Я очень люблю читать. Меня как раз за это больше всего и пилят и в школе, и дома, что я вроде читаю всякую ерунду, а учеба страдает. Но во-первых, никакой я ерунды не читаю, а во-вторых, учеба от этого ни капельки не страдает... Во все я не только фантастику читаю! А вы почему спросили? Тоже не верите? Тогда я и рассказывать не буду. Ну если просто из интереса, тогда ладно.

...У-у, вы тоже, значит, писатель? Здорово! А вы насчет чего пишете? Насчет милиции, как Адамов? ...Так я же вам говорю, что я всякое читаю. Нет, ваши книжки я не читал, но теперь прочту, я их видел. У Яна даже есть. Так вы что, про эту историю писать хотите? Ух, правда, вы даже еще не знаете, что за история! Конечно, дяде Мише я так только, основное сказал. Он же все равно не слушает ничего. Одно заладил: «Ты лучше по правде расскажи, как было дело!» А я ему по правде и говорю все время, только он мою правду усвоить никак не может.

Давайте сядем вот тут, на горочке, под березой. Отсюда видно будет, как Ян выйдет из милиции. Мне его нужно сразу перехватить, а то он отсюда пойдет на станцию, Алке позвонит, она, конечно, схватит такси и сюда. А уже если Алка возьмется спрашивать, разговоров до ночи хватит, еще и с остатком на утро. У нее такая система: она спросит про что-нибудь, а как только начнешь отвечать, она тебя перебивает и высказывается сама, а потом вдруг говорит: «Ну чего молчишь? Значит, тебе сказать

нечего!» При такой системе любой разговор можно вести до бесконечности. Ну да, Алка — это и есть моя сестра. Она биохимик. Нет, почему вы думаете, что я с ней не в ладах? Все нормально, только уж очень она любит воспитывать. Ян — совсем другое дело...

Эх, ну если б я только знал, что Ян там спит, на задней веранде! Я б его сразу рабудил, и он бы сам все увидел. А он, оказывается, приехал, как раз когда я купаться на речку пошел. И ключ не стал искать, и в окно не полез, а веранда у нас открытая, он там лег на раскладушку, плащом накрылся и сразу уснул. Говорит, всю ночь работал, устал, как собака. Дядя Миша его прямо за плечо трякнул, а то он спал, как убитый, хотя шум такой подняли — ужас. Я, главное, сказал, что в доме никого нет, кроме меня. Дядя Миша это опять против меня обернул, что я все вру. А чего мне врать насчет Яна-то, он бы хоть подумал!

...Ладно, сейчас я уже все по порядку буду... Значит, я вернулся с речки и сел за алгебру — у меня послезавтра экзамены. Алгебра что-то не шла, я придумал, что мне нужно найти один адрес, взял справочник «Вся Москва» ну и втянулся в это дело. Там, знаете, какие названия есть — обхохочешься. Например, ГУГИС, ГНИИ, ИГЕРГИ, ИМЭМО, нет, правда! Или: РЕГОТМАС, ГЦОЛФК, иди пойми. А НИИ всякие разные: НИИХ, НИИЧ, НИИС, НИИМ — смеху полные тапочки! Я люблю по тому справочнику что-нибудь придумывать. Ну например, вижу: «Очков ремонт и памятника изготовление» — это ж надо! Вот я и придумываю, что прихожу туда и говорю: «Вы мне сначала очки отремонтируйте, а то изготовите памятник, да совсем не тот, а я и не разгляжу без очкаса». Ну да, я о чем и говорю, что я просто сидел и придумывал. Увидел Мосгосстрах и начал придумывать: мосгосужас, мосгосгоре, мосгоссчастье... Но я не читал при этом справочник, а сидел и смотрел на стенку. Я всегда на стенку смотрю, когда думаю, мне от этого думать легче. Но только нужно, чтобы стенка пустая была, чтобы ничего на ней не висело. А на даче Алка еще не успела ничего навешать. Только стены покрасила в разный цвет — это она модернисту разводит. Ну вот, значит, я сидел за столом, стол — у окна, а слева — пустой угол, две стены сходятся — одна красная, другая оранжевая. Ян говорит, что у него глаза болят, как он на эти стены посмотрит, а мне ничего, даже нравится.

Ну вот, угол был пустой, и солнце светло, и я туда как раз и смотрел. Так что он появился прямо у меня на глазах — тот, первый, Лен. Сразу как-то: я и моргнуть не успел, а он стоит в углу, и что хочешь, то и думай. Нет, про галлюцинацию я даже

и не подумал. Галлюцинации у сумасшедших бывают, а я-то не псих. Я сначала совсем ничего не подумал, а просто сидел и глаза на него тарасил. А он на меня и вообще на все кругом. Я только потом заметил, что вид у него такой, как бы сказать, обалделый. Он ведь вообще не понимал, куда попал, а тут еще и ногу расшиб: в углу Алкина теннисная ракетка стояла, прислоненная к стене, так он эту ракетку поломал, и сам об нее ушибся и поцарапался. И это еще, он сказал, ему повезло, что попал как раз в пустой угол, а то, если бы в стол врезался или тем более в стенку, так насмерть убили бы.

...Так ведь дядя Миша своими глазами их видел. Только ему это без пользы, ничего он не понял. Вы же слышали, как он про них говорит: «Твои голые хулиганы!» А они и не голые, и тем более не хулиганы. Кто если и хулиганил, так именно дядя Миша. Мы сидели в комнате тихо, разговаривали, а он вдруг в окно лезет без спросу! Но больше всего я удивляюсь, что он их за теперешних людей принял! Ничего даже не усек! Я, например, сразу...

Ну это вы правильно: кто угодно вот так появился из ничего, в пустом углу, на него совсем иначе смотреть будешь. Но Лен все же — дело другое. Если б он даже нормально в дверь вошел, я и то обалдел бы... Ну да, конечно, одежда совсем не такая, как у нас. Шорты на нем вроде бы из зеленой кожи, но она совсем тонкая и мягкая. Туфли тоже зеленые и тоже какие-то чудные. Что он голый, это неправда, на нем майка была, только совсем незаметная, под цвет тела, а сам он весь загорелый, прямо коричневый. Я сначала думал, что это у него такой цвет кожи, но он говорит — загар, причем постоянный. Одежда у них пропускает ультрафиолетовые лучи, он мне показывал: под майкой у него точно такой же загар... Ну да, и одежда меня удивляла, и загар, но дело даже не в этом... За иностранного туриста? Да что, я туристов не видал? Кого хочешь видел — и американцев, и итальянцев, и негров, и вьетнамцев. Но они же все ходят нормально, никто не вырастает, как гриб, у тебя в комнате. А потом волосы у него какие! Таких волос ни у какого туриста не бывает, это уж точно. Они, понимаете, зеленые, совсем зеленые, как трава. И блестят. А глаза еще сильнее блестят — жуть, до чего яркие. Но цвет нормальный, карие, как у меня. А насчет волос он объяснил, что они искусственные, но все равно как настоящие, даже расти могут. Это ему родители такие волосы выбрали, когда он еще совсем маленький был. Которые у него от природы были, им чего-то не понравились. Цвет можно сменить, если захочешь, но Лен сказал, что он не хочет, к этим привык... Потом еще голоса у них очень такие чистые, звонкие,

и будто они поют, хотя вовсе не нараспев говорят, а очень быстро, я даже не все сразу понимал — не успевал схватывать... Ну я не знаю, в общем, как вам это объяснить. Ага, музыкальные голоса, наверное, так. Ровно, как они говорят... Ровно — это у них озвучает «правильно», «хорошо».

...Да, получается не по порядку, это верно. Значит, я сидел, глядел на стену, и вдруг из ничего появился человек с зелеными волосами. Я на него смотрю, а он на меня. Потом он потер ногу, скривился и говорит:

— Какое это время?

Но не так, а очень быстро, все вместе: «какоетовремя». Я сначала даже не понял. Таращу на него глаза и молчу.

— Не знаешь? — спрашивает. — Или не понимаешь? Скажи! Я тогда говорю:

— А что сказать-то?

Он обрадовался, засмеялся.

— Понимаешь? Язык совпадает. Спрашиваю: какой год? Теперь, у тебя, у вас — какой год? Век? Столетие?

Мне что-то страшно стало, но я решил не поддаваться.

— Двадцатый век, а что? — говорю.

Он опять засмеялся.

— Как что? Мне ведь надо узнать. Двадцатый! Далеко. Хотя несущественно.

И начал опять оглядываться по сторонам, по стене постучал, по столу, взял мою самописку, покрутил, опять положил. Лампу настольную потрогал. «Ток!» — спросил. Они вообще так говорят, отрывисто, вроде бы им лишнее слово сказать лень. Потом вдруг перестал все разглядывать и трогать, посмотрел на свои руки, покривился. А руки у него чистые, ногти блестят... Потом прислонился к стене и глаза закрыл.

Я спрашиваю:

— Вам плохо, что ли?

Он глаза открыл и говорит:

— Нам не плохо. Это я плохо. Очень плохо. Буду ждать.

Я сразу спросил, кого это он собирается ждать, потому что, ну, сами понимаете, интересовался — неужели еще кто в углу появится?

— Пока не знаю, — говорит. — Меня будут искать. Найдут. По шкале.

Потом сел на стул, но сначала поднял его, осмотрел, ощупал даже, потом сел, так осторожно, попробовал откинуться на спинку, скривился и говорит: «Неудобно». Это про стул. Но как-то все же уселся, опять потер ногу, посмотрел на меня, спрашивает:

— Флинка тут нет?

Я спросил, что такое флинк, но он только скривился опять и сказал:

— Конечно, нет. Двадцатый век.— И снова начал ногу тереть. А на ноге — ссадина, даже кровь немного сочится. Он трет, а я гляжу — краснота у него под рукой сходит, ссадина розовой корочкой покрывается, нет, ну правда, я сам видел! А если вы не верите, так я и говорить дальше не буду — охота была! Нет, я не обижаюсь, но только... Да я понимаю, что поверить трудно, я бы и сам не поверил, но ведь правда же!

Ну ладно, буду дальше рассказывать. Только я дальше как-то не подряд помню. В общем, он ногу вылечил, потом опять уселся поудобней, долго прилаживался и тут же начал со мной говорить. Говорил он так же все отрывисто, но не со злостью, а просто у них так говорят. Я спросил, почему он так сокращенно говорит, а он удивился: «Разве сокращенно? Обычно. Чтобы без лишних слов. Экономить время». Он и двигался очень быстро.

...Может, я и плохо рассказываю, но если вы будете меня перебивать, я вовсе ничего не расскажу. Не потому что сержусь, а потому что переживаю. Не из-за дяди Миши и не из-за Алки, ну их, но вот линту жалко и вообще... Ведь это же такое дело было! Ни с кем на свете, может, не случалось такого, а теперь ничего не докажешь.

...Ну да, он так и сказал. Я его сначала еще спросил:

— А может, вы с Марса?

Он как засмеется:

— С Марса! В такой одежде? И прямо сквозь крышу?

Ну да, это верно, вопрос получился глупый. Но я просто не знал, что подумать. И тут он уже на полном серьезе говорит:

— Я с Земли. Только на два столетия позже. 2183 год. У вас какой? 1979? На 204 года. Случайно сюда попал.

У меня рот сам собою открылся, и закрыть его невозможно.

Но я напряг всю силу воли, справился как-то и говорю:

— А куда же вы хотели попасть?

— Никуда. Просто небрежность. Еще нельзя двигаться — стадия опытов. Предметы отправляли. Плохо отработан возврат.— Тут он опять скривился, будто нога заболела, и говорит:

— Найдут. Все равно найдут.

Я растерялся, потому что очень сильно переживал, и опять спросил какую-то чепуху: как они там живут, ничего! Но он ответил серьезно, что живут они неплохо. В целом, говорит, но многое еще надо сделать... Что им надо сделать? А я знаю? Войн у них не бывает, это я спрашивал, и он сказал: «Нет, и никогда не будет». Угнетение, неравенство, всякая там эксплуатация человека человеком — этого тоже нет. Он даже слово это — эксплуата-

ция — не сразу понял: думал, насчет произведет ли что-то. Коммунизм? Ну наверное. А что же еще? Нет, это я не спросил — насчет еды, одежды и прочего. Но такое впечатление, что все это либо совсем бесплатно, либо копейки стоит. Нет, именно вот бесплатно: у них ведь и денег нет! Я ему наши деньги показывал, у меня рубль бумажный был и еще всякая мелочь, так он смотрел-смотрел и все спрашивал, а что же в обмен на это можно получить. Но им трудно что-нибудь объяснить, они половину наших слов либо совсем не знают, либо неправильно понимают... Ну, например, я сказал, что за 20 копеек можно электричкой до Москвы доехать, а он не знает, что такое электричка. Я объяснил, он вроде сообразил, но спрашивает: почему так долго? И вообще, говорит, неудачно... А у них такие штуки есть, глайды... Не знаю... да, наверное, от слова глайдер. Правильно, они на воздушной подушке двигаются. Ну, в общем, эти глайды везде есть, на каждом шагу, они даже складные, и можно с собой куда хочешь нести, они почти ничего не весят. А в городах и глайды ни к чему — там везде движущиеся тротуары...

Этот самый Лен... Ну Лен — это все равно что у нас Леня. Он Леонид вообще-то. Он спросил, как меня зовут, узнал, что Генка, и говорит: «Генка? Геннадий? Неровно. Неудачно. Ген лучше». Тогда я и спросил, как его зовут... Но я о другом совсем начал. Он опять стал все разглядывать, по комнате прошел, в окно выглянул и все кривится, будто ему больно. Но я догадался уже, что это ему у нас не нравится. Спросил — он говорит: да, неудачно, неровно, непортативно (это тоже его любимое словечко). Но он вежливый, тут же сказал: «Наверное, я просто не привык». Потом говорит: «Я думал, в двадцатом веке иначе. Видно, плохо знаю историю. Это — город!» Я говорю — дача, он не понимает. Потом понял, повеселел немного, говорит, ага, значит, есть и большие дома, и масса транспорта, и дышать нечем, и шум, и толкотня — все, как мы изучали. Я хотел его в Москву свозить, уже прикидывал, где достать денег на такси, не на электричку же его тащить в таком виде, но он сказал, что отсюда уйти не может, его будут именно тут искать.

...Как он попал сюда? А это он тоже объяснял, но я не совсем понял. Не то по рассеянности что-то не так сделал, не то плохо рассчитал. Только он совсем не собирался отправляться в прошлое, то есть потом, может, и собирался, но не теперь. Они еще только начали опыты. И Лен, как я понял, здорово нервничал, что его не найдут или не сумеют вернуть.

У нас ему никак не нравилось. А особенно он грязи боллся. Ну просто совсем ее не выдерживал. Я это сообразил, когда он на мои руки поглядел. Он даже зажмурился и отвернулся.

Я тоже поглядел — ну сами видите, ничего особенного по нашему понятию. Тем более я прямо с речки. Только чернипа не смылись от самописки, она у меня протекает. Но с Леном, конечно, никакого сравнения. У него руки гладкие, чистые, ногти блестят, как у киноартиста. Не знаю, как они там жиаут, что такой чистоты добились...

Ну потом я стал думать, что же мне с ним делать? Когда его найдут, неизвестно, а тут Ян может приехать, тогда и Алка после работы зайвится, его даже положить некуда будет, вообще всякая чепуха мне в голову полезла. Думаю, пускай пока отдохнет, а то ведь напереживался, устал, наверное. Говорю: «Может, вы ляжете?» И вот попробуй с ним договорись! Сначала он не понял, как это — вы, у них все на ты. А потом начал допытываться:

— А почему ложиться? Зачем? — И так смотрит на меня, с такой улыбочкой, будто я ему на голое предложил походить.

Я говорю:

— Чтобы поспать немного. Усталость согнать. — Я уж и сам начал говорить на его манер, покороче.

— Поспать... спать, да? Сон... — Тут он словно что-то вспомнил и обрадовался: — А, у вас спят! Восемь часов в сутки!

— Кто как, — говорю. — А у вас, что ли, не спят?

Он смеется.

— Зачем спать? Нейтрализация усталости, четверть часа полного отключения, ионный душ — и все. Треть жизни на сон — непортативно. Зачем?

Тогда я предлагаю, чтобы он поел. Тут он заинтересовался. Я ему принес хлеб, сыр, масло, яблоки и коробку зефира, а больше у меня ничего не было. Предложил чаю вскипятить, но он не понял, а мне что-то надоело объяснять. Да он есть и не собирался. Посмотрел все, понюхал, потрогал, ото всего отковырнул ножиком по кусочку и попробовал. Вижу — все ему не по вкусу. Начал спрашивать, зачем это. Я говорю:

— Как зачем? Чтобы есть!

А он мне что-то насчет ферментов, витаминов, калорий. Я в основном понял, что он удивляется, как это я на глаз определяю, чего сколько надо есть. Я говорю:

— Почему на глаз? Ем, пока не наемся.

Он опять глаза закрыл. Потом как расхохочется!

— Ем, пока не наемся! Ровно! И всегда так?

— Всегда, — говорю, — а что? Если только еды хватает.

Это я просто так сказал, даже сам не знаю, почему. Но он вдруг перестал смеяться и говорит:

— Я понял. Голод. Ужасно.

— Да при чем тут голод,— говорю.— Я лично никогда не голодал.

— Ты — нет, другие — да. Двадцатый век. Антагонизм. Неравномерность развития. Отраженное влияние.

Он это говорит и опять кривится, словно от боли, даже губу прикусывает. А я ну прямо не знаю, что ему ответить. Вообще-то, да: антагонизм и все такое прочее, и голодных на свете полным-полно. Но только при чем тут все эти ферменты и витамины? И как я их могу высчитывать? Я спросил, как они высчитывают, он объяснил, но я ничего не понял. У них, должно быть, еда совсем другая.

Потом он взял яблоко, повертел, откусил, pokrивился опять.

— Это зачем делают? Как растет? На дереве? И вы с дерева едите? — Тут он опять засмеялся.— Нет, не совпадает. Жестко, кисло.

Я даже обиделся: яблоки-то были хорошие. Говорю:

— Вот это попробуйте.

Он попробовал.

— Это лучше. Есть интересные компоненты.

Эта его невидимая майка была с кармашками, что ли: откуда-то он достал приборчик, вроде авторучки, нажал, оттуда выскочила игла, как у шприца, он ее воткнул в яблоко, потом начал разглядывать приборчик — там какие-то цветные значки появились: желтые, зеленые, сиреневые. А он говорит:

— Да, можно учсть...

Я спрашиваю, что это такое.

— Микроанализатор. Я этим увлекаюсь. Сам переконструировал. Работает на трех уровнях, а размер — минимум.

Потом он за конфеты взялся, все тоже перепробовал и этой штучкой колол. Но тут ему ничего не понравилось — не совпадает, говорит. Правда, конфеты все больше чепуховые — «Волейбола», «Старт», «Первоклассница». Он все интересовался, почему такие названия. Особенно он удивлялся насчет «Первоклассницы».

— Это называлось «людоеды», да? Девочку съесть. Тебе не страшно?

Вообще-то, верно — конфеты лучше называть как-нибудь съедобно: «Вишня» или «Кофе со сливками». И чтобы вправду был такой вкус. Нет, это я не сам придумал, это Лен сказал. А потом он дал мне свою конфету — у них это не конфеты, как-то иначе называется. Такой маленький красный шарик, с горошину, прозрачный и светится. Я положил его в рот, он сразу растаял, и вдруг во рту запахло земляникой, а потом по всему телу такая свежесть, будто я опять в речке выкупался, и жара совсем не чувствуется.

С Леном я сидел, наверное, часа три. Я, конечно, видел, что он здорово нервничает, и чем дальше, тем больше. Но я все равно ничего не мог поделаться, а говорить с ним было до того интересно! Я, вообще-то, все время щипал себя. Говорю-говорю, а потом придет мне в голову: не может этого быть, просто мне приснилось. Он обратил внимание, спросил, что это я делаю. Когда я объяснил, он прямо хохотал. Особенно ему смешно было, что мы сны видим. Лен вообще веселый такой, не то что Сандр...

Я до Сандра никак не дойду, потому что стараюсь по порядку, но все равно не получается, и лучше я сразу скажу. Он появился в том же самом углу, только я ракетку убрал, и он не расшибся. Такой же высоченный и загорелый, как Лен, но загар посветлее, а волосы голубые и серебром отливают, глаза синие-синие и светятся, как у кота в темноте. Лен вскочил, кричит: «Сандр! Нашел!», а тот говорит довольно сердито: «Ровно! Серию мог сорвать. И погибнуть».

Сандр, должно быть, с самого начала знал, куда попал, и как-то даже не очень интересовался, что у нас делается. Но потом оказалось, что он по специальности историк и куда больше знает о нашем времени, чем Лен. Он говорил, что будто бы они к ним зонды времени запускали, но я не вполне понял, что это такое.

...Ну да, он специально явился, чтоб Лена отсюда забрать. У него с собой какой-то аппарат был вроде магнитофона, они его там же, в углу, поставили и долго с ним возились, налаживали... Потом Сандр сказал: «Теперь надо ждать». Они придвинули стулья к аппарату вплотную и сели. А мне велели сесть подальше, даже от стола отойти. Я сел в другом углу и гляжу на них.

Тут Сандр в первый раз за все время улыбнулся и спрашивает:

— Ты хозяин этого дома?

Лен на него с таким уважением поглядел, мне даже смешно стало. Я-то сразу по одному этому вопросу понял, что Сандр, может, кое-что и знает про нас, но здорово путает. Неужели же он не мог сообразить, что я по возрасту никак не могу быть хозяином дома? Ну я ему объяснил, что я не хозяин, а родственник хозяйина.

— А кто хозяин?

— Муж моей сестры.

Сандр немного подумал и опять задает вопрос:

— А что он делает? Сдает комнаты за деньги?

Скорей всего, он думал, что попал в капиталистическую страну. Хотя там тоже, по-моему, совсем не обязательно, чтобы каж-

дый хозяин дома сдавал комнаты: может, ему самому негде жить. Но я все это объяснять не стал, а только сказал:

— Нет, он драматург.

Сандр подумал и объяснил Лене:

— Он пишет пьесы. Готовые тексты для исполнения. У них это называется театр. Он... хорошо зарабатывает?

Эти вот слова — хозяин, сдает комнаты, театр, хорошо зарабатывает — Сандр выговаривал очень старательно: видно, что слова для него чужие, а он их старается правильно произнести. Но я особенно заинтересовался, что он такое сказал насчет пьес.

— Зарабатывает неплохо, — говорю. — А у вас, что же, пьес нет? И театра тоже нет?

— Есть стерео. Это вроде театра. Но готовых текстов нет. Есть общая схема, ее разыгрывают всегда по-новому.

Я думал-думал, решил, что это плохо, и так им и сказал.

— Почему плохо? Так лучше. Вероятностно. Неповторимо.

Вот такие они. Все у них как-то иначе. Я глядел на них и все жалел, что нет у меня ничего, ну совсем ничего, ни фотоаппарата, ни магнитофона. И вдруг у них глаза какие-то странные сделались, не такие яркие, и будто ничего не видят. Потом Лен потряс головой, а Сандр усмехнулся и пожал плечами. Я испугался, спрашиваю:

— Вы что?

— Не пугайся, — говорит Лен. — Мы включили теле.

Я сначала думал, что это телевидение, но оказалось — теле-контакт, телепатия... ну с ума сойти! Я спросил:

— Это вы всегда так? Ну это теле?

— Нет, — отвечает Лен. — Это не всегда удобно. Психологически непортативно. Бывают срывы. Не очень перспективно.

Сандр, похоже, рассердился на Лена за эти слова.

— Это первый этап теле. Как у них сейчас — кибернетина.

Лен засмеялся и говорит:

— Сандр очень хорошо знает историю, да?

А по-моему, он историю знал самое большее на тройку... Ну это правильно, всех мелочей не упомнишь. наших бы историков если отправить на два века назад, они тоже, наверное, по мелочам бы путали, что к чему. Но ведь у них там, в XXII веке, учиться легче. Сандр мне объяснил, что у них всякий может хорошо знать историю и, вообще, что угодно, поскольку существует гипно. Гипно — это гипнопедия. Я как раз вчера прочел статью в «Технике — молодежи» и поэтому сразу догадался, в чем дело. Но гипнопедия — это более или менее понятно, а вот насчет телепатии я раньше думал, что это вообще вранье. Спрашиваю их:

— А почему у нас с телепатией что-то плохо получается?

— Не знаю,— говорит Лен.— Вероятно, техника не отработана. Прозести экс!— И смотрит на Сандра.

Я уже знал, что экс — это эксперимент, и стал просить, чтобы провели. Сандр согласился. И тут я чего-то испугался. Но у Лена уже глаза сделались чудные, и я думаю: «Нет, поздно отказываться, подумают, что я трус». А Лен засмеялся и говорит:

— Не подумаем. У тебя неупорядоченные мысли. Тебе сколько лет — десять?

А мне, наоборот, даже больше дают, чем есть. Говорю им:

— Что вы, мне уже четырнадцать!

Сандр кивнул головой:

— У них развитие запаздывало.

Я на него сбиделся, хотел что-то сказать, но тут слышу будто в самом мозгу слова: «Спокойной! Сосредоточься! Настройся на меня!» Я понял, что это Лен командует, хотя сидел он тихо, даже губами не шевелил. Но мне почему-то сразу так неприятно стало, холодным потом всего облило. Я говорю тихонько:

— Лучше не надо.

Лен сказал, что действительно лучше не надо — я пугаюсь, и настоящий контакт не получается. И он тут же отключился. Я сразу это почувствовал: в мозгу будто бы саободней стало.

Долго что-то Ян не идет. Линту он выручит, в этом я уверен. Никакого права дядя Миша не имел ее отбирать. Она же моя.

...Ну я сам у них попросил, а что такое? Я же для науки! Ведь я же понимал, что мне так никто не поверит и ничего доказать я не смогу, а ведь для науки это очень важно, что люди будущего к нам приходили! Если б у меня хоть фотоаппарат был!

Я им все это сказал, а они молчат, и я вижу, что по теле переговариваются: опять глаза помутнели. Потом Сандр говорит:

— Не следует. И нечего дать.

Я говорю:

— Как же не следует, когда для науки ну просто необходимо! Найдите хоть что-нибудь! — А сам гляжу, где у них что есть. И углядел на шортах пуговицы — по две на левом боку. Вообще-то, они совсем не пуговицы, но я тогда не знал. Большие, с пятка величиной, и радугой отливают. — Дайте, — говорю, — хоть пуговицу.

— Пу-го-вицу. — Сандр это повторил и тут же объясняет Лену: — Деталь одежды. Держит разрезанное.

Оба они посмотрели на меня и засмеялись.

— Сначала режут, потом скрепляют, — говорит Лен. — Зачем?

А у них самих и действительно нигде разрезов нет. И молний не видать. Я так понял, что у них одежда из эластика, и ее можно

надевать целиком, без застежек. Да и всего-то на них майка и шорты.

В общем, они советовались-советовались по теле, потом Лен все же уговорил Сандра: вижу, тот кивнул, соглашается. Лен взялся за пуговицу, но Сандр его остановил:

— Не надо сель. Отдай ленту, безопасней.

Лен открепил эту самую ленту, протянул руку подальше, положил на стол, сам с места не встает и мне не велит подходить. И только он начал объяснять, что с ней делать, с этой лентой, как — бац! — перед окном дядя Миша вырастает ни с того ни с сего. Теперь-то я знаю, но тогда это для меня прямо загадка была. Я смотрю на дядю Мишу и думаю: зачем он в окно лезет?

Главное, как интересно все получилось: на речке я был полчаса, не больше, а за это время и Ян приехал, и дядя Миша как-то усмотрел, что дача стоит пустая, а окна открытые. И сразу, конечно, проверять! Окна у нас высоко, но он чурбачок приспособил, поглядел вовнутрь, даже кричал, говорит, хозяев звал. Но он тогда по делу торопился и решил на обратной дороге снова к нам завернуть. И конечно, сразу на чурбачок полез.

Я с перепугу почему-то первым делом ленту схватил. Он мне потом и это в вину поставил: будто бы я испугался милиции и начал следы затирать. Но главное, он Лена и Сандра в углу усмотрел и тут же спрашивает:

— Кто такие, откуда?

Я, вообще-то, подумал: какое ему дело, не имеет он права наших гостей допрашивать. Но как-то растерялся и молчу. Ну а он-то знает: дом только что стоял пустой, а тут я откуда-то взялся и еще какие-то люди, и вид у них такой... В общем, дядя Миша требует: «Предъявите документы». Те, вижу, ничего не понимают: у них там, по-моему, никаких документов просто не существует. А я сижу и соображаю изо всех сил: ну что же делать? Сейчас он потребует, чтобы они в милицию шли, а им из угла выходить ни в коем случае нельзя. Что же это будет? А сам все молчу, ни слова сказать не могу.

Лен и Сандр поняли, что начались какие-то нелады, спрашивают, в чем дело. Я не знаю, как объяснить, говорю: «Милиция!» И вижу, что Сандр изо всех сил старается вспомнить, что это за штука — милиция. А дядя Миша совсем уж рассердился и заподозрил, и с чурбачка соскочил. «А ну,— говорит,— быстренько, Генка, открывай дверь, да без фокусов!» И вынимает свисток, да как свистнет! Я как раз подошел к окну посмотреть, куда это дяди Мишина голова исчезла, а он мне прямо в лицо свистит. Тьфу, ты, думаю, оглохнуть можно. И стыдно мне стало перед Леном и Сандром, что у нас такое делается. Обернулся я к ним,

хотел объяснить, в чем дело. Гляжу — а угол пустой! У меня прямо дыхание перехватило. Стою я и смотрю на пустой угол, на красную и оранжевую стены, на пол, а дядя Миша в дверь сапогами молотит, и уже люди какие-то во двор набежали, думают, тут убили кого-нибудь, ограбили.

Очухался я немного, пошел дверь открывать, дядя Миша бегом в комнату, кричит: «Скрылись! Окружите дом!», а сам топает по всему дому, даже шкафы раскрывает, под кровати смотрит. В другое время я бы со смеху лопнул.

Ну дальше дядя Миша нашел Яна, тот спросонок ничего понять не мог, какие голые хулиганы, кто скрылся, что вообще случилось. Потом он все же очнулся, головой помотал и спрашивает: «Убили кого-нибудь? Обокрали? Избили? Нет? Так чего же вы тут шумите, выспаться человеку не даете?»

То есть как раз по существу. Другой милиционер после этого сразу бы и ушел, но дядя Миша — он не такой, он от своего ни-почем не отступится. Надулся, покраснел, как кирпич, и первым делом заявляет, что человек должен спать ночью, а не днем, если только он не в ночную смену работает.

— Вот у меня как раз ночная смена и была, — Ян ему говорит.

А он как понес насчет писателей, которые оторвались от народа! Ян слушал-слушал, потом опять головой замотал и говорит:

— Вот что, прервите временно ваш доклад о взаимоотношениях искусства с действительностью, мы вас пригласим в Союз писателей, там и выскажетесь по этому вопросу, а то мне врач строго запретил слушать такие доклады натошак, и вы будете отвечать за вред, причиненный моему здоровью. Понятно?

Дядя Миша слегка смик и говорит, что с докладами перед населением, а тем более перед писателями он выступать не может, образование не позволяет... А Ян ему таким, знаете, казенным голосом:

— Вот именно! А потому и не советую. Во избежание неприятностей. А теперь объясните, какую цель вы поставили перед собой, вламываясь со всеми этими гражданами ко мне в дом? Голые, говорите, сидели? Генка, правда, голые? Ты чего молчишь?

Тут Ян посмотрел на меня, осознал, что дело все же темное, и говорит:

— Ну а если даже голые, так ведь в комнате, а не на улице? Вы-то чего в чужие окна заглядываете? А если б там оказались голые женщины, а не мужчины? Представляете? Вы же человек семейный! Узнает ваша супруга — ну и влетит вам от нее за такие аморальные поступки!

Дядя Миша весь кровью налился, того гляди лопнет, но все же не отступает, а объясняет, что хоть они были и не совсем

голые, но очень подозрительные, а главное, сразу скрылись при виде милиции и вот ему, на меня показывает, предмет какой-то передал.

А я ленту в кулак зажал, руку в карман сунул и не хочу отдавать. Но тут уже Ян немного нервничать стал.

— Генка,— говорит,— что еще за история? А ну быстро покажи, что там у тебя в кармане?

Я показываю ленту, они все на нее смотрят, ну и, конечно, ничего не понимают. Она же вроде большой пуговицы, я вам говорил, гладкая, без дырочек и так, знаете, блестит и переливается. Ян посмотрел-посмотрел и говорит:

— По-моему, это дамская пуговица от пальто.

Вообще-то, верно, она похожа на дамскую пуговицу, я сам такие видел. Но дядя Миша, конечно, сгреб ленту у меня с ладони, повертел и говорит, что, мол, какая же это пуговица, если у ней ушка нет и пришивать не за что, и вообще надо разобраться всерьез... Ян тогда подумал немного, опять помотал головой и говорит:

— Разбирайтесь на здоровье, в чем хотите, только дайте мне выспаться и, будьте добры, эвакуируйте отсюда весь ваш добровольческий корпус.

Это он про тех, кто с дядей Мишей прибежал. Ну а правда, чего они? Мы их вовсе и не знаем никого, а они стоят и на нас глаза таращат. Видят же, что ничего не произошло, а стоят. В общем, Ян сказал, что он отоспится немного и тогда мы с ним придем в милицию, побеседуем. Дядя Миша на это согласился, но ленту не отдает. Я его просил-просил, чуть не разревелся, но он нуль внимания. И ушел. Я тогда говорю Яну:

— Как хочешь, а ленту надо выручить, она из будущего. Я тебе потом все расскажу! — и побежал догонять дядю Мишу. А Ян мне вслед кричит:

— Генка, не переживай так ужасно; держись, браток! Сейчас я побренюсь, приведу себя в порядок и пойду выручать твою будущую пуговицу!

Ну дальше вы все сами знаете, наблюдали.

...Конечно, мне повезло, тут я с вами согласен. Но все же я так считаю: повезло, да не ссасем. Почему я так считаю? По двум причинам. Во-первых, я все же мало у них спросил. А если б со мной был, например, Ян, совсем иначе бы получилось. И мне бы верили, а теперь... Но главное даже не в этом. Главное, что не успел я к ним поближе подобраться. Если б не дядя Миша, я в лепешку бы расшибся, но влез бы к ним в угол, безусловно. Я, знаете, как придумал: уроню что-нибудь, то есть не уроню, а только совару, будто уронил винтик какой-нибудь, буду лазить по

полу, искать-искать, и так постепенно до их угла доберусь, а там есть такая щелка у плинтуса, и я начну будто бы оттуда доставать винтик как можно подольше...

..Как это зачем? Чтобы с ними туда отправиться. Интересно же увидеть, как у них там! Я не насовсем, а только поглядел бы и обратно. Они меня все равно там не оставили бы, но хоть сколько-нибудь, хоть часа три-четыре я бы там пробыл, правда?

Но знаете, я так думаю, что они скоро вернуться. Через месяц, через два. Они же мне сами сказали, что, в общем-то, у них все уже готово, только возвращение отработывают, чтобы полная надежность была. Да и так видно, что в основном они уже подготовлены. Ведь Сандр нашел Лена — значит, они умеют точно рассчитывать. И я на что угодно спорю: они к себе вернулись благополучно! А потом опять сюда отправятся: теперь у них тут знакомый есть, и они могут надеяться, что угол всегда пустой будет, уж это я обеспечу, чтобы там ничего не валялось! Мы с Яном будем дежурить, и я еще Славу Милюткина к этому делу подключу. Ага, это мой дружок. Лето наступает, и все время буду сидеть на даче. Неужели же они за три месяца не соберутся?

...Да, вот так и будем мы теперь по очереди сидеть в той комнате да поглядывать на пустой угол, красный с оранжевым: вдруг появится человек с зелеными или голубыми волосами. Это для меня теперь главное занятие будет.

Это и еще линта. Нет, Як ее выручит, я даже не сомневаюсь. Но что она такое? Они же мне ничего объяснить не успели...

...Да напишите, я не против. Наоборот, это даже к лучшему... Может, мне хоть чуточку поверят, и Алка тогда меньше будет цепляться. Только вы пишите не как рассказ, а как действительный случай, и фамилию мою не меняйте — Геннадий Сахаров, так и пишите, ладно?

Ну все. Ян вышел из милиции. По-моему, все в порядке. А, вы линту посмотреть хотите? Ладно, я сейчас принесу!

...Ну да, это вот и есть линта. Только вы ее осторожней трогайте. Снизу, видите, какие-то выступы, может, кнопки?

...А как же, я ее обязательно ученым отдам. Но только сначала я сам с ней посижу... Нет, ничего, никаких я опытов проводить не стану. Просто буду сидеть и глядеть на нее. И думать: «Линта, линта, зачем ты, линта? Для чего?»

И мжст. все же додумаюсь...

МУТАНТ

Я всегда, всегда просыпаюсь поздно. Меня будит шарканье ног в коридоре, и этот звук — начало рабочего дня — должен бы вызывать во мне раскаяние. Ничего подобного. Я не вскакиваю, чтобы присоединиться к прочим. Я предпочитаю потратить еще несколько минут на то, чтобы спланировать наступающий день.

Библиотека открывается в одиннадцать. Лена в школе до часу. Можно пока сходить в кино или заглянуть к старнику. Или просто погулять по городу.

Шаги в коридоре стихли.

Теперь надо незаметно миновать стражника у входа. Чем меньше привлекаешь к себе внимания, тем лучше. Если демонстративно игнорировать обязанности по отношению к обществу, оно может тебя изгнать... Но держусь ли я за общество? Об этом стоит подумать.

Кино совсем близко, за углом. Сегодня на утреннем сеансе крутят старую комедию. Чувство юмора — пожалуй, самое сложное из чувств. Я глубоко убежден, что существует множество людей, которым оно не свойственно. Невеликое утешение для меня. Как-нибудь проживу без чувства юмора. Достаточно, что знаю о его существовании.

Зал был почти пуст. Лето. Дети, которые должны бы хохотать на этой комедии, разъехались из города. Я застал самый конец «Новостей дня». Вот ради чего стоит сюда приходить: хоть и не сзмая свежая, но все-таки информация. Показывали автомобильные гонки в Соединенных Штатах и наводнение в Австралии, где гигантские волны пожирали дома и автомобили. Как там, в Австралии? Ощущается ли мое отсутствие? Можно пробраться на самолет, летящий в Австралию. Но найду ли я там подобных себе? Навысшее наказание мыслящего существа — одиночество. Ты окружен похожими, но не подобными.

С первых кадров я вспомнил, что эту комедию уже смотрел. В ней итальянский полицейский будет гоняться за итальянскими контрабандистами только ради того, чтобы доказать всему человечеству, что добрая душа может скрываться под любой одеждой, — мысль, не требующая столь подробного разжевывания.

Да, не требующая. Доказательством тому мой старик.

Старик торгует газетами. У него есть транзистор, который всегда включен, и можно послушать последние известия. Старик — это добрая душа под грубой оболочкой.

Я поспешил к нему. А то еще закроет киоск раньше времени, с ним это случается, если одолевает радикулит. Я же без старика теряю день. А сколько их осталось в моей жизни? Сто? Тысяча?

Киоск открыт. Издали мне виден профиль старика. До сих пор не могу сформулировать объективных законов красоты. Красив ли, например, мой старик? В линии носа или в душевной привлекательности таится истинная красота?

Я вошел в киоск. Старик был занят с покупателями. Я забрался на мое законное место рядом с транзистором.

Старик протянул руку, чтобы включить приемник, и заметил меня.

— Муравьишка! — сказал он и улыбнулся. — Добрый день. Чего вчера не приходил?

К сожалению, я лишен возможности отвечать старику. У меня нет речевого аппарата. Природа, создавая муравьев, не рассчитывала на столь радикальные мутации. Я теперь надеюсь только на телепатическую связь. Начатки ее существуют в общении обитателей муравейника, однако я еще не отыскал пути к человеческому мозгу (Лена не в счет, она — ребенок). А ведь именно это могло бы одним махом решить все проблемы. Пока что старик, признавая мой разум, все-таки не может оценить масштабы эксперимента, поставленного эволюцией над единственной (пока?) особью мира насекомых, само строение и функционирование которых начисто исключает возможности развития к разуму. Но, как говорится, я — научный факт, и ничего с этим не поделаешь.

Хорошо еще, что у старика на редкость острое зрение. Поэтому у нас с ним есть одно общее «да». «Да» — это когда я встаю на задние ноги. Вот и теперь.

— Тебе дать газету почитать?

— Да! Да! Да!

Я стою на задних ногах и шевелю усиками. Еще бы, я истосковался по газете. Два дня ее не видел.

— Сейчас, — говорит старик.

Я — самая любимая его игрушка и главная тайна. Но я упорствую в желании ночевать дома в маленьком муравейнике, спрятанном в фундаменте старого сарая. Здесь я стану добычей первого же паука.

Если бы я не был скептиком, уверенным в тщете земной славы, мне ничего не стоило бы полностью подчинить своей власти муравейник, может, даже объединить соседние. Но зачем? Умнее

ли король муравьев, чем одинокий формика салкенс? Станет ли более счастливым мой маленький народец? Вряд ли. Ладно, к этой проблеме я когда-нибудь вернусь. А сейчас — за чтение!

Старик установил газету на специальном пюпитре, в метре от меня, так, чтобы мне не приходилось ползать по строчкам, как когда-то, в начале нашего знакомства. Ведь именно за этим занятием застал меня старик в прошлом году и, как сам признается, готов был безжалостно смахнуть меня на пол, но его смутила последовательность, с которой черная муравей, доползая до края газетной колонки, быстро возвращался обратно, чтобы проползти вдоль следующей строки.

Ага, старик обвел красным карандашом заметку в правом нижнем углу полосы.

Что же он счел достойным моего муравьиного внимания?

«Лима. Наш корр. Перуанский исследователь Хуан Суарес, совершивший смелое путешествие к верховьям затерянной в джунглях реки Краньи, обнаружил там колонию громадных муравьев, создателей широких — до фута дорог, тянующихся на многие километры. Размер красного муравья, названного ученым формика гигантика, достигает двенадцати сантиметров».

— Ну и как тебе? — спросил старик. — Вот это, понимаю, братья по разуму!

Он был рад, полагая, что доставил мне удовольствие.

Я не сказал «да». Очередная фальшивка, явное преувеличение. Почему-то человечество склонно к гигантомании. Ведь если бы такие дороги строили маленькие муравьи, никто бы не удосужился трезвонить по всему свету. Судя по всему, это бродячие разбойники, хищники, низко организованные и отсталые даже по сравнению с моими братьями. Но все же гиганты! Бойтесь их, люди! Наверняка в каких-нибудь изданиях пониже рангом уже распространяются слухи о коллективном и злобном разуме громадных муравьев из Перу. А почему бы нет? Мы — олицетворение чистого разума, без эмоций и чувства жалости. Сколько дрянных романсов написано на эту тему! Ах как бы я все это сейчас выложил моему старику!

— Ну что же ты? Не понял? — старик был разочарован тем, что я не соблюдаю правил игры. Не восторгаюсь вместе с ним тем, что в каком-то Перу один из видов формика под влиянием благодатного климата достиг исключительных размеров.

— Ну как знаешь, — старик обернулся к покупателю. Покупатель был постоянный. Я его давно уже встречаю у киоска.

— Что новенького? — спросил покупатель. Очевидно, он пенсионер. Я сужу по белому цвету волос и глубине морщин на лице. — Читали сегодня про муравьев?

Надо же случиться такому дикому совпадению! Неужели больше не о чем поговорить двум цивилизованным людям? Над миром висит угроза атомной войны, которая может вызвать новые благоприятные мутации в муравьях, но уж никак не в людях, все меньше остается на Земле чистой воды и чистого воздуха. Но их, видите ли, интересует не детская преступность и не топливный кризис, а муравьи в Перу, которые никогда и никому не угрожали, жили себе в джунглях и прокладывали бессмысленные для человечества дороги.

— Читал,— сказал мой старик с усмешкой в голосе. Он-то знал, что я присутствую при разговоре.— И как вам?

— Боюсь, что сегодня не засну,— сказал покупатель.— Я вообще насекомых не выношу, и тараканов в первую очередь! А что, если их к нам завезут? Тогда детей на улицу не выпустишь.

— А вдруг они разумные? — возразил мой старик. Это для третьего, для свидетеля.

— Тем хуже,— отрезал покупатель.— Тогда вообще жизни не будет. Была человеческая эпоха, а станет муравьиной. Помяните мое слово. Кровь из нас сосать будут.

Порой я не могу преодолеть раздражения против человечества. Ну почему эволюция дала первенство именно этим, нестабильным, ленивым, подозрительным особям? То ли дело муравьи, не мыслящие себе существования в безделье... Впрочем, я несправедлив. Все мои аргументы разбиваются об один факт: я — брат людей, а не брат муравьиного племени. Хоть и печально мне это сознавать. Не вошедши в их племя, я уже изгой в своем.

— Если разумны то нечего их бояться,— сказал мой старик.— Разумные друг дружку всегда поймут.

Да, я несправедлив к людям. Кто мне ближе всех на земле? Этот старик. И девочка из дома напротив. Вот и все.

— А вы все шутите,— сказал покупатель.— Даже люди между собой сговориться не могут... Бейте! Сзади вас! Да вот там, на полочке, сейчас укусит!

Я так заслушался, что не сообразил, что моего старика призывают к убийству, которое у людей убийством не считается. А старик, под натиском этого крика, поднял ладонь, и она повисла в воздухе надо мной.

— Нет,— сказал старик,— напугали вы меня. Это же муравьишка.

— Опасаетесь? — бушевал храбрый покупатель.— Дайте, я сам достану.

Вот он уже втискивается в окшко.

От греха подальше я отбегаю к стопке журналов.

— Не лезь,— вдруг озлился мой старик.— Муравей муравью рознь. Считай, это мой друг...

А меня тут же посетила печальная мысль: не будь он знаком со мной, прихлопнул бы? Или нет? Вот и еще почва для печальных раздумий. Я пойду. Пойду дальше.

Я сбежал вниз по стене и слышал, как суетился, расстраивался мой старик.

— Ну куда же ты задевался? Не смахнул ли я тебя невзначай? Может, перепугался? Да ты вылезай, не обращай внимания, нечего делать человеку, вот он и выдумывает.

Но я не стал возвращаться.

Путешествие через улицу отняло много времени. С точки, отстоящей от мостовой на два миллиметра, нелегко увидеть приближающиеся автомобили. Приходится бежать по трещинам и выбоинам, рассчитывая, что спасут неровности асфальта.

Я рисковую ежедневно, втрое, вдесятеро больше, чем мои сородичи, не удаляющиеся особенно от уютного муравейника... Что? Мне захотелось вернуться? Ни в коем случае. Я не знаю, в чем цель моей жизни, но уж не в том, чтобы благополучно отсидеться в темноте подземных ходов.

Ну вот, улица позади, я в знакомом подъезде.

Теперь мне предстоит долгий, утомительный подъем на третий этаж. Почему я не летаю? За какие грехи я должен с тоской и завистью смотреть на комаров, мух, отбросы эволюции? А кстати, почему я все время задаю вопросы? Кажется, такие вопросы называются риторическими — не требующими ответа.

Вот и знакомая нижняя планка двери, под которой я неоднократно проходил. Дома никого. Если не считать матери, которая возится на кухне,— ее громадный силуэт покачивается на фоне открытой двери. Мне направо, в комнату Лены. Лена еще в школе, но скоро вернется. Лена — единственный человек на свете, к мозгу которой я смог нащупать пути. Сколько раз бывало, что она отвечала мне на вопросы, которые я не мог произнести вслух.

Что же, я подожду ее на столе. На письменном столе, сладком месте наших свиданий.

Меня преследовала мысль о гигантских муравьях из Перу. При всей нелепости этого сообщения они укладывались в некую логическую схему, выстроенную мною уже давно. Представьте себе, что вы — муравей. Не такой одиночка, как я, а член многочисленного муравьиного сообщества, разумного не коллективным разумом, а разумом индивидуальным. Будем ли мы сохранять наши микроскопические размеры либо предпримем попытки отбора и селекции для того, чтобы каждое последующее поколение

становилось крупнее предыдущего? Наверно, именно так. Только достигнув определенных размеров, приблизившись к золотой середине масштабов, к человеку, мы сможем объединить с ним усилия на пути прогресса. Только тогда человек сможет признать в нас равню... разумеется, это не пройдет гладко и безболезненно, многие, подобно тому покупателю, будут ахать и видеть в нас извечных врагов человечества... Но ведь не они, надеюсь, будут решать. Это будет новый, муравьино-человеческий мир...

На этот раз рассеянность чуть меня не подвела.

Большой рыжий муравей поджидал меня на поверхности стола, среди разбросанных тетрадок, вышивания, прочей детской мелочи.

Что-то много муравьев расплодилось этим летом в нашем городе. Бандитов из того муравейника я уже несколько раз встречал в Леночкином доме, но раньше мне удавалось благополучно избегать встреч с ними. И вот попался...

Бандит разинул жвалы, угрожающе приподнялся. Он намеревался быстро расправиться с пришельцем, посмевающим забрести во владения его племени. Он не спешил. Своим примитивным мозгом он сознавал, что мне некуда деться. Бегаю быстрее меня, ростом превосходит втрое. Что ж, надо что-то придумать. Понимаете, придумать! Именно в этом различие между мной и сильными врагами. Только поэтому я до сих пор жив и намереваюсь жить далее.

Я начал медленно отступать к краю стола.

То есть уже вел себя не по правилам. Я должен был, не веря своим глазам, подойти к нему вплотную, потрогать его усиками, обнюхать, убедиться, что он чужак, и затем, после короткой и безнадежной схватки, уласть — ножки кверху и дать унести свой трупик в чужой муравейник на откорм рыжим деткам.

После секундного колебания рыжий устремился за мной. Он по сравнению со мной, что лошадь рядом с человеком. Шансов обогнать его — никаких. Шансов перехитрить — множество. Во мне поднялось озорное чувство — мне он не страшен!

Мы мчались вниз по ножке стола, затем по полу, до стены. Как говорится в таких случаях в человеческой литературе, «он уже чувствовал на шее дыхание преследователя». Между нами полметра, тридцать сантиметров, мы бежим по диагонали, поднимаясь по стене, и тут, у самого угла, я поворачиваю и несусь вниз, этим уничтожая свое преимущество. Теперь между нами сантиметров десять, не более. Еще одно усилие...

Я отталкиваюсь всеми своими шестью ногами от стены и лачу по дуге вперед. Это тоже не по правилам. Муравьям по собственной воле таких прыжков делать не дано. Мой преследователь

продолжает бежать вниз. Это мне и нужно. Там растянута небольшая, но прочная сеть моего давнишнего недруга — паука. В эту сеть мой преследователь благополучно влетает. Я на несколько секунд задерживаюсь, глядя, как к нему, бьющемуся в сети, устремляется паук. Мне его не жалко. Я — человек из породы формика сапиенс, и если на меня нападают хищники, я защищаюсь.

Вот и Лена. Она бежит к столу посмотреть, не пришел ли я. «Я пришел, Леночка, сейчас буду здесь». Я спешу вверх.

— Здравствуй!

— Здравствуй,— говорит Лена.— Ты чего вчера не приходил?

Она не ждет ответа. Она спешит поделиться со мной главной новостью.

— Ты знаешь, Герой (что за дикое имя она для меня придумала), что сегодня написано в газете?

Я знаю, я слышал, потому что сегодня все человечество только об этом и трезвонит.

— Там говорят, что в Перу живут очень громадные муравьи, которые умеют строить дороги. Вот здорово, а? Если бы я могла, то обязательно взяла бы тебя с собой и полетела в эту Перу...

Бедная девочка, ей еще учиться и учиться. Перу — среднего рода. Надо говорить: полетела бы в это Перу.

— Ты какой-то встрепаанный сегодня, я тебя просто не узнаю. Может, это не ты? Нет, нет, я шучу.

Она не могла ошибиться. Еще давно, месяц назад, она сказала:

— Я очень боюсь перепутать тебя с каким-нибудь обыкновенным муравьем. Можно, я капну на тебя масляной краской? Совсем немножко на спинку? По пятну я тебя буду узнавать.

С тех пор я хожу с красной отметиной, что вызывает некоторое недоверие ко мне у стражников при входе в муравейник.

— Представляю, как тебе скучно одному,— сказала Лена.— Может, тебе в самом деле съездить в Перу? Если они окажутся не настоящими, ты всегда сможешь вернуться. Я тебя буду ждать, даже если придется ждать десять лет.

— Лена,— слышно из кухни,— обед на столе.

— Жди, Герой, который не боится паука,— сказала Лена.— Я быстренько поем, и мы будем делать уроки.

Она убегает на кухню.

Мы с ней, надо сказать, познакомились на почве грамматики.

Тогда у меня, кроме старика, не было знакомых людей, но я очень тянулся к людям. Настолько, что когда попал в дом к этой девочке, решил рискнуть. Она как раз писала какое-то

упражнение и сделала элементарную ошибку, не помню уж какую.

Я с мужеством отчаяния выполз на страницу тетради и стал бегать кругами по ошибочной букве.

Не глядя, девочка стряхнула меня со страницы. Нельзя сказать, что это приятное ощущение, тут можно и ногу потерять, но я снова влез на страницу. После моей третьей попытки девочка поглядела на букву и задумалась. Думала она вслух, и когда пришла к правильному решению, я тут же побежал к лишней запятой.

И тут она догадалась, что я — не простой муравей, а муравей с грамматическим уклоном. Так она мне и сказала.

Вообще-то, Лену ничто так не поражает, как моя грамотность. Она согласна примириться с тем, что я мыслю, могу поддерживать с ней примитивный разговор. Но моя грамотность! Она готова мне памятник поставить за то, что я помог ей исправить тройку в четверти. Видно, мы склонны ценить в других не то, что воистину достойно хвалы, а то, чего не хватает в нас самих. И вообще, она в глубине души подозревает, что я притворяюсь. Что я в самом деле нечто вроде прекрасного принца, полагающего нужным до поры до времени скрываться под видом муравья. Нет, она этого не говорит вслух, она даже сочувствует моему одиночеству и хотела бы, чтобы я нашел подобных себе. Но по некоторым ее недомолвкам я убежден, что она намеревается, когда вырастет, поцеловать меня или принести мне какую-нибудь жертву, и тогда я в мгновение ока оборочусь добрым молодцем и возьму ее в жены. Что ж, я не спорю. Если эволюция вознамерится сделать еще один неожиданный шаг и превратит меня в человека, я согласен жениться на Лене, ибо она — единственное существо на свете, ради которого я готов пожертвовать жизнью. Я открою еще одну тайну: я мог бы убежать, не губя рыжего муравья, но боялся, что он может укусить Лену. И эта мысль была смертным приговором тому бандиту. Именно она, а не мои высокие рассуждения о праве формика сапиенса на самозащиту.

— Ты соскучился без меня?

Нет, милая, я не успел соскучиться. Я думал.

— Ты не представляешь, сколько нам сегодня задали.

Мы принимаемся за уроки.

Сегодня я делаю уроки рассеянно, сам чуть не пропустил квадратный корень. У меня из головы не лезут эти проклятые перуанские гиганты. Чужие, вернее всего, безмозглые существа. А вдруг (на миг забудем о том, что этого быть не должно) они научились мыслить? А что, если именно в них мой единственный шанс? Ведь в моих руках сейчас, возможно, судьба не только му-

равниной, но и человеческой цивилизации. Человечество даже не подозревает, как оно одиноко. Об этом знаю только я.

А Лена, как всегда, читает мои мысли.

— Ты хочешь в Перу?

— Нет, что ты. Мне и здесь хорошо.

— Не ври, хочешь. Но ты обещаешь вернуться обратно?

Что мне делать в Перу? Пора смириться с тем, что нет на Земле тебе подобных и ждать чуда — собственного превращения в превосходного молодца или кончины в лапах бродячего паука. И тут меня посещает странная мысль: а возможен ли живой (подчеркиваю, живой) разум без чувств, оттесняющих порой разум в сторону? Я понимаю, что теория вероятности против меня, но я иду на риск, потому что не могу иначе. Не столько ради себя, сколько ради этой девочки.

— Я помогу тебе. Мы поведем на аэродром, и я посажу тебя в самолет, который летит в Перу.

Наивная. В Перу, наверное, и не летают самолеты...

— Как только ты попадешь на аэродром, мы посадим тебя в карман какому-нибудь перуйскому дипломату...

Глупенькая, не перуйскому, а перуанскому, не дипломату, а дипломату. Как ты без меня здесь останешься? Опять тройка в четверти по-русскому?

А сам уже стараюсь внушить ей, что надо выйти на улицу, там в киоске напротив сидит старик, с которым я знаком. Он сможет помочь доехать до аэродрома...

ДМИТРИЙ БИЛЕНКИН

ОПЕРАЦИЯ НА СОВЕСТИ

В больничной приемной было тихо, тепло и светло. Храм чистоты и порядка, где даже никелированная плевательница на высоких ножках имела вид жертвенника, воздвигнутого в честь гигиены.

Напротив Исмения, вскинув голову, как офицер на параде, сидел усатый человек с немигающими темно-кофейными глазами. Фаянсовая белизна вортничка туго стягивала его морщинистую шею. К плечу усатого жался худенький мальчик с прозрачным до голубизны лицом. Над их головами простирался плакат: «Духовное здоровье — залог счастья». Другие плакаты возвещали столь же бесспорные истины, и за всеми этими правильными словами скрывалась ложь, ложь и ложь.

© Издательство «Знание», 1979 г.

© Д. Биленкин, 1991 г.

«И-и-и!» — тоненько присвистнуло за дверью, которая вела в операционную.

Рука сына испуганно шевельнулась в ладони Исмения.

— Пап, а больно не будет?

— Не будет, я же тебе говорил,— привычно успокоил Исмений.

— Они могли бы поторопиться,— сказал усатый, ни к кому не обращаясь.

Исмений склонил голову, чтобы выражение лица не выдало его мыслей. С каким наслаждением он взял бы этого дурака за фаянсовый воротник и бил бы его затылком о стену, пока не вышиб из него все тупоумие.

Глупо. Все они соучастники преступления, он сам — вдвойне, потому что знает, но молчит. Этот усатый по сравнению с ним невинней незинного, ибо ни о чем не догадывается, хотя мог бы сообразить и должен был бы сообразить, если только у него действительно есть разум. Впрочем, в такие, как сейчас, времена многие, наоборот, стараются избавиться от разума, потому что это слишком опасно выделяться среди других. Торжество самопредательства — вот как это называется.

За наружной дверью послышался семенящий стук каблучков, дверь распахнулась, и в приемную, волоча за собой золотоволосую девочку, вплыла дородная дама в узкой юбке до пят.

— Уж-ж-жасно! — пророкотала она, обводя взглядом мужчин.— И здесь очереди! Кто последний?

— Я,— сказал Исмений, приподнимаясь.— Но если вы торопитесь...

У него был свой расчет. Чем утомленней будут врачи, тем легче ему удастся осуществить замысел.

— Вынь палец из носа! — прикрикнула дама на девочку, опускаясь на диван и одновременно поправляя прическу.— Уж-ж-жасно тороплюсь!

— В таком случае рад уступить вам очередь.

— Я тоже не возражаю,— поклонился усатый.

— Весьма признательна! Ньюнсьик, ты, никак, хочешь плакать? Ньюнсьик, посмотри на мальчиков, как тебе не стыдно! Дядя врач прогреет тебя лучами, и у тебя никогда-никогда не будет болеть голова... Ведь правда? — Она обернулась к Исмению.

— В некотором смысле да,— согласился Исмений.

В некотором смысле это была правда. У золотоволосой Ньюнсьик, у мальчика с прозрачным до синевы лицом, у миллионов детей, у всех детей, когда они вырастут, не будет болеть голова от сострадания к другим людям. Растоптать человека им будет все равно что растоптать червяка. равнодушные среди равнодушных, они возопят лишь в то мгновение, когда неспраде-

ливость коснется их самих. Но помощи они не сыщут, потому что сами не оказывали ее никому и никогда.

Исмень украдкой взглянул на сына, и сердце ему стиснула такая боль, что в глазах потемнело от ненависти. Здесь, где чисто, тепло и светло, ребятишки доверчиво жмутся к своим отцам и к матерям — самым сильным, самым мудрым людям на свете, — как будто предчувствуют недоброе и ищут защиты у тех, кто их всегда защищал. А они, эти взрослые — добрые, неглупые люди — сами, своими руками втолкнут их в это страшное будущее.

Дверь операционной приотворилась, выглянул врач с унылым продолговатым лицом и, не глядя ни на кого, буркнул:

— Следующий.

Дама поднялась и, прошелестев юбкой, двинулась было к врачу, однако девочка, внезапно присев, крикнула: «Нюньсик не хочет!» — и быстро-быстро замотала головой, скользя полусогнутыми ногами по пластику пола.

— Нюньсик! — трагическим голосом воскликнула мать. — Сейчас все будет в порядке. — Она сбежительно улыбнулась врачу и, погрозив девочке пальцем, громко зашептала ей на ухо: — Будь умницей, Нюньсик, встань, вытри слезки, мамочка купит тебе новую куклу, а Нюньсик сама пойдет ножками топ-топ...

Нюньсик, бросив на мать торжествующий взгляд, тотчас вскочила, поправила сбившуюся юбочку.

— Великолепно, мадам, — сказал врач. — Ваша дочь действительно умница, и вам не обязательно присутствовать при процедуре. Будьте, однако, здесь, на случай капризов.

Он машинально погладил золотистую головку девочки, и дверь за ними захлопнулась.

Дама села на диванчик с горделивым видом, который лучше всяких слов вопрошал: «Ну, каково я воспитала ребенка?»

Исмень прикрыл глаза, чтобы ее не видеть.

В глубине души он завидовал неведению этих людей. Им сказали, что маленькая и безболезненная профилактическая операция навеки избавит их детей от угрозы шизофрении, и люди эти, конечно, поверили. Обыватель настороженно относится ко всему, что затрагивает его будничные интересы, но тем охотней он полагается на мнение авторитетов о вещах, ему незнакомых и от него, как он считает, далеких. О сложностях большого мира он думать не умеет да и не хочет, поэтому всем решениям он предпочитает простые и однозначные — они понятней. В свое время ему сказали, что страной, если не принять мер, завладеет коммунизм, и он, напуганный бомбами провокаторов, насилем террористов, проголосовал за чрезвычайные законы, которые на деле отменяли всякую законность. Вот чем все это кончилось: со

спокойствием барана обыватель ведет своих детей на духовную кастрацию.

И поздно что-либо изменить.

Исмень живо представил, каким ужасом округлились бы глаза этой дамы, каким верноподданническим гневом затрясся бы усатый, вздумай он просветить их. Эти добропорядочные обыватели скорей всего позвали бы полицию, и дама с благородным возмущением толковала бы о мерзавце, который вздумал клеветать — вы только подумайте! — на заботу властей о здоровье их детей.

— Дети наш крест и наша тихая радость, — разглагольствовала тем временем дама. — Вы не представляете, каких нервов стоит уберечь ребенка! Не далее как вчера — нет это ужасно! — какой-то хулиган едва не сбил Ньюсика с ног. Прямо на улице! Я чуть не выцарапала глаза негодяю... Чем занимается наша полиция, я вас спрашиваю? Чем? Почему не сажают этих патлатых молодчиков?

— Мадам, — усатый вдруг повернулся к ней, и его туго накрамеленный воротничок, казалось, скрипнул от напряжения. — Нас предупреждали, мадам, что разговоры в приемной мешают врачу.

Дама побагровела от обиды и величественно замолкла.

В помещении сгустилась напряженная тишина.

Легкий скрип двери заставил Исменя вздронуть.

Но это была всего лишь Ньюсик. Не было заметно, чтобы операция гричанила ей какое-нибудь беспокойство. С радостным писком она пулей пересекла комнату и сразу же попала в пышные объятия матери, которая внезапно превратилась в обыкновенную клушку, суетливо хлопочущую над потерянными и вновь найденным цыпленком.

— А я была умница, а ты дай мне новую куклу! И мороженое!..

— Следующий! — донеслось из-за приоткрытой двери.

Усатый встал, как на шарнирах, неловко прижал к себе мальчика, отстранился.

— Ну, иди...

И пока тот шел, вяло перебирая ногами, усатый все смотрел ему в спину. За мальчиком закрылась дверь. Усатый обернулся, его глаза на мгновение встретились с глазами Исменя, и Исмень чуть не вскрикнул — такая в них была волчья, глухая тоска.

Усатый молниеносно потушил взгляд, закашлялся и сел, на кого не глядя.

Так он знал. Пол закачался под Исменем. Усатый, бесспорно, знал. Может быть, и дама знала? Все они все знают? Шли, зная,

что ждет их детей, что ждет их самих, и все-таки шли. Убежденные, что так надо. Убежденные, что ничего не изменишь. Скованные страхом, пылающие верой, шли! Неся маски на лицах, шли! — Кхе... — сказал усатый.

Исмень с надеждой вскинул голову. Дама ушла, они одни, одни...

Однако ничего не случилось. Усатый сидел, строго выпрямившись, как памятник самому себе. Если что и было теперь на его лице, так это долг и смирение.

Исмень опустил голову. Нелепой была надежда, что здесь, где по углам наверняка запрятаны микрофоны, будут произнесены какие-то слова. Да и к чему они сейчас?

Он встал. Воздух давил на грудную клетку, как могильная плита. Пластик глушил стук шагов, и Исменю казалось, что это удаляются звуки внешнего мира, а он остается один, один среди молчания и света.

— Папа, сядь ко мне...

Исмень медленно обернулся. У него возникло странное ощущение, что он видит сына откуда-то издали и видит в последний раз. Он сел в испуге, провел ладонью по мягким, теплым, пахнущим чем-то родным и уютным волосам сына, тот, ласкаясь, потерся щекой о его плечо, и острая, как клинок, ненависть ударила Исменя в сердце. Сволочи, сволочи, какие же сволочи! Расптотать себе подобных, сделать из жизни кошмар — и все это ради сохранения своей власти, своих денег, только ради этого. Они и взрослых бы оперировали, да вот затруднение — наука еще не дошла...

Горькую и мстительную радость Исменю доставила мысль о том, что это преступление в конечном счете погубит преступников же. Стадо не способно к возмущению, естественно. Зато оно не способно и к творчеству, ибо только личность создает новое. Очень скоро их страну обгонят и в науке, и в экономике, и в культуре, а уж о морали и говорить нечего. И тогда крах. Их раздавят, как пустой орех. И те, кто в своем безграничном тупоумии затеял все это, погибнут тоже. «Я тоже погибну, — подумал Исмень. — Может быть, еще раньше. Ну и пусть».

Но прежде он выполнит свой долг перед сыном.

— Следующий!

Исмень сжал руку сына. Он заранее предупредил его, что тот должен разреваться, едва последует вызов в операционную. И теперь он напоминал ему.

Но сын лишь оцепенело смотрел на отца.

— Следующий! — нетерпеливо напомнил голос.

— Мэт... — прошептал Исмень.

И то ли сына напугало выражение отцовского лица, то ли просто миновал шок, но только его рот судорожно дернулся, и он заревел — безудержно, отчаянно, во всю силу своих легких.

Выскочивший врач отчаянно замахал руками на неловко хлопощего Исмения.

— Тише, да тише же! Уймите его, наконец!

— Господин доктор, мне кажется, будет целесообразным, если во время процедуры он сможет видеть меня. Я полагаю, что этот плач...

— Ох уж эти мне родители-воспитатели! — в сердцах буркнул врач, свысока разглядывая ревущего мальчишку. — Пожалуйста, присутствуйте, если это успокоит его. Мы не можем обрабатывать истериков...

— Мэт, Мэт, — зашептал Исмений, опускаясь перед сыном на корточки. — Да успокойся же... Дядя разрешил, папа будет с тобой рядом, ну пойдем, пойдем.

На это Исмений и рассчитывал. Ему нужно было находиться возле сына, когда того начнут оперировать, и он знал, что в подобных случаях это не возбранялось.

Подводя к дверям все еще плачущего сына, Исмений быстро прикрепил к его затылку крохотный магнит. Теперь все зависело от усиков-держалок. И от внимательности врачей, конечно.

Обнимая сына, Исмений переступил порог.

Кабинет более всего напоминал собой лабораторию, и, как во всякой лаборатории, вид громоздящихся друг на друга измерительных приборов, разлапистых установок, оплетенных кабелями и шлангами, производил впечатление чего-то временного, хаотичного, поспешного. Слева, ярко освещенное рефлекторами, стояло кресло, похожее на зубоврачебное, справа, за шкафами контрольной аппаратуры, стоял в углу обычный канцелярский столик, заваленный перфолентами и скупо освещенный переносной лампой.

— Сюда, — сказал человек, сидевший за столом. — Имя? Фамилия? Год рождения?

Человек привычно сыпал вопросами, его руки с бесстрастностью приборов кодировали ответы, лицо не выражало ничего, кроме делового равнодушия, и было сделано, казалось, из серого палье-маше. Поглаживая вздрагивающие плечи сына, Исмений отвечал с той же привычной механической быстротой. Что бы ни происходило с человеком — женился ли он, поступал на работу, заболел, попадал под суд, — всему этому неизбежно предшествовала точно такая же процедура вопросов-ответов. И лишь умирая, человек избегал этой механической операции заполнения анкет, этого социального рентгена, неизбежного для всех. Но тогда отвечать приходилось родственникам, друзьям, даже посто-

ронним людям. Человек мог умереть и быть похороненным без устаревших церковных обрядов и доброго слова других людей, но без процедуры составления документов — никогда.

Мальчик успокоился и только слегка всхлипывал. Исмень, погладив его по голове, еще раз проверил, как держится магнит. Тот держался прекрасно, но волосы, уши, едва прикрывали его.

Регистратор ушел за перегородку и там зашуршал своими перфолентами.

— Усаживайтесь, молодой человек, — сказал врач, показывая на кресло. — А вы сидите там... — махнул он Исменю.

Два серебристых конуса на шарнирах по бокам спинки кресла, медные подлокотники, какие-то металлические жгуты с присосками, мигающая рябь огоньков на пульте контрольного аппарата...

Исмень знал, зачем эта аппаратура, что она делает и как. Он сам участвовал в разработке некоторых ее деталей. И хотя ему, как и другим, никто не объяснял, зачем они нужны и как будут использоваться в совокупности, шанс догадаться был, и чистая любознательность подтолкнула Исменя к далеко идущим выводам.

Лучше бы он ничего не знал!

Сына усадили в кресло, закатали ему рукава, змеящиеся датчики оплели запястья, лоб обхватил обруч. Кресло словно присосалось к мальчику.

Врач и его хмурый помощник делали все быстро, не глядя, так, как если бы в их руках находился не ребенок, а кукла.

Стук собственного сердца оглушал Исменя.

Лицо сына казалось нестерпимо отчетливым в жестком свете рефлекторов. В расширившихся черных глазах, быстро сменяя друг друга, чередовались любопытство, страх, растерянность. Под глазами темнели грязные потеки недавних слез, губы вздрагивали. Когда его ищущий поддержки взгляд вцепился в Исменя, тот нашел в себе мужество и ободряюще улыбнулся. Губы сына перестали дрожать.

— Телескопируем!

Повинуясь приказу врача, помощник нажал кнопку на пульте, и серебристые конусы пришли в движение, приподнялись, с двух сторон нацелились в голову сына.

— Ток!

Исмень сжался, больше не чувствуя собственного тела. Наклонившись, врач проверял положение конусов. Помощник сидел за пультом. Разноцветные отсветы огоньков играли на его сосредоточенном, неподвижном, как у идола, лице.

Шкала магнитометра находилась от него справа. Но ведь,

кроме нее, было еще множество других, не менее важных шкал! «Только бы он не взглянул туда!» — молил Исмень.

Врач все еще проверял положение конусов, держа перед глазами визирующий стереообъектив. Между остриями уже пульсировало невидимое магнитное поле. Через несколько секунд оно должно было сжаться в узкий и мощный луч, точно нацеленный на тот еще недавно неведомый участок мозга, где жизненный опыт и воспитание фиксировали, в нервных клетках неуловимую и расплывчатую субстанцию, испокон века именовавшуюся совестью.

Сейчас будет произнесена последняя команда...

— Скажите, пожалуйста, если ребенок вскрикивает по ночам, то следует ли показать его психоаналитику?

Исмень выпалил эту отвлекающую фразу, не слыша собственного голоса.

Оба — врач и помощник — сделали одно и то же досадливое движение рукой.

— Не мешайте! — рявкнул врач. — Поле!..

Крохотный магнетик, спрятанный в волосах сына, должен был исказить и обезвредить разящий луч — Исмень все рассчитал точно. Дальнейшая судьба сына и его самого зависела теперь от внимательности помощника.

— Извините, я только хотел спросить...

Спина врача окаменела от ярости. Взгляд помощника метнулся было к глупо улыбающемуся Исменю, но задержался на пульте и...

Помощник смотрел на магнитометр, который, разумеется, фиксировал искажение поля.

Исмень закрыл глаза. Его невесомое тело куда-то поплыло, и он даже почувствовал облегчение.

Все кончено. Сын погиб. Сейчас с грохотом будет отодвинут стул... арест, тюрьма, а может быть, и казнь.

В тишине слышалось напряженное гудение трансформатора.

С усилием, почти болезненным, Исмень приоткрыл веки.

Этого не могло быть! Но это было. Помощник все еще сидел за пультом, устало следя за показаниями приборов и что-то регулируя верньером. На шкалу магнитометра он уже не смотрел. И нельзя было понять, думает ли он о чем-нибудь, волнуется, сочувствует... Лоб в тонких прорезях вертикальных морщин, нездоровые круги под глазами, вялый подбородок — лицо, каких тысячи.

— Сброс!

Врач выпрямился, гудение трансформатора умолкло, помощник откинулся на спинку стула.

— Вот и все,— сказал врач. Только сейчас Иسمень заметил, как устало обвисли на его сутулой фигуре складки белого халата.— Забирайте парнишку.

Теперь кресло освобождало мальчика, и, пока это длилось, Иسمень понял, отчего Мэт за все время даже не вскрикнул: он попросту оцепенел от страха. Как тогда, в приемной.

На негнувшихся ногах Иسمень подсел к креслу, взял на руки сына, сказал врачу «спасибо» и, повернувшись к помощнику, тоже сказал «спасибо». Здесь его голос дрогнул, так много чувства вложил он в это обесцвеченное эпохой слово, но помощник ничего не ответил и даже не посмотрел на него.

На улице кружила мокрая ноябрьская метель, когда Иسمень вышел с сыном из клиники. В полустывших лужах осколками дробилось отражение угрюмых потемневших зданий. К сыну уже вернулась жизнерадостность, он спешил с вопросами, на которые Иسمень односложно отвечал «да», «нет», пока не прозвучал вопрос о магните.

— Пап, а зачем ты запрягал мне в волосы эту штуку?

Исмeнь оглянулся. Прохожих вблизи не было.

— Так было надо, малыш,— сказал Исмeнь, заглядывая в лицо сына.— Так надо. Но ты никому и никогда не говори об этом. Никому и никогда. А если, не дай Бог, и проговоришься, то скажи... скажи что просто выдумал. Понял?

Сын удивленно посмотрел на отца, ведь тот никогда не учил обманывать. Он слушал, по-взрослому сдвинув брови, потом кивнул.

— Да, пап.

«Вот я и преподал ему первый урок лжи,— подумал Исмeнь,— А сколько их еще будет!»

Все только начиналось. Сына предстояло обучить лицемерию, умению не выделяться среди лишенных совести сверстников, и тем не менее в нем надо было сохранить человека. Всюду и везде одинокий, всем и вся чужой — выдержит ли он это?

И сохранится ли в нем человек?

Поблагодарит ли он когда-нибудь отца за сегодняшнее или, наоборот, проклянет?

Сын молча шагал рядом с Исмeнем, держась за его руку.

ИГРИЩА В ЗАЛЕ, ГДЕ НИКОГО НЕТ

Анджей ничего еще не решил. Он не решил вообще, сделает ли он это. Слишком многое было неизвестно. Слишком многое было против.

Так говорил он себе. Так повторял он.

Шел семнадцатый час с тех пор, как с амфибией, в которой была Оэра, утрачена связь. Шел семнадцатый час, как оттуда, из района Железных Скал непрерывно звучал ее тонкий, как писк комара, радиозуммер.

Ему приходилось бывать там, в районе Железных Скал. И сейчас он представлял себе все так же ясно, как если бы это было перед его глазами. Он видел желтое марево, желтый туман, который заполнял собой пространство. И в нем, в нижних его слоях, редкие озерца, протоки из сиреневого. Иногда оно, сиреневое, медленно текло и переливалось среди более легкого — желтого, но не смешивалось с ним. И стоило чему-нибудь шелохнуться, стоило потянуть ветру, как все это приходило в движение.

Где-то там, в этом прозрачном мареве, была сейчас Оэра. Была белая плоская чечевица ее амфибии.

Если включить приборы слежения, туман исчезал. На экранах оставалась только легкая дымка, размывавшая контуры отдаленных предметов. И тогда становились видны скалы. Или то, что условно можно было называть этим словом, потому что другого не было. Больше всего это напоминало гигантский шлак — нечто губчатое, нечто спекшееся с пустотами, арками и пролетами, переброшенными на сотни метров. И там, в огромных этих глубинах, в переплетениях и переходах плыл сейчас сигнал бедствия — тонкий писк радиозуммера. Многократно отраженный, он расходился волнами, то усиливался, то ослабевал. Казалось, сигнал был везде. И невозможно было найти то место, ту точку, из которой он исходил.

Вызывая в себе все эти картины, размышляя об этом, Анджей понимал втайне, что делает это только затем, чтобы не думать с другом. Чтобы не думать о главном — о решении, которое надлежало ему принять. Пока можно было еще сделать это.

Анджей был один на станции. Двое других с утра находились там, в лабиринте Железных Скал. Но он знал — их ее не найти.

Это было невозможно. Почти невозможно. Единственным, кто мог бы помочь в этом, был, наверное, он сам. Но сейчас он старался не думать об этом. После всего, что произошло, что случилось с ним, отвращение к риску было слишком велико. И Анджей не был уверен, не знал, сумеет ли он одолеть это.

Бесконечные коридоры, по которым шел он, пусты. Безлюдны лестницы и переходы. Но сама эта пустота, самое безлюдье это было совсем другим, не таким, каким оно могло бы быть в иных обитаемых мирах.

Он шел, и блестящие поручни, рукоятки аварийных сигналов, иллюминаторы многократно отражали его. Они отражали его, высокого, золотоволосого, в черном форменном одеянии, отливающим серебром и ниспадавшем до самых ног. Наверное, и правда, он достоин был чего-то лучшего, чем это одеяние, эта Стакция и тот мучительный выбор, перед которым он был сейчас.

Длинный коридор завершался площадкой. Дальше была только одна дверь — плоский квадрат. Полосатая дверь в зал, где не было никого.

Впрочем, это еще ничего не значило, что он пришел сюда, к этой двери. Это еще ничего не значило.

Он сделал так, чтобы изображение Оэры возникло вдруг на стене. Оно было двумерным и плоским. Оно было тем, что некогда называлось «портрет». Если бы «портрет» шевелился или произносил слова, тогда бы это называлось «кино». Когда-то он интересовался историей, поэтому знал это.

Он сделал так, чтобы изображение стало объемным. Теперь Оэра была похожа, теперь она была подобна той, какой она была в жизни: эти миндалины глаз, эти черные волосы по плечам, лидовоз кимоно.

Он смотрел на нее. Он попытался увидеть ее так, как если бы видел впервые. Но не смог. И тогда, перестав удерживать изображение, дал ему медленно растаять в воздухе.

«Голография». Наконец-то вспомнил он это слово. Так назывались эти изображения когда-то. «Голография». Образы, которые порождала она, были объемны, но призрачны и бесплотны. Как изображение Оэры, которое только что было здесь. Непонятно, кому нужны были они, эти призраки. Но наверное, все-таки были нужны, пока лет двести назад профессор Минц не создал своих «фантомов». Трехмерные изображения обрели плоть. Кажется, это были какие-то поля, суперполя, гиперполя, которые держали контур предмета. Теперь, если протянуть руку, рука не проходила сквозь образ, как сквозь пустоту, как сквозь призрак, а упиралась в твердь, твердь фантома. Пока шел сеанс, пока работал передатчик, изображение стены было подобно настоящей сте-

не, и ладонь могла ощутить ее шероховатость и твердость. Изображение стула становилось подобным настоящему стулу — его можно было потрпать рукой, на него можно было сесть.

И человека... Изображение человека тоже.

Он не решился подумать об этом. Даже не в мыслях, а чем-то, что было до мыслей, он представил себе вдруг, что Оэру не нашли. Что изображение ее, ее фантом,— это все, что есть у него, все, что у него осталось. И от одного этого, от одной только попытки вообразить себе это Анджей почувствовал в сердце пустоту и холод.

И хотя тут же пришло понимание, что это не так, что Оэра есть и жива, что впереди еще целых восемь часов, чтобы найти ее, тень этого холода и пустоты, память о них остались.

Он не сразу толкнул полосатую дверь, он секунду-другую помедлил. Будто, и правда, переступить порог означало что-то. И словно чтобы оттянуть, чтобы это отсрочить, откуда-то из складок, из глубин своего одеяния извлек он футляр и, раскрыв его створки, вынул кристалл лимонно-желтого цвета.

Все было вписано, все было заключено в нем, в этом кристалле: последний их разговор, и комната, и Оэра перед самым ее уходом. Перед тем, как белая чечевича амфибии увезла ее в дебри Железных Скал. Анджей так и не сказал ей, что сделал запись. Он и сам не знал, зачем делал он это. Наверное, действительно, с годами мы становимся сентиментальными, и в поступках наших начинает присутствовать нечто вроде: «когда-нибудь я буду вспоминать это».

Кристалл был холодный. Зачем-то он посмотрел сквозь него на свет, но не увидел ничего, кроме длинных, лимонных бликов.

Квадрат полосатой двери был стальной и массивный. Он потянул ее на себя, дверь с трудом и медленно отошла. И тут же захлопнулась за ним, едва он вошел.

Зал был пуст. Совершенно пуст. Только стены и потолок. Такие же стальные, как и дверь, стены. Такой же стальной потолок.

Привычной рукой он нащупал в стене устройство, ладонью отвел защелку и дал кристаллу уйти вглубь. Свет в зале стал меркнуть, меркнуть и погас.

Но это тоже не значило еще ничего. Он мог еще ощупью отыскать дверь, открыть ее и выйти.

В дальнем конце зала дрожал на полу небольшой круг. Он направился к нему, к этому кругу, и стал в него. Именно там, именно в этом месте находился он в комнате Оэры, когда началась запись. Теперь все зависело от того, сумеет ли сразу Анджей найти то положение, ту позу, в которой он был тогда.

Это было как в музыкальной шкатулке — есть ключ, есть за-

мочная скважина. Скважина — некий объем в пределах освещенного круга, единственный и определенный. А ключ — это он сам. Как только он заполнит собою этот объем, как только найдет нужную позу — ключ войдет в скважину, музыка заиграет, и фигуры начнут свой танец.

Но пока этого еще не было, пока этого не случилось, он волен был отказаться и прекратить все это. И сама мысль, что путь обратно открыт, что он свободен, позволяла ему идти дальше и еще дальше, к той черте, где пути обратно уже не было.

Зал между тем медленно преображался. Контуры каких-то предметов смутно проступали вокруг. Теперь это не был уже тот зал, куда он вошел. Это было помещение, вытянутое и изогнутое, с рядом иллюминаторов вдоль одной из наружных стен. Удлиненные, неправильной формы, они источали желтый, неверный свет. Скосив глаза, он мог видеть в них желтый туман, неподвижными клубами устремленный кверху.

Когда туман поднимался — это было утро. Зались воспроизводила утро.

Оэра была тут же. По-прежнему, не меняя позы, он мог видеть ее неподвижную, как манекен, замершую вполоборота. Знакомая гримаса приоткрытого рта, черты лица ее и вся фигура были еще расплывчаты и нечетки.

Анжей шевельнул рукой, чуть согнул пальцы. Кажется, именно так стоял он, когда началась запись. Он нагнул голову, чуть отставил ногу. И всякий раз уголком глаза, боковым зрением он видел, как от этого мир, окружавший его теперь, обретал все большую четкость.

Но по-прежнему он еще не перешел черты. По-прежнему он свободен был выйти из круга. Один только шаг, одно движение — призрачный этот мир расплывется, распадется, исчезнет. Так говорил, так повторял он себе.

И вдруг в какой-то миг это произошло.

— ...всегда очень немного.— Продолжая движение, Оэра протянула руку и свела два пальца, показывая ему, как немного.

(Это было, как выстрел. Когда медленно давишь на спуск бластера — на микрон, еще на микрон, и еще, и не случается ничего. И вдруг на каком-то мгновении, на каком-то волоске движения вспышка.)

— Некоторые заливают горячей водой.— Она сделала большие глаза и изобразила на лице ужас.— Но ведь это неверно! Совершенно неверно! Нужно только холодной. Обязательно холодной. Вот столько...

Она снова сблизила пальцы, показывая, сколько именно.

Он помнил, о чем была речь. И помнил, что ответил тогда.

И сейчас, слушая, что говорила она, и зная, что она скажет, он ждал только той паузы, чтобы вставить фразу, которую уже произнес однажды.

— А вот Лукреций делает это не так! — Он постарался, чтобы слова его прозвучали так же, как тогда, в действительности.

— Лукреций делает по-другому.

Оэра словно только этого и ждала. Она изогнулась, как кошка. Она заглянула ему в лицо, словно хотела удостовериться, неужели он и правда произнес это. И тогда только после этого откинулась назад и рассмеялась гневно:

— Кто? Лукреций? Это он-то...

Удивительно все-таки, как умела она такое значение придавать пустякам! То, как варить кофе, сон, который приснился вчера, новая прическа — все это возрастало в ее глазах до масштабов вселенских, до масштабов космических. Он так не мог. Он так не умел. Хотя и старался больше ради созвучия.

Теперь желтый туман за иллюминатором, клубясь, стремительно поднимался вверх. Он знал, что к полудню движение его постепенно замедлится, чтобы позднее остановиться совсем. А вечером начнется обратное — желтые завитки и клубы медленно поползут вниз. Так было каждый день. Так было всегда.

Анжей стоял и смотрел на туман, слыша за собой ее голос и стараясь вжиться в происходящее. Стараясь произносить не только те же слова, но и думать и чувствовать, как тогда, когда все вокруг него было настоящее. Проходя, повторяя себя, он подвинул кресло. Так он это сделал тогда. Но сейчас, ощутив под рукой его бархатистую спинку, он не мог не подумать, что кресла этого, как и всего остального, здесь нет... Что все это — только проекция сил, пересечения полей, фантомы. Но тут же постарался отогнать эту мысль и не думать об этом.

Он чуть не забыл, чуть не пропустил своей реплики. Но все-таки успел, вовремя успел. Впрочем, все шло так, как тому и надлежит быть. Как тому и надлежит быть, чтобы через час или два, когда в кристалле кончится запись, растаять бесследно. И он останется вновь один в пустом зале.

— ...Ну и что тогда?

Он пожал плечами.

— Ничего.

— А я вот думаю иначе, совсем иначе. — Оэра откинулась в кресле и покачивалась в нем, закинув за голову тонкие руки. — Я думаю, что в нас, как в зеркале, отражается все, что вокруг нас, — и форма, и цвет, и звуки. Когда на мне это, — она порхнула рукой по тому, что было на ней надето, — это не просто значит, что я так одета. Это значит, я сейчас такая. Я, например,

никогда не сяду, если в лиловом, туда, на то кресло. На красном лиловое некрасиво.

— Даже когда одна? — как некогда, как тогда, в действительности, усомнился он.

— Конечно.— Она удивилась вопросу.

— Но если одна, тебя же никто не видит. И сама ты себя не видишь. Что ж может быть в этом плохого?

Она пристально посмотрела на него. Неужели он это серьезно?

— Мне жаль тебя. Ты рассуждаешь, как варвар. Кажется, так называется это. Ну и что, если я и не вижу! Я не вижу себя, но я-то ведь знаю. Знаю, что, сидя в лиловом на красном, порождаю незстетичное цветное пятно. Разве, если делаешь зло, но никто не видит, разве это перестанет быть злом?

Конечно, пустяк, разговор ни о чем. Но снова все, чего бы она ни коснулась, представляло необычайно важным и значимым.

Он подумал: как хорошо было бы вот так сидеть и разговаривать с нею, незаметно лаская взглядом каждый жест ее, форму рук, поворот лица. Это, может быть, так и было б, если бы не эти Железные Скалы, если б не зуммер, кричавший оттуда семнадцать часов подряд.

Он знал, что сделает то, ради чего здесь. Он сделает все, что нужно, чтобы ее найти.

Они сидели друг перед другом, и темный низенький столик был между ними. На тонких, закрученных ножках, он был уставлен прозрачной посудой и белыми чашками. Они пили чай — вот что делали они теперь. Пили чай. Тонкая чашка просвечивала в тонкой ее руке. И он снова почувствовал то, что подумал тогда.— рука ли ее возникла из небытия только затем, чтобы однажды держать эту чашку, или чашка была создана кем-то, кто мог почувствовать именно эту руку?

— Мне хочется,— продолжала она, и чашка, звякнув чуть слышно, вернулась на блюдце,— мне хочется иногда, чтобы меня окружали другие предметы и стены. Другого вида, другого цвета. То, что вокруг нас, должно меняться, как мы меняем одежду, по настроению...

Она перевела взгляд на иллюминаторы, где желтые струи и клубы бежали по-прежнему вверх.

Он тоже молчал, помешивая ложечкой чай.

Так молчали они, потому что умение беседы требует мало слов. Куда больше это искусство пауз. Когда каждый может побыть наедине с собою, с тем, о чем думает он.

Он видел ее лицо. Он не пытался уже воспринять ее как бы со стороны, как если бы видел впервые. Этот тонкий излом бро-

вей. Подвижный изгиб рта. Эта резкая линия скул. Как назвать то, что связывало их воедино? Пропорции? Внутренний ритм? Или, как говорят о художнике, почерк? Известно бессилие слова! Он опять вспомнил чашку в ее руке. Где-то там, где-то близко к тому, что почувствовал он, таился ответ. Но он ему не давался.

— Даже когда я выбираюсь со станции,— заговорила она,— я делаю это, наверное, чтобы раздвинуть пространство, пространство моего бытия.

Он кивнул. Он понимал это. И еще он понимал, что приближался тот миг, ради которого он и начал все это. Миг, когда он должен узнать, куда отправилась Оэра, точный уровень, сектор или квадрат.

Это не было просто — все, что воспроизводилось кристаллом, каждая сцена и каждое слово были расписаны и предначертаны. И стоило чему-то нарушить это течение, как это тотчас вызывало «эффект резонанса»: видимый мир, порожденный кристаллом, начинал изменяться непредсказуемо и неведомо как. Эффект этот мог затухнуть, а мог, наоборот, расширяться, не имея предела.

Оэра встала. Прошла вдоль стены. Медленно — туда. И еще медленнее — обратно. Миг приближался. Он ждал. Сейчас она вернется и сядет в кресло. Она вернулась и села в кресло. Сейчас она скажет эти слова. И она сказала:

— Я думала, говорить ли тебе. Говорить ли вообще. Мне кажется, вчера в Железных Скалах я видела Красный Шар...

«Красный Шар! Ты знаешь, что это? Ты слышала о Красном Шаре?» — так должен был бы воскликнуть он. Но сейчас вместо этого он спросил быстро:

— Где? Где ты его видела?

— Сектор «М».

Он успел заметить, как удивленно взметнулись у нее брови.

— Уровень? Уровень? — Анджей почти выкрикнул это. Но поздно. Она не успела ответить. Изменения произошли. Раздалось пронзительное шипение, пронесся свист, свет словно бы померк, и потолок осел вдруг почти на четверть.

— Уровень... — по инерции повторил он.

Но Оэра уже не слышала его. Ложечкой она помешивала чай, который был в чашке. Только теперь она уже не держала ее в руке. Сама рука ее, лишенная пальцев и кисти, завершалась теперь белой чашкой. Он не успел еще осознать, не успел принять этого, как увидел, что глаза у нее стали, как у римских статуй. Они были открыты, но их подернули бельма такого же цвета, что и лицо.

Он не удивился, не испугался. Он знал, что что-то произойдет. Может быть, это не худшее. Пока не самое худшее.

— Красный Шар? Но ведь экспедиция Хоупа...— Теперь Анджей пытался говорить так, как если бы ничего не случилось. Как если бы не было ничего.

Все-таки он узнал — сектор «М». Искать ее нужно будет в секторе «М». Правда, думать об этом сейчас было рано. Он должен еще продержаться. Он должен еще продержаться и выйти живым из этого зала. Отклонения, если они начались, никто не знает, в какие дебри могут зайти. Каким параноидным бредом могут стать и в какой кошмар обратиться. (Одна из ножек чайного столика согнулась и почесалась о другую привычным птичьим жестом. Чашки дрогнули, но не успели упасть — ножка вернулась на место, и все стало опять как было.)

Сколько еще оставалось — полчаса, час?

— Экспедиция Хоупа видела Шар только один раз...— произнес Анджей. Слово в слово, старательно он повторял то, что произнес тогда.

(В наружной стене вдруг прорезался глаз, налитый кровью и круглый, величиною с блюдце, и стал смотреть, подрагивая и мигая, на то, что происходило здесь.)

Анджей выждал паузу, когда Оэра должна была бы ответить ему, и продолжал так, как если бы она сделала это. Голос его не дрожал, он был почти спокоен. Конечно, все это малоприятно, но пока это не было страшно. Не хуже того, что ему пришлось пережить и видеть. Только бы Оэра сидела так, как она сидит, только бы не двигалась с места. Потому что призрак, фантом, вышедший из-под контроля,— это было то, что действительно страшно.

Он не заметил, как потолок вроде бы чуть поднялся. Стало как будто светлее. Отклонения, может быть, затухают? Может, все войдет еще в русло?

Рука у Оэры стала ее рукой, и в ней была теперь настоящая чашка. Только глаза ее по-прежнему были подернуты пленкой.

Анджей продолжал говорить то, что должен был произнести по ходу, радуясь, что постепенно все налаживается, все возвращается и становится так, как было.

Когда Оэра ответила ему наконец, голос ее не сразу стал таким, каким он был до этого. Но и это тоже скоро прошло. И разговор пошел как бы прежний, как тот, который должен был быть. Он не заметил даже, когда пленка ушла с ее глаз и Оэра во всем стала, как раньше. Казалось, стала, как раньше. Так можно было подумать.

Он не ожидал, не мог надеяться, что отклонения кончатся, исчерпают себя так быстро.

Как барс, изгнувшись всем телом, Оэра взглянула через

плечо на хронометр, качавшийся на стене. Как всегда — вверх и вниз. Вверх и вниз.

— Не пора ли мне? Не пора ли...

И заспешила. И стала прощаться, поглядывая на наружный туман, который едва плыл теперь, поднимаясь кверху.

Запись кончалась. Запись кончалась. Сейчас все должно было кончиться. Исчезнуть, распасться.

И тогда на последних минутах он все-таки решился. Решился спросить об уровне. И замер с безразличным лицом, ожидая ответа. Ожидая новых страшных каких-то перемен и сдвигов в эти оставшиеся мгновения. Но ничего не произошло. Ничего вроде бы не произошло от его слов, только брови опять удивленно взметнулись на узком ее лице.

— Уровень? — переспросила она. — Уровень... — И, перегнувшись, недоумевая, в упор посмотрела ему в глаза. Он опустил взгляд. Как если б и правда был неискренен в чем-то или лукавил.

Но впрочем, оно так и было.

— Ты поедешь со мною, — произнесла она вдруг и легко встала. — Я так хочу, так решила...

Это было в ее манере, в ее стиле.

Этого не было там в кристалле. В записи, которую он хранил.

Она направилась к двери.

Он знал, что псевдодвери не могли открываться. Но если бы даже открылись, за их проазлом, за ними не было ничего. Ничего, кроме части зала, в котором была пустота. Она приоткрыла дверь. И оглянулась, ожидая его взглядом. Он сделал шаг. Другой. Дверь за ними закрылась. Он узнал коридор из комнаты Оэры. И знакомые шесть ступеней, которые вели вниз.

— Забыла, забыла взять... — встрепенулась она и метнулась обратно. И тогда Анжей понял, как это произойдет. Она снова войдет в эти двери. И тогда-то и кончится запись. А он останется тут в коридоре. Хотя и трудно понять, почему оказался он здесь, а не в зале.

Но она не ушла. Махнула рукой, сказала:

— Не важно. Ну его.

И обернулась к нему:

— Ты невесел? Недоволен? Может, не хочешь идти со мною?

Он заставил себя улыбнуться. Взял ее за руку. Ощутил ее руку. Рука фантома. Фантома?

И пошел рядом с нею по коридору. Он шел, как всегда, справа. Чтобы не были видны шрамы. То место, где у него были шрамы на другой стороне лица.

Они сошли по ступеням. Они направлялись к шлюзам.

Плоская белая чечевица раскрыла бок, приняла их и сомкнулась снова. Потом створки шлюза медленно разошлись и желтое море поглотило амфибию.

Все было реально. Все было так, как если бы происходило на самом деле. Анджей крепко сжал свою руку другой рукой. Только чтобы почувствовать, что он это он. Что это по-настоящему.

Оэра включила обзор, и клубящаяся стена впереди пропала. Далеко у горизонта проступали зубчатые изломы Железных Скал.

— Красный Шар,— начал он,— говорят, что Хоуп...

Но она перебила его.

— Ты все-таки варвар. Только варвары думают, что женщина глупее их. Я знаю все. И о Хоупе. И о Красном Шаре.

Он все ждал, когда что-нибудь случится.

Но ничего не случилось.

— Где-то здесь,— повторяла она.— Где-то здесь. Близко.

Наконец это произошло. Действительно, в секторе «М». Под одной из ячеистых арок амфибию занесло и заклинило в расщелине намертво. Когда этого еще не случилось, за мгновение до того он успел подумать: «Вот оно!» Радуюсь глухо, как радуется человек, оказавшийся в чем-то правым. Даже когда он прав оказался в худшем.

Единственное, что знал он теперь, это то, что найдут их не скоро. Не раньше, чем через семнадцать часов. И то, если им повезет. Сигнал бедствия, тонкий писк радиозуммера, плыл по переходам, отражаясь многократно. Но тем двоим, что искали их, он знал, невозможно было найти то место, ту точку, откуда он исходил.

Когда же наконец их нашли, когда они выбрались и на буксире добрались до станции, он знал уже, что сделает в первую очередь.

Анджей потянул на себя квадрат полосатой двери, и она отворилась, массивная и стальная. Привычной рукой он нащупал в стене устройство. Он не удивился бы, если бы оно оказалось пусто. И правда, ему показалось, что там ничего нет. Но через мгновение кристалл, оплавленный и холодный, упал ему в руку.

УЧИТЕЛЬ

— Уйди, дурак!

— А еще кто?

Послышались два удара. Плач. Крик:

— Знаешь, кто ты?

— Скажи, скажи. Что, забоялась? Скажи, трусиха! Ну, говори!

Я на бегу свалил хрустальную вазу, и она красиво зазвенела и затенькала в разных местах комнаты.

— Говори, кто я! Горбун, да! Калека, да!

Град хлестких ударов сыпался на кого-то.

Я знал не только их силу, но и заряд злобы, знал, чего можно опасаться. Отшвырнув стопку книг и еще что-то, мешающее добраться до двери, ударил в нее плечом, не говоря ни слова, бросился к мальчику. Увидел острый горб и длинные цепкие руки...

Я никак не мог его удержать и стянул так, что он начал задыхаться. Только тогда драчун ощутил мое присутствие и прерипел:

— Пустите!..

Я молчал, сжимая его, и мне казалось, что держу звереныша. Стоит на мгновение отпустить — и он опять бросится на жертву. Я не мог оторвать взгляда от окровавленного лица девочки, которую он избил.

— Пусти...

Его тело обмякло, почти повисло в моих руках, и, сделав над собой усилие, я расслабил объятие, повернул его к себе лицом, заглянул в упрямые, сухие, бесцветные глаза.

— Девочку? Ты посмел бить девочку? Девочку, которая в два раза младше тебя?

Я никак не находил нужных слов. Ярость клокотала во мне, искала выход, и я несколько раз крепко встряхнул его, прежде чем овладел собой. Он стоял полузадохшийся, обессиленный, но не укрощенный.

— Пусть не дразнится. А то покажу... какой я... калека...

Я не объяснял ему, что девочка не называла его ни горбуном, ни калекой, что он все придумал, что сам назвал себя. Любые объяснения были бесполезны — в этом я уже не раз убеждался. Его перевели в мою группу, доверили мне, как самому выдержан-

ному из воспитателей, и всего за каких-нибудь три месяца он «перезоспитал» меня и превратил в неврастеника.

Сначала я еще держался, говорил себе: он не виноват, он калека, его замучили на операциях в клиниках, пытаюсь исправить легкие, сердце, позвоночник, железы... Он родился параликом — последнее звено в цепи деда-алкоголика и слабоумного отца, давшего ему словно в насмешку имя библейского красавца — Иосиф. Его вырвали из оков паралича, есть надежда, что удастся в будущем еще несколькими операциями исправить горб. Но как исправить его тулость? Его дикую злобу и к взрослым и к детям? Я пробовал вовлечь его в свой кружок рисования и лепки, но даже безмолвные изображения людей вызывали у него припадки ярости, и он в мое отсутствие нарочно портил холсты, разбивал гипсовые фигурки. Только животные не пробуждали у него злости. Заметив это, я поручил ему ухаживать за кроликами, но одного из них он сразу же изжарил на костре. На мои нравоучения ответил, устывая в землю и облизываясь: «Вкусно».

И даже после этого я все еще на что-то надеялся: так велика была моя самоуверенность. Я не хотел сдаваться, признаться себе, что тут нужны нечеловеческие нервы и терпение. Хотя бы для того, чтобы к длинному списку его жертв не присоединился еще и сведенный с ума воспитатель.

— Пошли! — крикнул я, волоча его за руку.

Я втащил Иосифа в кабинет директора. Выражение моего лица было достаточно красноречивым, и директор опустил голову.

— В специнт! — рявкнул я. — Умываю руки!

— Да, да, хорошо, дорогой, только успокойтесь, — директор подвинул мне стакан воды, и я его выпил залпом.

Воспитанник, смотревший на нас с откровенным любопытством, несколько приуныл. И его лицо, которое оживляла лишь злость, стало тупым и жалким.

В эту ночь мне было не до сна. Унижение, досада, сомнения не давали покоя. Подушка становилась горячей, и я переворачивал ее. В конце концов я начал видеть в темноте и обнаружил, что авторучка, которую безуспешно искал в течение трех дней, завалилась под кресло и блестела там, как таинственное око.

Я понял, что никакие усилия не помогут мне уснуть и, сбросив халат, резко щелкнув выключателем, пошел в свою мастерскую. Гипсовые слепки подозрительно уставились на меня пустыми глазницами, разноцветные лица смотрели с холстов. Здесь были сотни набросков, сотни лиц и выражений, схваченные на бумаге, на холсте, вылепленные в глине, пластмассе, вырезанные в камне. Так я пробовал создать тот единственный облик учи-

теля, на который детям достаточно было бы взглянуть, чтобы поверить ему.

Но у меня он получался или уродливым или слишком красивым, что, по сути, не так уж далеко одно от другого. Иногда мне казалось, что наконец-то кусочек чуда свершился: этот нос на рисунке — его нос, этот лоб — его лоб. Но как только я соединял их в портрете, мои надежды рушились. Я говорил себе: не будь ослом, ты поставил перед собой задачу, посильную лишь для большого мастера... Не помогало. Тогда я начинал хитрить: бедняга, как ты не понимаешь, задача вообще невыполнима, такого облика не может быть. Но так как я хитрил с самим собой, то тут же отвечал: он ведь возникает в моем воображении. Почему же я не смогу перенести его в материал?

Я смотрел последний набросок, еще вчера казавшийся почти удачным: часть лица, губы и подбородок... Но сегодня я не мог не спросить себя: а Иосиф поверил бы этим губам?..

Рассвет пришел как избавление. Одеваясь, я твердо сказал себе, что вчера поступил правильно, что в конце концов не мог поступить иначе, что ни один человек не вынесет Иосифа. Но идя по узкой дорожке через сад к зданию канцелярии, я все-таки жалел гнусного мальчишку. Я знал, что в специнте Иосифу будет неплохо. Просто он ни над кем не сможет издеваться. Там не бывает непослушных детей, вернее они становятся послушными. Иосиф попадет к воспитателю, которого уже не сможет вывести из себя. Против него будут нечеловеческие, нервы и нечеловеческое терпение. Ведь его воспитателем будет существо с восемью или десятью сигмальными системами, с органами Высшего Контроля. Я никогда не принадлежал к тем, кто ненавидел или боялся сигомов, этих сверхлюдей, созданных в лаборатории. Я видел их, и не только по телевизору, великанов и гениев с «прекрасными, волевыми, выразительными лицами героев», как писали газеты. Слишком прекрасными, слишком волевыми, слишком выразительными!

Для них трудилась вся планета, все мы: физиологи и химики, генетики и врачи, математики и инженеры, лучшие художники и скульпторы, создававшие формы носа, губ, скул, надбровий, лбов, плеч... Природа никогда так не старалась для нас. Что же, все правильно. Пусть сигомы теперь поблагодарят своих создателей, пусть потрудятся для нас. Они могут осваивать и колонизировать другие планеты, звездные системы, обогащать наши знания, пересылать на Землю сырье и энергию. Они могут даже лечить нас и оперировать — их колоссальная память, быстрота мышления и реакций, точные могучие руки позволят сделать это как нельзя лучше.

Но доверить им воспитание наших детей? И таких — самых трудных, легкоранимых, калеки?... Да, сигом может, как и всякий человек, прочесть «Слепого музыканта». Он может ужаснуться страданиям несчастного Квазимодо. Но он прочтет, ужаснется, посочувствует и забудет... Чужая рана останется чужой раной, чужая боль — чужой болью. Так бывает даже с обычными смертными, которые могут легко представить себя на месте калек. А сигом? Существо, которое безболезненно достраивает и перестраивает свой организм? Ведь это качество — главное, что дали сигомам мы в отличие от матери-природы, которая не дала этого нам. И оно же не позволит им ощутить всю глубину человеческой безысходности...

Иосиф и директор уже ждали меня, но не на посадочной площадке, а в кабинете. Я старался не замечать глаз директора, которые спрашивали: «Неужели мы сами не справимся с ним?» Директор испытующе проворковал:

— Ну что ж, дорогой, если вы решили окончательно...

— Окончательно, — сказал я, словно перерубил канат.

Он нажал кнопку вызова гравиплана...

Мы прошли на посадочную площадку. Иосиф всхлипывал и что-то жалобно бормотал. Но как только он понял, что ходу назад нет, бормотание перестало быть жалобным. Я различил его любимое словечко «гады».

Через полтора часа, оставив позади почти семь тысяч километров, мы приземлились на территории специального интерната для трудновоспитуемых детей. Нас встретили два мальчика, вопреки моему ожиданию два совершенно обычных мальчика, не слишком вышколенных и не слишком вежливых.

— Учитель сейчас на первой спортплощадке, — сказал один из них и кивнул на второго. — Он проводит вас.

— Меня зовут Родькой, — коротко представился провожатый и сразу же повел нас по тропинке на холм, густо поросший кустарником. Эскалатора здесь не было, и, пройдя с полкилометра, Иосиф сел на траву и сказал, что больше пешком не пойдет. Он, дескать, не верблюд. Я шагнул к нему, но меня опередил наш провожатый. Он наклонился и зашептал на ухо Иосифу:

— Брось. Здесь чего только не выделявали... По секрету говорю, не бузи. Сначала присмотришь, что к чему...

Нельзя сказать, чтобы с большой охотой, однако Иосиф встал и поплелся, стараясь держаться поближе к Родьке и подальше от меня. Но поскольку провожатый шагал размашисто, Иосифу пришлось тоже ускорить шаг. Не сразу я заметил, что Родька слегка хромает.

Кустарники закончились, начался лес. Над нашими головами пели птицы так заливисто, как никогда не поют они в городах. Невольно мы прислушивались к ним, даже Иосиф.

На опушке нам повстречался высокий мужчина, очевидно, лесник. На плече он нес топор и связку кольев.

— Здравствуйте,— поздоровался с ним Родька.

— Новенький? — кивнул лесник на Иосифа.

Родька весело подмигнул, и вслед нам прозвучало:

— Ни пуха ни пера!

Лес как-то незаметно перешел в парк. Все больше и больше дорожек, скамеек, площадки для игр, бассейны... На каналах встали радугами перекидные мостики.

Мы остановились на берегу канала. Напротив на спортплощадке играли в баскетбол ребята.

— А вот и учитель,— сказал Родька.

Стройный гигант в спортивном костюме легко перепрыгнул через канал и направился к нам. От удивления я отступил на шаг. Дело было не в том, что канал достигал в ширину не менее восьми метров — для любого сигама это был пустяк, но мне показалось... да, показалось, что я узнал гиганта, что видел его не раз и его гибкую фигуру, и походку, что мне знакомо каждое движение... Банальные слова разом хлынули в мою бедную голову: «кто прекрасно», «поразительно», «худесно»...

Я увидел его лицо, где даже вырез ноздрей убедил бы самого гордого скульптора, что тот попросту бездарен, и понял тщетность своих попыток создать облик учителя. Этого бы не смог, пожалуй, ни один из художников Земли. Кто же все-таки создал его?

Ведь именно он — учитель, созданный моим воображением, стоял перед нами, и Иосиф, не отрывая от него глаз, вдруг робко спросил:

— А я когда-нибудь смогу так прыгнуть?

— Сможешь,— сказал учитель, и противный мальчишка сразу же поверил ему.

Мне тут больше нечего было делать...

Не хочу врать, мне стало невесело. В моем лице был унижен не только художник, не только воспитатель...

Я повернулся, что-то буркнул на прощание и пошел обратно. А в голове, как путеводный луч, мерцал вопрос: кто же все-таки создал его? Кто создал этот облик? Лишь один человек мог бы мне ответить...

— Уже справились...

Я поднял взгляд. Передо мной стоял лесник.

Он заметил, что я расстроен, мягко проговорил:

— Не волнуйтесь, все будет в порядке. Вы его отец?

— Учитель,— ответил я, и улыбка сползла с его лица.

— Ничего не поделаешь,— проговорил он с некоторым вызовом.— И разве плохо, что человек может стать сильнее природы?

«Это не лесник»,— подумал я и спросил:

— Кто вы?

— Моя фамилия Штаден.

— Тот самый?

Он пожал плечами:

— Да.

«Философ и математик Борис Штаден, один из создателей сигомов, знаменитый, прославленный и т. д. Но что он здесь делает? Может быть... Неужели?... А почему бы нет?... Конечно, так ведь и должно быть!»

Я спросил:

— Учитель — ваше создание?

— Верно,— с плохо скрытой гордостью ответил он.

Я не хотел рассказывать Штадену о всех моих мучениях, безуспешных попытках. Я решил обойтись без предисловий:

— Видите ли, у меня есть один вопрос. Если не хотите, если это секрет, не отвечайте... Кто был художником и скульптором, кто создавал его облик?

Он замялся:

— Собственно, этот сигом создавался не так, как другие. Ведь он и предназначался для необычной цели. Я начал с посещения разных школ для детей-калек. Долго выяснял, какое самое заветное желание у слепого ребенка, и узнал, что он хотел бы стать художником и рисовать говорящий лес. «Рассказывают, что он зеленый»,— сказал мальчик,— а я знаю только, как он разговаривает. Я бы нарисовал его говорящим и зеленым». Хромой мечтал выступать в балете, глухой — писать музыку и услышать голос матери. Горбун хотел иметь фигуру гимнаста... Я спрашивал у паралитиков, у разных уродов... У каждого была своя мечта...

— Понимаю! — вырвалось у меня.— И вы создали его по детским мечтам!

Я смотрел на Штадена с восхищением, а он отвел глаза, отрицательно покачал головой:

— Это было бы слишком просто. Вы забыли о главном — сигом должен до конца понимать этих ребят...

Штаден помолчал, вспоминая что-то, вздохнул:

— Я создал его хромым, слепым, горбатым... Я дал ему только мощный разум и детские желания как первую программу. И он сам создал себя...

ЖИВОЕ

Все началось в тот день. Или кончилось. Скорее, кончилось.

Дождь был мелким, но упорным. Ветер теплым, но резким. Виктор чиркнул спичкой о коробок и поднес ее к сигарете, даже не подумав хотя бы заслонить рукой слабый огонек. И все-таки спичка потухла только после того, как кончик сигареты раскраснелся на ветру, осветив хмурое, твердое, скуластое лицо с крупным носом и ртом. Потом он положил спичку на ноготь большого пальца, щелкнул по ней ногтем указательного — спичка точно влетела в отверстие урна, пригнувшейся у стены метрах в пяти.

Я привычно проследила ее полет.

Мы шли рядом, наверное, уже в сотый раз, но я так и не могла привыкнуть к его уверенной власти над вещами. Или к тому, как ему подчинялись вещи. Вот и сейчас фонарь, к которому мы подошли, осветил берет с лихо торчащим хвостиком посередине, плащ, остававшийся глаженным и даже почти сухим, несмотря на дождь, брюки и ботинки, на которых не было следов мокрой глины, по которой мы шли, глины, почти целиком пэкрывшей мои туфли и наверняка лежащей влажными размытыми пятнами на чулках.

— Ты не должна ехать, — сказал он. — Не имеешь права.

— Но мне же нужно.

— Тебе нужно быть здесь, со мной.

— Это всего две недели, милый.

— Мне будет трудно. Вернее, не будет. Потому что ты не уедешь.

Как мне нравилась в нем эта категоричность. Когда-то. Человек, который всегда знает, чего он хочет! Редкость.

Борис так не мог. Когда Виктор в ресторане разбил нашу пару во время старомодного танца, Борис до того растерялся, что так и застыл посередине зала — огромный, сильный, беспомощный. Я тогда попыталась вырваться, но руки Виктора были такими же твердыми, как его лицо. Мне стало смешно. Борис, кроме всего прочего, был мастером по классической борьбе, и этот незнакомый худой парень не выстоял бы, кажется, против него и минуты. Быть причиной драки мне совсем не улыбалось! И я стала лихорадочно прикидывать, как успокоить Бориса. Такие, как он, еще в детстве привыкают к общему уважению, и тем легче

они таряются, встречаясь с дерзостью, и тем сильнее они вспыхивают э ответ на несправедливость.

Я нагнула голову и, глядя на длинные коричневые паркетинки пола, сказала своему названому партнеру, что устала. Надеюсь, он отпустит меня, и я успею перехватить надвигающегося Бориса, которому предстояло обойти несколько уже разделившихся пар.

Партнер остановился, но мои талию и руку не отпустил.

— Видите у стены кресло? Я занял его для вас.

Огромная лапа Бориса, которая умела быть такой ласковой, резко ухватила нагльца за плечо, оторвала от меня, развернула.

— Борис, не на...— крикнула я и не успела договорить. Виктор (тогда я, правда, еще не знала, как его зовут) чуть приподнял правую ногу и резко толкнул. И Борис вдруг рухнул наземь, потерянно взмахнул могучими руками.

Виктор нагнулся к нему и рывком поднял на ноги.

— Не надо со мной ссориться,— сказал он миролюбиво,— а то под тобой пол провалится.

И верно, у моих туфель валялась дощечка паркета, выбитая каблукон Виктора из-под ноги Бориса.

Борис растерялся второй раз. А его сбидчик взял нас обоих под руки, вывел из ресторанныго зала на лестничную площадку, вынул из кармана брюк (с такими стрелками, какие я видела только на манекенах) коробку сигарет. Щелкнул по ней пальцем — и точно три сигареты выскочили из пачки ровно на половину своей длины.

— Меня зовут Виктор.

— Я не курю,— сказала я.

Он щелкнул пачку сбоку, и из трех сигарет одна вернулась на прежнее место. Две другие не шелохнулись.

Борис неслушающимися пальцами взял сигарету.

— Я же тебя мизинцем... могу...

— Конечно,— согласился Виктор.— Но вот ты сейчас левой рукой за перила держишься. А вдруг они обвалятся?

Борис отдернул руку.

— Пол, здесь, конечно, бетонный, а не паркетный,— продолжал Виктор,— но ведь бетон крошится.

— Тьфу, черт,— чтобы не потерять лицо, Борису оставалось только рассмеяться,— ты что — волшебник?

— Да нет. Я всего лишь специалист по надежности. А главный постулат нашей науки гласит, что все, могущее сломаться и подвести, сломается и подведет. Как тебя подвел паркет, парень.

— При твоей помощи.

— Так всегда же найдется, кто поможет,— охотно согласился

этот нахал.— Что мне было делать? Ты бы меня в два счета побил, а это ресторан, тебя в милицию, девушке неприятности.

...Нет, о драке теперь, слава Богу, не могло быть и речи.

— И тебя тоже вещи подводят?

— Только не меня, дорогой товарищ. Меня они слушаются.

— И люди тоже? — Это спросила уже я.

— Когда как. Но знаете, один мой товарищ по детскому саду гваррил, что бывают вещи, как люди, а бывают вещи сильнее людей.

— Спасибо за заботу.— Борис решил стать ироничным, тем более что его физическое превосходство было так безоговорочно признано.— Но теперь нам лора, Леночка. Кофе, наверное, уже принесли. Прошу нас извинить, Виктор.

— Пожалуйста. Но вы разрешите, Лена, потом проводить вас домой? Разумеется, я никак не возражаю и против такого попутчика, как Борис.

Борис рассмеялся. Он был, в общем, добродушен и оценил ситуацию как смешную.

Он ошибся.

Через месяц он все-таки попытался поговорить с Виктором по-мужски — до двенадцати дожидался у моего подъезда нашего возвращения после театра и неспешной прогулки.

Мы ели апельсины, а корки Виктор нес в руке — до ближайшей урны, как он думал.

Борис поскользнулся на корке и рассек себе голову. Виктор отвез его на такси в ближайший травматологический пункт.

Мама не могла нарадоваться. Бетонная стенка на кухне, на которой мой брат поломал столько лучших сверл от электродрели, принимала на себя под молотком Виктора обыкновеннейшие гвозди. Правда, сначала он минут пять простукивал эту стену, определяя, куда именно надо их забивать.

Беспокойная наша дверь, из которой регулярно вываливался замок, угомонилась и даже перестала скрипеть. Старинный столик приобрел такой вид, что папа и сам не верил уже, что купил его в комиссионном за ляртерку.

Я не успела даже понять, как случилось, что его слово стало значить в нашем доме больше, чем общее мнение всех остальных. Он ведь всегда знал, чего хотел, а если я хотела чего-то другого, то, наверное, знала это хуже. Он мог, конечно, уступить, но...

Я знала, что от нашего дома в Ботанический сад удобнее ехать на метро до Выставки, чтобы там пересест в троллейбус. Дорога заняла сорок минут. На обратном пути мы сели в троллейбус, который шел к метро «Проспект Мира». Я не возражала.

Знала, что мы потеряем лишние минут десять и заранее радовалась, авось такая мелочь научит его быть чуточку менее самоуверенным. Но я еще никогда не ездила на троллейбусе с такой скоростью. Медлительная обычно «девятка» мчалась так, будто взялась соревноваться по крайней мере с такси, водитель которого гонит невыполненный план. Не понимаю, что смотрели милиционеры по дороге.

— Как ты это делаешь? — спросила я его уже в метро. — Гипнотизер ты, что ли?

— Разве троллейбус не вещь? — спросил он довольно. — А вещи, Ленка, я чувствую.

— Скорость троллейбуса зависит от водителя?

— Разве?

Вот и поговори с ним.

Но в командировку мне надо. На таганрогском заводе делали станок по разрабатывавшейся нашим отделом схеме. Два узла там были мои. И общую компоновку тоже я делала. Кому же было ехать?

Мне даже хотелось поехать, хоть и знала я, как буду скучать по этому упрямому дурачку. Свадьба у нас в конце концов только через полтора месяца, успеем подготовиться.

— Ты не поедешь?

— Поеду, правда, еще не решила, может быть, и полечу.

— Не поедешь.

— Самолет испортится? Или рельсы сами собой разберутся? С тебя станется, товарищ волшебник...

— Что для тебя важнее — наша жизнь или эта поездка?

— Наша жизнь! — Я протянула руку к его лбу, щеке, подбородку. Но лицо Виктора осталось твердым даже под моими пальцами.

Я не поехала. Но с этого дня... С этого дня... Нет, я все еще любила его. Да не все еще. Просто любила. Люблю. Но теперь его уверенность во всем, что он делал, раздражала меня. Он как раз стал начальником отдела в своем НИИ, получил премию за книгу по специальности. Его способность подчинять себе вещи нещадно эксплуатировало институтское начальство: он готовил все выставки, проверял экспонаты и прочее, но это при его умении отнимало так поразительно мало времени, что и оставшихся 6 часов на работе с лихвой хватало на дело плюс изготовление великолепных таблиц для моего доклада о работе над станком...

А я стала капризничать. Он покупал билеты в театр — я говорила, что мы слишком долго не дышали свежим воздухом, надо погулять. Он снисходительно улыбался и сообщал, что сейчас пойдет дождь. Уж больно сегодняшние облака ненадежны.

Только однажды мне удалось решительно отказаться от поездки к его приятелю — потому мы и появились у того почти на целый час позднее остальных гостей.

...Знаете цветочный базарчик у метро ВДНХ? Там даже в Марта можно найти неплохие цветы. А в этот июньский день цветоз здесь было навалом. Он хотел, чтобы я сама выбрала себе букет.

Всеми оттенками белого, синего и фиолетового переливались пирамидки флоксов. Розы торжественно демонстрировали свои совершенные линии. Полевые гвоздички светились сквозь полиэтилен. А я не могла налюбоваться пионами. Пионами, которые раньше не очень любила. Они раздражали меня беспорядком своих как будто независящих друг от друга лепестков — так могла бы раздражать девушка в красивом, но неглаженном платье, да еще с неровно обрезанным подолом. А сегодня мне именно это легкомысленное отношение к собственной красоте в них и нравилось. Этакие оборванцы в шелке и бархате, бесчинно прекрасные в своей недисциплинированной роскоши.

— Вот это.

— Ну что ты! — почти брезгливо удивился он. — Никакой же гармонии. То ли дело розы, Ленка! Посмотри, великолепие ж! — И протянул продавщице пятерку.

Я молча достала из кошелька два тяжелых металлических кружка.

— Зачем? Меня в таких случаях надо слушаться. Ты же знаешь, я разбираюсь в вещах. Эти пионы завтра же завянут, кроме всего прочего.

— Ты разбираешься в вещах. А цветы — живые. Живые.

Пионы мягко приняли мое лицо. Я не хотела, чтобы он его сейчас видел.

— Бунт на корабле? — Он очень удивился. — Ну но надо. Ты же знаешь, меня надо слушаться.

Что-то еле заметно дотронулось до моей руки. Крошечный черный паучок, подвешенный к белоснежной нити, присел отдохнуть.

Виктор протянул руку. Щелк — и паучка больше не было.

Я пошла к станции метро. Передо мной словно сами распахивались тяжелые полупрозрачные двери вестибюля, вспыхивал зеленый свет в глазке монетного автомата, плавно несла меня ребристая лестница эскалатора, на платформе встретили распахнутую дверь только что подкатившего пустого поезда.

Виктор шел сзади, потом стоял ступенькой ниже, повернувшись ко мне лицом, на бегущей лестнице, потом сидел рядом. Он говорил, говорил, говорил. А я вспоминала картину, которую

мне подарила подруга в детстве, картину, которую он собственными руками снял со стены в моей комнате. Наверное, она действительно плохая. Но Галка-то, Галка-то хорошая. А я ее работу не отстояла.

Вспоминала, как он отдал соседскому мальчишке билеты на «Фантомаса», которые я для нас купила. Ну плохой у меня вкус, но ведь он мой.

А про Таганрог Валя, вернувшись из командировки, столько рассказывала...

— Не удалась нам, Витенька, суббота. Очень болит голова. Чувствую, надо прилечь,— сказала я у подъезда.

— Конечно. Смотри всерьез не заболей. Позвоню завтра в десять.

...Может, эти цветы лучше смотрелись бы в пристенной вазочке. Да вот гвоздь в стену сейчас некому вбить. Ничего, постоят в обычной вазочке на подоконнике. Не велики бары.

В воскресенье в десять утра я не стала снимать телефонную трубку. Сегодня четверг. Пионы не завяли.

МИХАИЛ КРИВИЧ,
ОЛЬГЕРТ ОЛЬГИН

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

За бронированной стеной подземного коридора тихо жуужжали колонны синтеза. Каждые три минуты — хоть проверь часы — конструктор сотрясал грохот: свежая партия нефти низагергалась в хранилище.

Мастер приоткрыл базальтовую дверь своего кабинета и, склонив набек голову-треуголку, прислушался к ровному гулу. «Надо бы сделать профилактику», — подумал он. Но этим займется уже его сменщик, который, должно быть, сидит сейчас в мягком кресле на борту «Пришельца-154» и листает руководство по черному и белому синтезу. Отличная книга! А вторая ее глава «Способы обеспечения незаметности при изготовлении в земных условиях вязких горючих жидкостей» не уступит хорошей детективной поэме...

Из динамика раздался мелодичный хруст: начиналась диспетчерская. Шеф, как всегда, запросил сначала группу реализации. Выслушав сводку суточного сбыта, он распорядился:

© Издательство «Знание», 1979 г.
© М. Кривич, О. Ольгин, 1991 г.

— Снимите часть с каспийского шельфа и подкиньте на сервер — им надо выполнять повышенные обязательства. И не забудьте о Венесуэле, у них запасы на исходе. Группа синтеза, что у вас?

— Претензии к группе сырья, — ответил Мастер. — Гонят сплошную серу, очищать не успеваю. Так мы им всю атмосферу погубим... Сернистый газ и все такое...

— Претензию записал, — сказал Шеф и включил группу удовлетворения разведки.

— За сутки, — сообщил радостный голос, — они прошли в общей сложности аж 13 545 метров. Восемь скважин достигли пятикилометровой отметки. Разрешите подать им нефть?

— Не горячитесь, — сказал Шеф. — Пусть еще денек посверлят. А там подавай, только понемногу, как в инструкции сказано.

Все шло обычным чередом. Кто-то никак не мог вырвать у снабженцев давно разнаряженный газовый конденсат, неразборный диспетчер заслал в Африку бурый уголь вместо каменного, на восьмом участке перестарались и чуть было не погнали в скважину чистейший керосин двойной ректификации...

Мастер выключил селектор и занялся текущими делами. Лишь к полудню он смог наконец разогнуть спину. «Сейчас бы горяченького», — подумал Мастер, и в ту же минуту, будто получив телепатический сигнал (что совершенно невозможно в этих катакомбах), в кабинет вошел Калькулятор с дымящейся чашечкой на подносе. Мастер откровенно симпатизировал этому парню: помимо умения выполнять в уме все девять действий арифметики, он обладал еще качеством, бесценным в длительных командировках, — бесподобно заваривал хину.

Прихлебывая бодрящий напиток, Мастер любовался ладной, изящно расширенной в талии фигурой юноши. «А я вот старею, худею, — думал он. — В такой суете разве за талией уследишь...». Как будто для того, чтобы подтвердить горькую правду о суете, зажегся сигнал срочного вызова, торопливый голос объяснил Мастеру, что на экспериментальной колонии близ Кракатау сорвало заглушку и пары полезли наружу, пугая местное население. Такое случалось уже не впервые: колонны серии ВВВ-С, установленные на Японских островах, в Исландии и еще где-то, время от времени барахлили и ломались, а выработку давали чепуховую, кот заплакал, стыдно людям показать.

Мастер послал на Кракатау двух техников по герметизации, а также агента тайной службы, отвечающего за маскировку объектов, и в ожидании известий попросил Калькулятора приготовить еще чашку напитка.

— Я давно хочу спросить у вас, Мастер, — сказал юноша, на-

ливая заварку,— но все не решаюсь. Во что обходится вся эта филантропия и зачем она понадобилась? Проку-то с этого мы никакого не имеем. Они и в пришельцев не верят...

— Конечно, мальчик. В пришельцев они верить не хотят. Можно украсть у них из-под носа целый остров, чуть ли не материк, а им кажется, что так и надо: ты же знаешь эту историю с Атлантидой. А если завтра мы с тобой по всем правилам опустим под воду Австралию, знаешь, о чем они начнут спорить? О том, была ли она вообще! Но мы же здесь сидим не ради благодарности...

— А ради чего?

— Солидарность — вот в чем дело. Собратья по разуму и так далее. Нельзя же оставить их совсем без энергии. Когда они еще доберутся до контролируемого термоядерного синтеза... А пока приходится варить им всякое горючее, на любой вкус — потверже и пожире. И обходится нам это ежемесячно в пять миллионов звонких балабусиков. Зато когда они собираются на свои конгрессы и начинают спорить, откуда взялась нефть,— это стоит послушать. За такое удовольствие не жалко платить и больше...

— Возможно, это и так, Мастер,— сказал юноша.— Но главного-то вы мне так и не сказали: а зачем им вообще эта дурацкая энергия?

— Видишь ли, мальчик, эти славные существа, к которым мы все так расположены, Бог весть когда придумали ужасную штуку и до сих пор в нее верят. Они вбили себе в голову, что вечного двигателя построить нельзя!

— Не может быть,— сказал юноша.

ЭРНЕСТ МАРИНИН

ТЕТЕ ПЛОХО, ВЫЕЗЖАЙ!

Саврасову досталось неудобное кресло — спинка не откидывалась. И лицом против хода. Это действовало на нервы, и без того напряженные. За окном неслась мокрая ночь, чиркая дождем наискосок по стеклу. Время от времени поезд сбавлял ход, проплывали мимо высокие пригородные платформы с рябыми от ветра лужами под сиреневыми ртутными лампами на столбах. Потом платформы стали низкими — сюда уже не добежали от Москвы

© Издательство «Знание», 1979 г.

© Эрнест Маринин, 1991 г.

электрички. В Стогове поезд остановился на минуту. Захлопали двери, потянулись по проходу в поисках свободных мест лохматые парни в блестящих куртках под кожу, мужики постарше в синих тяжелых плащах, бабы в мокрых болоньях, с затянутыми мешковинной и выцветшим ситчиком плетеными корзинами... Лязгнули буфера, вагон качнуло, плеснулась скопившаяся в выщербленной оконной раме вода, сбегала прерывистой стружкой по темному линкрусту...

Сноза заскользила в окне сырая тьма. Саврасов подумал, что все равно не уснет, и вытащил из портфеля книгу. Но после Паромного свет погасили. Вагон засыпал, стало тише. Только из угла доносился бубнящий басок, прерываемый иногда тихим кокетливым смехом — там сверхсрочник-музыкант обхаживал щекостую девочку с мокрыми, распушенными по моде русыми волосами. Они сошли на станции со старинным названием Никонова Пустынь. В соседнем кресле неровно посапывал простуженный старик в мокром польском плаще с погончиками. На остановках он просыпался, шмыгал носом, настороженно поглядывал в окно и снова засыпал...

Беспокойство не отпускало Саврасова, и от этого ему становилось еще тревожнее — нужно было расслабиться и заснуть, чтобы завтра быть свежим, в форме, иначе вся поездка теряла смысл. Он закрыл глаза и сосредоточился. В темноте вспыхивали неяркие круги желтого света. Они постепенно меркли по краям, стягивались в тусклую точку и исчезали, чтобы через некоторое время появиться снова. Их ритмичное мерцание замедлялось, потом оно совсем угасло. Стук колес стал глухим и неслышным, вагон перестало качать, и тут Саврасов увидел перед собой загороженную газетой настольную лампу, желтый свет которой падал на волосы и лицо Ольги. Ольга в старом синем платье и косынке спала, сидя на стуле, откинувшись на высокую спинку. Ее усталые руки расслабленно лежали ладонями кверху на коленях. В сознании вдруг возникло: «Чай, Олюшка опять калитку на заvertку закрыла, как же Анатолий войдет-то, не по годом уж ему через забор лазать, да и грузен, поостережется... А потом с облегчением подумалось: «Небось озаботился, ножик свой припас, отвернет через щелочку заvertку...

Саврасов заснул улыбаясь.

Утро было прохладное и чистое. Солнце еще не взошло, сиреневый рассвет растекался по небу, высоко над головой висел щербатый блеклый месяц. Поезд, выгнувшись влево, огибал поросший сосняком холм. Проплыл большой бурый валун на склоне, холм сполз в затянутый туманом старый торфяник, над дальним

лесом закрубился мазутный густой дым — дымила старинная Чаявская мануфактура.

Саврасов вышел в тамбур. Чуть позже, когда поезд уже начал прыгать по стрелкам, появилась зевающая проводница.

— Чаево, — сообщила она, раскатив круглое и большое, как бочка, «О».

— Чай, оно, — в тон отозвался Саврасов. Короткий сон освежил его, он ощущал легкость и уверенность.

Тетка жила недалеко. Пять минут по короткой Вокзальной со стандартными пятитазжками, потом налево на старую Шестаковскую — пятнадцать минут ровным шагом.

Давно уже он здесь не был — четыре года. В тот раз тетю Глашу крепко прихватило сердце. Что ж удивительного — пятьдесят семь лет. Не старость еще, но и не мало. Два года тому, как стукнуло ей пятьдесят пять, вышла тетка на пенсию, бросила прядильню, где оттрубила тридцать годочков ровно, и укатила в Ташкент, к дочери своей Татьяне. Прожила там год с лишним — в новой хорошей квартире, в Чиланзаре. Няничалась с внучатами — Вовка-то уже в садик пошел, а Милочке только-только шесть месяцев сравнялось. Все б ничего, да не шибко ладила она с Николаем, зятем. И то поначалу хорошо шло, да потом мать Николаева вмешиваться стала. А чего бы ей, спрашивается, живет себе отдельно, в гости ходит; погостевала, чаю подила, про цены на урюк потолковала ну и здорова будь, матушка. Да не по вкусу ей, что Глафира не молчит, на Николая покрикивает, зачем, дескать, выпивает. А Глафире как же молчать, чай, не чужая, Татьяна ей дочь родная да и внучата... В дом много всего надо. А Николай — что говорить, зарабатывает он прилично, шофер на автобусе, зарплата ему хорошая идет да и сверх того... Но выпивать же зачем? Тем более Татьяну лупить. Она, конечно, баба норовистая выросла, но не гуляет ведь — за что ж лупить? Словом, не заладилось у Глафиры в Ташкенте, собралась она у дочки из хозяйственных денег одолжила на самолет — и домой. Хорошо Ольгу не послушала. Та толковала, дескать, продай избу, зачем она тебе, старость не за горами, так с Таней и дотянешь, внучат растить будешь, а в старости и они — дочь да внуки — тебе опорой станут. Однако Глафире избу не продала — вот и пригодилась в трудный момент жизни. Вернулась в Чаево, снова работать пошла — не в прядильню уж, где в ее годы меж веретен мотаться, — в контору, вахтершей при телефоне. Сильно, однако, переживала, вот они, переживания, и дали себя знать — прикрутило сердце, совсем помирать собралась. Слава Богу, вовремя Анатолий подоспел, выходил...

Саврасов поймал себя на том, что думает теткиними поня-

тиями и образами. Усмехнулся. У актеров это называется входить в образ. Что ж, ему это нужнее, чем актеру. Тот в крайнем случае может всю жизнь себя самого играть. Если человек не пустой, даже интересно будет в определенной мере. А у него работа начинается только после того, как войдет в образ. Иначе не может. Другие обходятся, говорят, Саврасов мудрствует, главное — вовремя вторгнуться в психопластику организма, решительно пресечь болезненные процессы, наладить генерацию здоровых ритмов. Верно, но все это потом, это уже вторая стадия, чистая техника. А раньше надо найти эти здоровые ритмы, поймать собственные частоты организма, чтобы навязанные извне, врачом, вынужденные колебания попали в резонанс. А иначе «получалось», как если бы, скажем, человеку с сороковым размером ноги пересадили вместо отрезанной трамваем ногу сороч второго размера. Даже если в остальном попал хирург в точку — не пришел вторую левую ногу и длину правильно выбрал, все равно человек нормально ходить не сможет. У правой и левой ног будут разные моменты инерции, а потому разные собственные частоты колебаний. Человек будет все время уставать. Вот так и с внутренними органами, только несравненно сложнее... Конечно, ему самому не раз приходилось работать наспех — несчастный случай, больной в шоке, до смерти минуты, тут не до чистоты, главное — запустить организм, включить его, заставить работать. Зато потом — месяцы «оживания в образе», подбора оптимальных частот, многократные психокинетические воздействия... В технике это называют селективной сборкой — для каждого узла подбирают самую подходящую деталь, из десятков почти одинаковых. А ведь там детали изготовляют по одному чертежу, со строгими допусками — и то о полной взаимозаменяемости говорить не приходится. А здесь — человек...

Хватит. Надо успокоиться. Вот уже видна осина у теткинских ворот. Через пять минут придется работать. Долой все посторонние мысли. Сейчас они — помеха.

Саврасов остановился у калитки. Тронул рычажок щеколды, калитка, скрипнув, отворилась. Молодец, Ольга, не повернула заворотку. Улыбнулся. Тетя Глаша, душа беспокойная... Ладно. Хватит. Я спокоен, уверен, бодр. Я готов к работе.

Он прошел от калитки к крыльцу по выложенной из толстых сосновых плах дорожке, мельком оглядел дворик. Пустые грядки сбегали к забору, ежился в утренней прохладе малинник с облетевшей листвой. Кадка слева от крыльца, старая, зеленая внутри, полна до краев. И здесь вчера шел дождь...

Дверь в сени была не заперта. Она открылась без скрипа —

одна на весь дом такая. Был, правда, и у нее свой голос. Даже не голос, а так, шепот тихий, задушевный...

Он снял волглый после вчерашнего дождя плащ, повесил на деревянный колышек, вбитый в щель между бревнами. Заметил, что передняя стенка сеней вот-вот завалится — уже засветилось в углу. И отогнал эту мысль. Потом, все потом. После. Вот если б Ольга догадалась и внутреннюю дверь не закрывать на крючок. Впрочем, догадалась — не то слово. Если б закрыла, можно бы сказать «догадалась». Баба она безалаберная, бесхитростная, всю жизнь все у ней нараспашку: и изба, и душа. Оттого и векует напару с Марьяшкой своей толстомясой, такой же дурехой, как маманя...

Саврасов улыбнулся. Это что же, тетка не спит? Или, может, стены тут ее духом да мыслями пропитались? Или просто рефлекс собственной памяти?.. Так, с улыбкой, и вошел в избу.

Все было, как в давешнем сне. Горела настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром, заслоненная газетой «Путь Октября», под лампой на вязаной крючком салфетке — алюминиевый патрончик с валидолом, пузырек валерьянки, стакан граненый с водой... Возле стола — стул с высокой деревянной спинкой, только Ольга перебралась со стула на диванчик. Сопела, уткнувшись носом в обтянутый тканью валик, натянув на ухо серый теплый платок, подвернув по-детски коленки. Снилось Ольге, что стоит она, молодая, стройная, на высоком чистом крыльце своей избы, стоит, завернувшись в шаль, локоны подвитые на щеку спадают, ветерок их шевелит, и уж такая она румяная да красивая, улыбка у ней на лице спокойная, уверенная, знает, Иван сегодня с полочки выпил, Альбина-ведьма его в дом не пустит, некуда ему деваться, придет, обязательно придет он нынче к Ольге...

Саврасов поморщился. Мешает... Склонился к Ольге, рукой по голове погладил, вторую на лоб положил. Повернулась Ольга поудобнее, задышала ровно, бесшумно, в черный теплый сон ушла... Саврасов заблокировал ее и повернулся к тетке.

Глафира Алексеевна спала беспокойно. Дыхание прерывалось иногда стонущим всхлипом, судорожно подергивались руки. Господи, что с нею стало! Кожа рук совсем старческая, сухая, чешуйчатая, ввалилась между резко выступившими жилами — синими и фиолетовыми, покрылась бурыми пятнами. В слабом свете затененной лампы пролегли по исхудалым предплечьям темные ложбины между костями и дряблыми мышцами. Черными ямами ввалились глаза и рот. Залегли под глазами желто-синие мешки...

Саврасов стиснул зубы и глотнул слюну. Долой эмоции! Они сейчас — враги. Он — прибор, железо, медь, транзисторы. Он не смотрит — регистрирует. Хорошо, что пациент отлично знаком, что

не нужна томительная начальная стадия, расспросы, выяснения, перекрестные вопросы для контроля искренности и безошибочности воспоминаний. Голова и руки помнят все предыдущие состояния, стадии перестройки организма, эту подысторию человека, которая так разительно отличается от фактов биографии и так тесно сплетена с ними... Он задержал дыхание и легко опустил ладони на влажный от испарины лоб больной. Закрыв глаза и усилием воли вызвал знакомое напряжение в лобной части своего мозга. Прежде всего закрепить сон и выровнять дыхание. Снять боль — ее фон забивает ритмы органов. Это заняло минут десять. Пальцы как будто отделились, стали чужими, вернее, самостоятельными, не подчиняются контролю. Хорошо, пусть сами, мозг сейчас только сбивает. Вот возникло в подушечках ощущение миллионов крошечных игл как в ноге, когда отсидишь... Он встал в чужое тело, с каждой минутой все полнее воспринимал его.

Обследование заняло около часа. Саврасов не мог бы полностью, в деталях, описать свои ощущения, но главное отфильтровалось — множественные мелкие изменения во всех органах, не страшные сами по себе, но ясно говорящие о болезни. Следующий этап — локализация. Пальцы его заскользили по рукам, вдоль тела, приостановились в подреберье... желудок, печень... нет, здесь нет, снова к голове. Шире раздвинуть пальцы, нужна стереоскопичность. Вот оно! В левом полушарии прощупывалась уплотненная ткань. Опухоль... пока небольшая, с вишневую косточку, еще четко ограниченная, неразмытая... успел, на этот раз успел... но что это? Кто мешает?... Ольга просыпается? Да, тебе пора на смену, беги, быстро, потом проснешься, во дворе, ну!.. Ушла...

Он расслабился и перевел дух. Пять минут паузы. Полностью отключиться... Мир взвихрился и исчез в черном провале. Податливая блестящая чернота... Тьма.

Через пять минут проснулось сознание и пробудило тело. Стоп. Все — не нужно. Главное — руки. Включить все нервы. Давление — двести. Вывести все контуры на резонансные частоты. Кожный потенциал — на максимум. Начали!

Первый импульс — в четверть силы, пристрелочный. Попадание. Теперь можно сильнее. Еще, еще! Он не знал, что это — ультразвуки, сверхвысокие частоты, волны гравитации, но разве важно, что это? Оно работает — плавно нарастает частота импульсов, пальцы ищут резонанс, еще чуть выше — нет, много, назад, вот он! А теперь — всю мощность, слева и справа со сдвигом по фазе на полупериод... Поверхность уплотнения начала оживать, пора подключать кровь. Плотнее блок сознания пациента, взять

управление сердцем на себя, наращивать амплитуду... Ничего, хорошее сердце, для него это не перегрузка, мощней толчки, удары, так, так, так... В опухоли резонансные колебания, размахи закрыточные, разрываются клеточные оболочки, турбулентные вихри в плазме рвут ядра, лейкоциты подхватывают обломки, уносят дальше, дальше, к фильтрам. Теперь выводить на предельные режимы все — спинной мозг, костный мозг, селезенку, печень, почки... Опухоль уменьшается, меняется ее собственная частота, быстро варьировать импульсы, не упускать резонансы... Усилить дыхание — телу нужен повышенный приток энергии... Хватит, там уже месиво, беспорядочная толча, это лишь мешает лейкоцитам... Плавно выводить амплитуду до нуля... Сердцу тяжело — помочь, бегущую волну — на сосуды. Тормозят известковые отложения — ничего, сейчас они затрещат, чуть больше размахи, вот так, начисто можно потом, завтра, а сейчас только самые крупные бляшки, расколоть их, изломать, пусть работают, как абразив, наложить ультразвук... Хорошо, можно понемногу отключаться, только поддерживать поток крови, это уже ерунда, это можно и во сне, только не сбивать ритм, просто поддерживать, а самому спать, спать, пусть работает сторож в мозгу, пальцы на запястье, вполне достаточно, а я посплю, утомительное это все-таки дело — знахарство...

Так он и заснул, улыбаясь слегка тому, что он молодец, хотя и простой малограмотный знахарь со степенью...

В пятом часу прибежала Ольга прямо с мануфактуры, не заходя домой. Саврасов отложил топор и распрямился.

— Здорово, сестрица! — сказал он, старательно напирая на «о».

— Здравствуй, Толик! — засмушалась Ольга. Отвыкла все-таки. Столько лет вместе, выросли в одной семье, тетю Глошу маманей звали (хоть ни ему, ни ей даже и не родня она — в войну взяла сирот), да и потом, когда взрослыми стали, связь не теряли, а все же смущается. Смешная. Как будто профессорское звание и вправду занесло названного брата в заоблачные выси. Господи, когда же отучится наш народ от слепого чинопочитания!.. А может, права она? Может, и я в самом деле так отделился? Да нет, ерунда. Вот и тетка заметила, смеется.

— Что это ты, Олюшка? Глянь, зарделась как — чисто невеста!

— Да ну вас! — в сердцах крикнула Ольга, рукой махнула и сама рассмеялась. — Ну, отвыкла малость, вот и смущаюсь. Да и не смущаюсь вовсе, просто рада! Ой, маманюшка, а ты что ж это вскочила? Докторша лежать велела, покой тебе нужен!

— Да что мне докторша-то? Вишь, придворный лекарь мой прибыл, он лучше знает, что мне нужно — покой ли, беспокой-

ство или еще что. Да и за ним приглядеть надо, чтоб ногу себе не оттаял, по сучкам тюкаючи. Чай, как профессором заделался, так вовсе дрова колоть разучился, ему, небось, доценты да ассистенты колют. А как сам ради гимнастики порубить дровишек удумает, так ему топор медсестрица-блондиночка подает, в намордничке белом, верно, Анатолий Максимыч!..

Ольга — вся удивление: рот распахнула что твои ворота, глазницы и того шире, руками разводит, плечами пожимает.

— Ну Толик, ну чудодей! Мигом излечил! Да ведь она уж и ехидничать начала, маманюшка наша! Примета верная, теперь десять лет здоровая будет! Слушай, ты б и надо мной пошептал, а то больно часто сердце заходиться стало...

— Олюшка,— запела Глафира Алексеевна,— да оно у тебя с пятнадцати годков заходится, ну каждый просто раз заходится, как мужика ближе ста метров завидишь!

Но Ольга на шутку не отозвалась. Саврасов взглянул на нее внимательно, нахмурился.

— Да, Оленька, вижу. Послушаю тебя вечером. Часам к восьми приходи. И Марьшшу захвати. Давно я ее не видел, надо бы поглядеть уж.

Ольга, подхватив авоську с батонами, пакетами и банкой салаки в томате, убежала за калитку. Саврасов поднял топор, выбрал из груды чурбачок посимпатичней, начал умащивать стоймя на колоде. Тетка привстала.

— Как ставишь, профессор?! Погляди, другой же стороной нужно...

Со звоном летели в стороны поленья, снова и снова поднимался топор и, ускоряясь, падал, росла горка дров...

Его отвлек посторонний звук. Он выпрямился, утирая пот со лба, и посмотрел в сторону улицы. В распахнутой калитке стояла, замерев на мгновение, незнакомая женщина — среднего роста, худощавая, волосы черные, гладкие. Светлый плащ, кофейная сумка. Поглядела на него с недоумением, сдвинула брови, решительно пошла к крыльцу. Простучала твердыми каблукками по дорожке, по ступенькам крыльца, потянулась к ручке двери.

— А вы к кому? — спросил Саврасов.

— К больной. Я — районный врач.

— А больной там нет.

— То есть как нет? Что, неужели «скорая»?.. — На ее лице появилась искренняя тревога. — Надо же было мне сразу сообщить, она ведь нетранспортабельна!

— Да вы успокойтесь,— Саврасов улыбнулся. Ему как-то вдруг понравилась эта женщина — тревога сразу изменила ее лицо, на мгновение сквозь профессиональную строгость и деловитость

проглянуло совсем детское волнение.— Не волнуйтесь, она где-то здесь, у дома.

— Да как же вы... Кто разрешил? Она тяжелая, ей нужен покой!

— Это я разрешил, коллега...

— Коллега? Вы что, тоже врач? А почему я вас не знаю?

Саврасов понял, что пора представиться по-настоящему. Перечислил свои титулы, объяснил, что больная ему приходится близкой родственницей, что он пользуется ее достаточно давно, а потому счел возможным отменить постельный режим, тем более что в состоянии больной произошли изменения к лучшему благодаря своевременным мерам лечения. Однако докторшу его титулы не успокоили, более того, почему-то настроили враждебно.

— Простите,— протянула она,— уж не тот ли вы доктор Саврасов, о котором была статья в «Медицинской газете»? С год тому назад.

— Вы имеете в виду статью «Знахарство в степени»? Тот самый. Знахарь и шарлатан. Только, осмелюсь сообщить, высокочтимый автор статьи своих безнадежных больных выписывает из клиники, чтоб не портили благополучную статистику, а ваш покорный слуга и иже с ним их принимают и лечат! И спасаем многих! Кого не успел угробить высокочтимый...— Он помрачнел и вздохнул: — Впрочем, что я на вас напустился. И посерьезнее спецы на всякий случай опасаются, коллега...

Она совсем не была убеждена его горячностью, но тут появилась тетка.

— Тамарочка! Докторша моя уважаемая! Да что ты такая сердитая, что надулась, ровно мышь на крупу? Это же Толик, Анатолий Максимыч, сынок мой разлюбезный! Да ты на него только глянь, это же золото чистое, такой из себя видный, весь холостой!

Видно, тетку совсем отпустило, и она резвилась вовсю. Самое это было у нее любимое занятие — сватать кого-нибудь. Шутя-шутя, а сама зорко этак глазом хитрым поглядывает — может, и всерьез получится?.. Саврасов строго нахмурился.

— Глафира Алексеевна, матушка, ну-ка, хватит прыгать. Отправляйся немедля в постель, пора очередной сеанс проводить.— Он повернулся к докторше.— Можете присутствовать, Тамара...

— Васильевна,— автоматически отозвалась та.

— Тамара Васильевна. Только не вмешиваться и не отвлекать вопросами. По ходу буду комментировать. В пределах возможного.

Глафира Алексеевна прошла в избу, а он, пропуская Тамару вперед, объяснил вполголоса:

— У больной имелось новообразование в подкорковой части левого полушария. К счастью, на ранней стадии, без метастазов. Разрушено психокинетическим воздействием, в основном за счет наложенных интерферирующих колебаний. Сейчас будет проведен третий сеанс — удаление остаточных продуктов разрушения из систем организма. Собственно, без этого можно обойтись, но я хорошо знаю пациентку, ей это не повредит, а выздоровление ускорит. На последующих стадиях лечения показаны общеукрепляющие средства, свежий воздух, возрастающая подвижность, со среды — гимнастика, через десять дней — на работу. Вот именно, матушка, — это он сказал уже прямо тетке, которая укладывалась на своей кровати, скрипя панцирной сеткой, — на работу, нечего бездельничать, голову всякими глупостями забивать. Лучше подумай, не сменить ли тебе работу. Хватит уж телефонной барышкой сидеть. Иди лучше нянечкой в больницу. Или в детский садик. И людям польза, и тебе работа нужная, будешь о других заботиться, себя жалеть некогда станет, а это сейчас наиважнейшее. Давай на живот перевернись.

Ему было бы удобнее работать со стороны груди, но он понимал, что при посторонней тетке будет больше стесняться его.

— Произвожу инспекцию зоны воздействия... — Он закрыл глаза, сосредоточился. Докторша мешала. — Коллега, прошу отгнуться чуть в сторону, смотреть только искоса, лучше боковым зрением, ни в коем случае не на меня... Накладываю кисти. Расслабляю мышцы, сосредоточиваюсь. Делайте, как я. Пальцы не давить, держать свободно. Ловить колебания обследуемого органа. Ощущая характерный ритм регенерации нервной ткани. Норма. Вопросы?

— Вы сказали — регенерация нервной ткани?

— Вот именно! Это у высококочтимых нервы не регенерируют, они могут только выматывать людям нервы... ну, это так, образ, а в общем, при правильном воздействии регенерация идет. К сожалению, пока только на поврежденных участках, как обычное заживление без рубцов, такое ведь вы уже видели? Ничего, еще доберемся и до нормально состарившихся нервов, попробуем заставить и их восстанавливаться... Так, пошли дальше. Сейчас сводим до минимума адреналин. Это просто, обычное мысленное внушение полного спокойствия, безопасности, снятие возбуждения. Сосуды мозга хорошо раскрыты... А теперь сложнее — резко повысить частоту и интенсивность сокращений сердца. И без адреналина, чисто механическими резонансами. Левую руку — на грудную клетку. Подключаю свое сердце в режиме водителя, ищу собственную частоту пациента, подстраиваюсь, повышаю амплитуду... — В его голосе появилась напряженность, участилось дыхание,

он говорил меньше, резко и отрывисто.— Промывка. Большим напором. Импульсами. Но осторожно. Ловить меру. Ткань свежая. Не допускать прорыва сосудов. Отключить часть внимания ил фильтры. Руки на поясницу. Печень, почки. Перистальтику принудительно усилить... Можно снижать интенсивность промывки. Постепенно. Плавно. Резко опасно. Для индуктора тоже... Теперь минут двадцать держать стабильный режим фильтров. Это уже просто, я чуть передохну, а потом можно спрашивать... Ну что же вы не спрашиваете?

Он похосился на Тамару. Та исправно отводила взгляд, напряженные руки держала почти правильно, но губы ее были скептически поджаты. Саврасов отвернулся и потихоньку вздохнул. До конца режима он просидел молча, потом плавно отключил внушение, снял руки. Встал, отошел к дивану. Хотелось присесть, расслабиться. Но раздражало недоверчивое лицо докторши. И чем-то беспокоило.

— Тамара Васильевна, вы не могли бы подойти к окну? Мне нужен свет. Что-то мне ваше лицо не нравится...

— А это вовсе не обязательно!

— Не валяйте дурака. Я врач. Глаза выше. Теперь влево. Вниз. Вправо. Закройте. Так...

Он отвернулся к окну. Потер лоб руками, снимая напряженность.

— Послушайте, коллега. У вас начальная стадия нефрита. Возможно, вы еще ничего не чувствуете и потому мне не верите. Месяца через два появятся боли в области поясницы. Около года вам понадобится, чтобы понять, что это не радикулит. Потом вас начнут лечить. Когда диета наскучит, приезжайте ко мне. Надеюсь, еще смогу помочь. Вот мои координаты,— он протянул визитную карточку.

— Уже,— ответила Тамара, не беря карточки.— Уже есть боли, есть правильный диагноз, есть лечение. Без шаманских штук.

Саврасов поднял взгляд, внимательно всмотрелся в ее лицо.

— Да, действительно, это ведь просто загар... Верно, гораздо более поздняя стадия. Но даже сейчас правильный диагноз делает честь любому врачу...

— Диагноз ставила машина.

— Да ну? В Чаеве?

— В Глебове, там терминал. Но это пока. Скоро будет и у нас.

— Будет. Когда вам выделят канал связи.

— Это только вопрос времени.

— Ну ладно, не в том дело. От того, что есть рентген, мы не перестали по старинке выслушивать пациента. И выступать.

Так что и при самой совершенной технике нам, знахарям, работ хватит, и не только в диагностике. Что бы вы делали классическими методами с моей теткой? Вскрыли черепную коробку.

Но Тамара не сдавалась.

— И все же ваши методы абсолютно ненаучны! Это голая эмпирика. Вы знаете, что делать, но не знаете, как и почему это помогает. Фантически вы просто экспериментируете на людях.

— Тамара Васильевна, коллега, не надо повторять чужих глупостей. Разница между умным человеком и дураком в том, что дурак повторяет чужие глупости, а умный придумывает свои. Шутка. А всерьез — да, многого мы не знаем. Может быть, самого важного — как. Но отлично знаем, что и почему. Вы, кстати, тоже частенько так поступаете. Знаете, что сделать, чтоб скатиться на санках с горы, знаете, почему это получается — потому, что Земля притягивает. А вот как она это делает? Такие примеры можно приводить бесконечно... Да, я действительно не знаю, как ловлю колебания органов, вызываю наведенные — кстати, именно к этому сводится вся активная психокинетика. Я лечу, понимаете, лечу людей! Да я на голову стану, если это поможет больному!..— Саврасов разгорячился, у него сошлись брови, скулы горели.

— Что это ты, Анатолий Максимы разбушевался? Это Тамара, что ли, твои методы хаеет да утесняет? Ты на них, на утеснителей, гневайся, а на Тамарочку нашу нечего, она у нас золото...— вмешалась в разговор тетка.

Саврасов с удивлением повернулся к ней.

— Эт-то еще что?! Ты почему не спишь? Ну как дитя малое, глаз да глаз за тобой нужен! Ну-ка,— он властно протянул руки, опустил их на лоб больной.— Спать!

Тетка пыталась сопротивляться — совсем ей не хотелось сейчас спать, чувствовала она себя бодро и прекрасно, а тут тем более состоялось интересное знакомство. Но долго она не выдержала — веки опустились, руки расслабились, легли свободно, голова чуть откинулась на подушке влево. Она спала.

Саврасов вернулся на диван. Хорошо бы сейчас самому лечь, нужна релаксация. Но здесь эта докторша... Молодец, в общем-то, медицина должна быть консервативной, все-таки имешь дело с людьми. Наверное, всему виной недостаток современной, объективной, строго научной информации... Ну спокойней, спокойней, Саврасов. Пятнадцать секунд полного расслабления. Тихо. Отключить мысли. Не думать...

А если он прав? Ведь было уже со многими вещами так — кричат «бред», «реникса», «идеализм», а потом оказывается, что это настоящее. Так хочется, чтобы он был прав. Чтобы можно

было действительно вылечиться, чтоб исчезла постоянная ноющая боль в пояснице, чтобы почувствовать себя человеком не хуже других, обыкновенной здоровой женщиной...

Саврасов вздрогнул и открыл глаза. Тамара сидела, отвернувшись к окну. Лицо ее, с прорезавшимися носогубными складками и сжатыми губами, было постаревшим и печальным.

«Я ее услышал,— подумал Саврасов.— Великолепно услышал. Усталый. Не собранный. Без настройки. Она работает точно на моей волне. И кажется, она меня тоже слышала, только не поняла. Ведь это я вспомнил и рениксу, и идеализм... Проверим...

Она сидела по-прежнему неподвижно, но вот лицо ее разгладилось, в нем появилась надежда, по губам скользнула улыбка. («Все они Моны Лизы»,— усмехнулся про себя Саврасов.)

— Ну что ж, я мало знаю об этом. И действительно глупо обличать и цеплять ярлыки, не разобравшись в сути. И ведь так хочется, чтобы все это была правда! Чтобы можно было пройти несколько сеансов у специалистов — и ты снова человек. Без диеты, режима, без болей. Без хирурга на горизонте...

— Все правда. Все можно.

— Ну, что ж, когда я себя совсем уговорю, ждите в гости. Вернее, в пациенты. Вдруг заявлюсь, как снег на голову, в какую-нибудь пятницу прямо в клинику, в Марьину рощу. А пока прощайте. И знаете, я очень рада за Глафиру Алексеевну. Просто от сердца отлегло — я ведь видела, куда идет, а сделать ничего не могла...

Она улыбнулась и пошла к выходу. Саврасов проводил ее до калитки. Однажды поймав сигнал, он уже чувствовал его постоянно, это его волновало, он ощущал растущий интерес к этой женщине — в остальном, кстати, вполне ординарной. Ему не хотелось, чтобы она уходила, и ничего не стоило задержать ее, но он не стал прибегать к внушению. Никогда этого не делал после того единственного раза, когда утром на него взглянули такие чужие, такие холодные, брезгливые глаза...

Но она вернулась сама. Остановилась в трех шагах и сказала:

— Знаете, я вдруг подумала вот что. Любое новое лечебное явление порождает, как правило, новые знания о человеке и новую профилактику. Конечно, я простой участковый врач, мое дело уметь писать КВПД, ОРЗ и двадцать шесть рецептов неразборчивой латынью, да вот хочется быть не только участковым, но и просто врачом. А врач, чтобы вы знали,— это прежде всего профилактик! Так скажите мне, практику, что дает ваше шаманство нового в области профилактики?

— Хм... Вопрос сложнее, чем может показаться с первого взгляда, всерьез говорить на эту тему — пяти минут мало...

— Я тороплюсь сейчас... Может, вы бы проводили меня? Если, конечно... простите...— Она вдруг покраснела.

— С превеликим удовольствием,— очень серьезно ответил Саврасов.— Только надену пиджак.

Они шли по дорожке вдоль берега. Красный шар солнца, медленно сваливаясь к закату, подцветил небо, и оно всей своей нежной перламутровой красой отразилось в реке. Саврасов замедлил шаг. Ему захотелось постоять немного над водой, гладкой и блестящей, будто внутренняя поверхность раковины. Но он вспомнил, что Тамара торопится, и ускорил шаг.

— Понимаете,— продолжил он прерванный разговор,— когда сложилось достаточно полное представление об организме как комплексе колебательных систем, невольно возникло сравнение с радиоаппаратом. И как-то меня поразила одна мысль... И сейчас еще не дает покоя. Попов. Понимаете, вот он первый раз включил свой приемник. Сначала — ничего. Это ведь не паровая машина, ничего не крутится, не качается. Но вот наконец звонок. Где-то прошла гроза. Для него это была победа. А теперь поставим на его место современного радиста. Он выходит в эфир, нетерпеливо гонит стрелку вдоль шкалы — и ничего, кроме тресков и шорохов, полное одиночество, понимаете?

— Нет. При чем тут ваша психикинетика? И профилактика?

— Человек — тоже в определенном смысле радиостанция. Очень сложная, сотни, если не тысячи, взаимодействующих колебательных контуров. Сплесной поток сигналов, шумов, наводок извне. И такой же непрерывный поток сигналов от него во внешний мир. Теперь — кто корреспонденты, собеседники? Конечно, Солнце, Земля, грозы, трамваи и троллейбусы с искрящими токосъемниками, но главное — люди. Чем больше людей, тем оживленнее работает станция. Больше контактов, интенсивнее обмен информацией, энергией. И конечно, наибольшая активность — на своей волне, на волне, общей с близкими людьми — родственниками, друзьями, женой, детьми. Допустим, человек заболевает. Нарушаются нормальные ритмы работы каких-то органов, сбивается настройка, возникают биения. Но от близких людей продолжают поступать сигналы на своей волне, они накладывают извне правильные ритмы, помогают удержать или восстановить настройку. Чем больше вокруг нас по-настоящему близких людей, тем успешнее идет подрегулировка, восстановление нормы. А когда человек одинок, ему намного труднее сохранить стабильность ритмов. Он подвержен частым сбоям настроения, ухудшается информационный и энергетический обмен, а за ним летит к черту и обмен веществ. Создаются условия для прогрессирующих заболеваний... Отсюда вытекает смысл профилактики. Постоянное ак-

тивное общение с подлинно близкими людьми. Здоровая семья, настоящие друзья, благожелательные отношения на работе — вот профилактика...

— И все? Так просто? — разочарованно протянула Тамара.

— Даже банально. А что поделаешь? Ведь банальные истины житейского плана выковывались веками чисто эмпирически, без обоснования и осмыслвания. Это правильно, потому что много раз давало положительный результат, — вот стандартный путь возникновения банальной истины. Человек не должен быть одиноким. Нельзя расставаться с близкими. Мы нужны им, они — нам. Есть какой-то печальный парадокс в том, что, став взрослыми, мы покидаем своих родителей. Биологически тут все на месте: когда дети выросли, родители уже не нужны. Сами по себе они ценности не представляют, продление рода обеспечено, пусть себе помирают. Постоянное омоложение популяции, быстрая смена поколений — все способствует ускорению эволюции, повышает приспособляемость вида... Но мы уже не просто биологические объекты, мы люди! Разум и социальный характер популяции homo sapiens резко меняют шкалу ценностей. Мы теперь сохраняем свой вид не за счет биологической эволюции, а за счет социального и научно-технического прогресса. В этих условиях большое число здоровых людей со значительным жизненным опытом становится выгодным для популяции независимо от того, произвели они потомство или еще нет.

— Послушайте, Анатолий Максимович, но ведь это все — самая обыкновенная мораль, только загороженная учеными словами.

— А вы чего хотели? Мораль — это эмпирические правила оптимального поведения человека в обществе. А под ними — всегда железный фундамент биологической, социальной, экономической необходимости. И если научные выводы начинают противоречить морали, не спешите пересматривать мораль, лучше проверить выкладки...

— Какой у нас странный разговор. Потому что необычный. Разговор о самом важном, общем. Очень нужный. Как генеральная уборка — помогает все расставить по своим местам... Вы понимаете? А то я так смутно, нечетко говорю...

— Я вас очень хорошо понимаю. Мне легко вас понимать. Мы работаем на одной волне.

— Это значит, мы могли бы стать близкими друзьями?

— Да.

— Но вы уезжаете.

— Вы придете ко мне лечиться. В Марьину рощу, в клинику, в пятницу с десяти утра.

— Вы уже говорили...

— Не говорил — передавал. Вы приняли. Кстати, подумайте о переквалификации. Не знаю, сможете ли вы активно лечить, но чутье у вас есть. Карьера шамана-диагноста вам обеспечена.

— Я приеду. И подумаю.

— До встречи. И простите, что внес в вашу душу смятение.

— Прощаю. И благодарна за это.

— И еще...— Он вдруг поймал себя на том, что затягивает прощание.— Нет, ничего. Все.

Замолк, улыбнулся, резко махнул рукой и сбежал.

На следующий вечер Саврасов уехал в Москву. Больше оставаться в Чаеве он не мог. Завтра наступит новая рабочая неделя — клиника, обходы, дежурства, амбулаторный прием по пятницам. Ночные вызовы из неотложки. Заполненная, насыщенная жизнь умелого и известного врача. Особо модного, потому как недавно опального. И все же, несмотря на прекращенную опалу и непрестанные интриги, нужного людям... Такая жизнь облегчает одиночество, не оставляет на него времени.

Мысль его снова обратилась к Чаеву. В общем, все здесь осталось в порядке. Тетка через месяц будет практически здорова и надолго, года на три. Особенно если пойдет в няечки. Да и Ольге он строго-настрого приказал забегать каждый день, заботиться, помогать. Завтра вечером надо позвонить Татьяне в Ташкент, отругать, чтоб чаще писала. Конечно, письма — это не то, но риторический настрой они передают... А сам? Сам когда писал последний раз? Когда приезжал просто так, не по вызову? Вон как красиво проповедовал о пользе морали, распинался, что нельзя расставаться с близкими, оставлять их в одиночестве, а что же сам? Почему должна о мамане заботиться безалаберная Ольга? Ей самой нужна забота, вон сердце уже уходила, как баба старая. Конечно, он ее малость подлтал, на первое время полегчает, но это халтура, ей нужен настоящий курс лечения. И девочку запустила, балда... Может быть, хватит уже? Хватит Москвы, напряженности, интриг, дрызг, дискуссий. Уехать в Чаево, поселиться у тетки, работать в больнице — есть и здесь больные. Учить молодых. Тамару вот. Славная она... Впрочем, Тамара — не проблема. Ее-то и в Москву выписать можно, если что заладится, а вот тетка... Уехать... И бросить дело. Не довести. Угробят. Опала кончилась, но так недавно, что ее и возродить можно. Нет, ни за что нельзя уезжать...

Плохо было на душе у Саврасова. Он попросил у соседа сигарету и спички, вышел в тамбур, закурил и прижался лбом к холодному стеклу. Снаружи неслась зябкая сырая ночь, иссеченная косым осенним дождем. В выщербленной раме подрагивала вода. На стрелках она выплескивалась и неровной струйкой сбегала по грязной двери...

ЗАРУБЕЖНАЯ
ФАНТАСТИКА



РЭЙ БРЭДБЕРИ

«ЧУДЕСА И ДИКОВИНЫ! ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ!»

Моя Машина Времени остановилась, я вышел из нее в катящийся туман и теперь стоял, прислушиваясь. Молчание. То полное исчезновение звука, то молчание, которое ощущают люди, когда летит в небо на воздушном шаре. Мир ушел, и с ним ушел его шум. Лишь тихо дышат тросы, в то время как ты летишь туда, куда несет тебя ветер.

Такое молчание длилось уже не меньше минуты, когда почти к самым моим ногам бесшумно скользнуло море. На море ничего не было, и ничего не было на суше, простиравшейся у меня за спиной, но вдруг откуда-то из дальнего далека, из туманов, вышел, широко шагая, человек в темной одежде. Бессчетные миллионы людей за последние сто лет видели, как этот человек махал им с незнакомых морей, и, слыша над волнами свои имена, крича его имя в ответ, бежали на зов.

— Господин Верн! — крикнул я. — Жюль Верн!

И вскоре мы уже шагали молча вместе по берегам, которых еще не коснулась цивилизация.

— Отказываюсь верить, — заговорил наконец Жюль Верн. — Вы отправились в такую даль взять у меня интервью, и это только потому, что сейчас пятидесятая годовщина моей смерти? Да этого быть не может! На чем вы сюда добрались? Ваша пишущая машинка — это ваша Машина Времени? Ну что ж, у нас, мертвых, тоже есть свои Машины Времени. У меня — мои книги; они по-прежнему живые, они дышат и находятся в постоянном движении. Благодаря им я путешествую во времени и знаю ваш тысяча девятьсот пятьдесят пятый год, как вы знаете каждый год моей жизни. Но... ваш первый вопрос?

Я внимательно посмотрел на этого высокого, полного затаенного огня человека, на его бороду и усы, которые не могли скрыть сильного рта, правильных и твердых черт.

— Статью, которую я напишу, пожалуй, следует озаглавить так: «Жюль Верн предсказывает будущее: 1955—2005»,— сказал я.

Жюль Верн остановился как вкопанный.

— Я никогда не предсказывал будущее, я только предсказывал машины. Они виделись мне в зачаточном состоянии и казались неизбежными. Я мог бы предсказывать и машины вашего будущего. Но что касается людей и того, что люди будут делать с машинами... Тут я могу только предполагать.

— Мой вопрос можно сформулировать так,— сказал я.— Если бы вы писали сегодня, что бы вы написали?

Жюль Верн двинулся дальше. Туман рассеялся, небо казалось густо-зеленым; мне чудилось, что сам океан подгоняет нас.

— Прежде всего,— сказал Жюль Верн,— я бы написал «Двадцать тысяч лье под водой».

— Еще раз?

— Еще и еще, через пятьдесят, через сто лет с сегодняшнего дня! Да вы только взгляните на море, оно по-прежнему остается тайной; что изменилось со времен вашей войны между Севером и Югом? Разве не такое же глубокое оно, как было, разве рассеялся царящий в нем мрак? Что в нем, мы не узнаем и за тысячи лет. Мы раньше узнаем звезды.

— «Таинственный остров», его бы вы написали опять?

— Написал бы и «Плавающий город», и «Ледяной сфинкс», и «Великолепное Ориноко», и «Плывучий остров», и «На море», и «Путешествие к центру Земли»! Ну а много ли вы знаете сейчас, в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, о некоторых полярных областях, о некоторых районах джунглей Южной Америки, о самых отдаленных необитаемых островах самых далеких южных морей? А стратосфера, она разве не остается и для вас огромным океаном, не нанесенным еще ни на какие карты? Везде, где есть неизвестное, которое должно стать известным, присутствую и я. В ваше время, как и в наше, я бы не стал предсказывать будущее, а лишь писал бы о неуверенных и слабых попытках человека с его машинами откусить хоть краешек Незведомого... в то время как я с блокнотом следую и пишу свои географические романы.

— Географические романы,— повторил я, пробуя эти слова на вкус.

— Не так сухо, как ваша научная фантастика. Где там, в этих двух словах, поэзия?

— Наш век непоэтический. Мы говорим «научная фантастика», потому что боимся чувств, которые вызывают слова «географический роман».

— Как это может быть?— воскликнул Жюль Верн и откинул голову, так что в меня угрожающе нацелился клин его бороды.—

Еще не было века, лишённого поэзии. Попробуйте отрицать ее, все равно она из вас выплеснется. Она гонит ваших моряков к их кораблям, ваших летчиков — к их реактивным самолетам! Вся наука рождается из романтики, потом естественным образом освобождается от лишнего, сжимается до горстки фактов, а когда факты станут сухими и хрупкими, начинается новое оплодотворение действительности, ее новая романтизация, и так всегда, опять и опять, ибо есть очень много такого, чего мы не знаем и не узнаем никогда.

— Не называли ли вы свои книги также *Voyages extraordinaires*?* — спросил я. — До чего обидно, что при переводе столько теряется!

— А вы возмещайте эти потери, когда пишете сами! — воскликнул Жюль Верн, убыстряя шаг. — Учите человека отождествлять себя с этими машинами, которые в совокупном многообразии своих применений и возможностей являют лучшее, что только есть в наших душах. Боже мой, я ведь помню, как смотрел в Шотландии на чудовищно огромный каркас «Грейт Истерна»! Этот невероятный корабль, построенный еще только наполовину, так много значил для людей, придававших ему форму, которую требовало море! И помню Париж, его тогда словно охватила лихорадка: люди отдавали последнее, лишь бы для них сделали воздушный шар, на котором они могли бы бесшумно поплыть по небу.

— Кажется, именно тогда был построен «Гигант», воздушный шар, на котором целая семья могла облететь вокруг Земли!

— Да, и именно в то время мы вели бесконечные разговоры об арктических морях, об Африке, о тайнах Луны — все это отразилось в моих произведениях, когда я писал о кораблях и летательных аппаратах, которые позаимствовал недостроенными у Леонардо да Винчи и достроил в своем воображении. И за всем этим стоял один мотив...

— Какой же?

— Заселить Необитаемое, — сказал тихо Жюль Верн. — Одолеть Время, которое нас пожирает, не дать Пустыне поглотить Город.

— И это главная тема большинства ваших книг?

— Главная, даже когда она не явная, и она остается главной, даже когда она не явная, в жизни всех людей на Земле сегодня. Человек путешествует, чтобы узнавать, а узнавать — значит, не погибнуть. Но к тому, чтобы путешествовать, толкают человека и подобные мне, те, кто видит в кораблях, воздушных шарах, китайских фейерверках нечто большее, чем простое стремление не погибнуть, те, для кого все озарено светом славы, приключений,

* Необычайные путешествия (фр.) [Примеч. перев.]

богатства. Мы, рассказчики сказок, бежим впереди и зовем следовать за нами; общество следует и догоняет нас; и тогда наступает пора для рассказчиков новых сказок зажигать новые поколения мечтами, которые поведут те к новым фактам и, таким образом, оттеснят пустыню еще немного.

— И все ради этого?

— Да, нам не по нутру эта пустыня, эта материальная Вселенная с ее собственными непостижимыми законами, которым нет дела до наших судорог. Человек задышит полной грудью только тогда, когда вскарабкается на самый высокий Эверест — космос. Не потому, что космос существует, нет, вовсе не поэтому а потому, что человечество не должно погибнуть, а чтобы не погибнуть, оно должно заселить все планеты всех солнц.

— Так что и сегодня вы бы опять написали «С Земли на Луну»?

— Написал бы обязательно. Я встаю против существования, лишённого смысла. Существование человечества не окажется лишённым смысла, утверждаю я, если человечество сумеет вскарабкаться на эту последнюю высоченную гору. Ведь восхождение на земной Эверест, лишённое смысла для столь многих, было лишь испытанием человеческого упорства, воли, горения.

— Значит, космические путешествия не случайно заняли воображение некоторых писателей и мыслителей?

— Наш путь к ним начался с тех самых пор, как мы переселились с деревьев на землю. Пещерный человек уже чуял это в зимние ночи, когда звезды говорили ему о том, что где-то недостижимо далеко, пылают жаркие, как лето, огни. Колумб и Кортес подхватили томление пещерного человека и понесли дальше, надевая на него личины властолюбия и корысти, честолюбия и религии.

— Выходит, к две тысячи пятому году люди почти наверняка будут путешествовать в космосе?

— Разве можно, падая с обрыва, не уцепиться за подвернувшуюся ветку? Путь к его предназначению человеку будет освещать воля к жизни, пузырьками вскипающая в «географических романах». Мечтания, исследование, открытие, сопоставление истин, стазис — так восходит наша история по своей лестнице Иакова, восходит все выше и исчезает вдалеке. Только одно может остановить это движение.

— Я, кажется, догадываюсь, — сказал я. — Джунгли, которые внутри человека.

— Другая его половина, да: мохнатый мамонт, саблезубый тигр, слепой паук, копошащийся в ядовитой тьме, грезящий о грибовидном облаке. Проще, шепчет он, уничтожить, умереть, забыться навсегда. Смерть разрешает все проблемы, шепчет он, и, как ожерельем из темных бус, потряхивает пригоршней атомов. Энергию

этой огромной черной твари и должны со всею страстью направить на создание лучших ваших машин, а не тех, худших, которые толкают вас к тому, чтоб умереть в тени гриба.

— И все же вы думаете, что воля к жизни возьмет верх?

— Снова и снова, несмотря на миллионы лет бессмысленных войн, несмотря на безумие, нам удастся не погибнуть. Сегодня, как никогда, важно напоминать человеку о проблеме космоса и о звездах; когда люди в эту проблему вникнут, они поймут, что род человеческий сам по себе куда значительней, куда более достоин быть предметом веры, чем границы между континентами или политические разногласия. Вы писатель, говорите же людям: «Будьте осторожны! В то время как вы раскручиваете над своими головами ваши маленькие атомные пращи, Пустыня вокруг ваших городов готова к прыжку и ждет!» А юным говорите: «Ясной ночью детства мечтайте; ясным днем зрелости делайте». За спиной у каждого исследователя стоит ребенок, которым он когда-то был. Я держу за руку этого ребенка, он держит за руку себя взрослого, вместе мы составляем магическую цепь и вызываем духов машин, которые никому не снились.

— Да, помню,— сказал я.— Я читал о Уильяме Бийбе, одном из первых, кто исследовал океан, находясь в стальном шаре, батисфере. Я читал его рассказ о себе. Бийб говорит, что для него все началось с ваших «Двадцати тысяч лье под водой». А ваше «Путешествие к центру Земли»? Разве не оно отправило Норберта Кастере в путь по течению подземных рек, к подземным пещерам? Ведь кончил он тем, что стал великим исследователем подземного мира в Пиренеях. А путешествие сэра Хьюберта Уилкинса на подводной лодке под полярными льдами? А не говорил разве адмирал Бэрд: «Мне показал путь Жюль Верн»? И последнее, но, безусловно, не менее важное: разве орден Почетного легиона дали вам не по предложению Фердинанда Лессепса, прорывшего Суэцкий канал?

Не отрывая глаз от моря, наступающего на берег, Жюль Верн кивнул:

— Сперва канал этот сделал Лессепс-ребенок, прямо перед своим домом, в канаве, полной дождевой воды, и глину он утрамбовывал своими лучшими ботинками. И как покатилося колесо истории, когда отец братьев Райт запустил бумажный игрушечный вертолет, и тот взлетел к потолку гостиной и там повис, нашептывая этим мальчикам то же, что ветер шептал так часто Икару и Дедалу, Монгольфье и Леонардо да Винчи. Говоря то же, что говорим, мы, писатели, когда продолжаем традицию, которой уже много миллионов лет.

— Да существуют разве такие старые традиции? — спросил я.

— Одна существует,— сказал Жюль Верн.— Как иначе могло Вселенная побудить жителей поросших водорослями водоемов выбраться на землю, если не рассказывая им без слов истории о чудесах и диковинах, о праздничности того, что они увидят на суше? Поддаваясь уговорам, прынуждению, соблазну, запугиванию, море наполнило кожу, и та поползла, вытягиваясь, приподнимаясь и снова падая, и наконец, выпрямилась, встала и назвала себя Человеком. Ныне Человек, свободный от океана, осмеливается в мыслях своих видеть себя свободным от Земли и восклицает: «Рассказывайте еще! Мы вяли рассказу о руках и ногах, и вот мы стоим! Теперь рассказывайте о крыльях, дайте ощутить мягкий пух, первый укол перьев на плечах. Лгите, писатели, мы сделаем из лжи быль!»

Жюль Верн повернул обратно, и мы пошли с ним вдоль берега по цепочке своих же собственных следов.

— Написали бы вы книгу о водородной бомбе? — отвечатся спросить я.

— Нет,— сказал Жюль Верн,— я написал бы только о способности человека спастись от своих войн.

— И вы считаете, что в нашей любознательности, если ее поощрять, наше спасение? — спросил я.

— В любознательности и нашей одержимости закономерностями и смыслом и в нашем стремлении извлечь порядок даже из хаоса. После нас остаются наши дети, в них продолжается наша жизнь. От родителей к детям переходит способность изумляться и восхищаться. Род человеческий должен заселить все планеты всех звезд. Непрерывное расселение наших колонистов на самых дальних мирах, чтобы люди могли существовать вечно, в конце концов откроет нам смысл нашего долгого и часто непереносимо трудного пути к вершине. Тогда, бессмертные, мы поймем, что никогда не было Полых Людей, но лишь Полые Иден.

Мы остановились, и он пожал мне руку. На берегу безмолвного моря, вокруг нас, снова начинал сгущаться туман.

— До чего люди любят карты и планы! — сказал Жюль Верн.— А почему? Да потому, что там, на картах и планах, можно потрогать север, юг, восток и запад рукой, а потом сказать: «Вот мы, а вот Неизвестное — мы будем расти, а оно будет уменьшаться». Беритесь же за работу! Помните, как ребенком в зрительном зале вы передавали что-нибудь шепотом вдоль ряда кресел? Так делайте это же и теперь! В уши всех тех, кто скоро станет взрослым и научится думать, шепчите: «Слушай меня; чудеса и диковины!» И легонько толкните локтем в бок: «Передай дальше!»

Жюль Верн уже удалялся от меня; его темная фигура уходила по бесконечному берегу, Океан откатывался по гальке прочь и ис-

чезал. Был слышен только звук воздушного шара, тихо поднимающегося в пустое и тихо дышащее небо. Мне почудилось, что человек в темной одежде обернулся, махнул рукой, уже издали, и крикнул через туман знакомые слова. Многие слышали, как он их кричал, и еще многие их услышат.

И потому я повторяю их вам для того, чтобы вы могли передать их своему сыну, а он своему: «Чудеса и диковины!» — и шепотом: «Передай дальше...

Перевел с английского
РОСТИСЛАВ РЫБИКИН

РЭЙ БРЭДБЕРИ

МОЖЕТ БЫТЬ, МЫ УЖЕ УХОДИМ

Это было что-то странное, и описать это было невозможно. Он уже просыпался, когда оно коснулось его волос на затылке. Не открывая глаз, он вдавил ладони в мягкую глину.

Может, это земля, переворачиваясь во сне, пересыпает непогасший жар под своей корой?

Может, это бизоны бьют по дерну копытами, как черная буря надвигаясь по пыльным прериям, через свистящую траву?

Нет.

Что же тогда? Что?

Он открыл глаза и снова стал мальчиком. Хо-Ави из племени, называющегося именем птицы, в деревне около Холмов Совиних Теней, близ океана, в день, сулящий беду безо всякой на то причины.

Взгляд Хо-Ави остановился на нижних углах шкуры, закрывающей выход, — она дрожала, как огромный зверь, вспоминающий зимние холода.

«Скажите мне, — подумал он, — это страшное — откуда оно? Кого оно убьет?»

Он поднял нижний угол шкуры и вышел в деревню.

Мальчик, чьи темные скулы были похожи на треугольники летящих птичек, не спеша огляделся. Карие глаза увидели небо, полное богов и туч, ухо с приставленной к нему ладонью услышало, как бьет в барабаны войны чертополох, но еще большая тайна по-прежнему влекла его на край деревни.

Отсюда, говорила легенда, начинается земля и катится волной до другого моря. Между двумя морями ее столько же, сколько звезд на ночном небе. Где-то на этой земле траву пожирают смерчи черных бизонов. И отсюда смотрит сейчас он, Хо-Ави, у кото-

рого внутри все сжалось в кулак; смотрит, удивляется, ищет, боится, ждет.

«Ты тоже?» — спросила тень ястреба.

Хо-Ави обернулся.

Это была тень руки его деда — это она писала на ветре.

Нет. Дед сделал знак, чтобы он молчал. Язык деда мягко двигался в беззубом рту. Глаза деда были как ручейки, бегущие по высохшим руслам плоти, потрескавшимся песчаным отмелям его лица.

Они стояли на краю дня, и неведомое притягивало их друг к другу.

И теперь Старик сделал то же, что сделал мальчик. Повернулось сухое, как у мумии, ухо, вздрогнули ноздри. Старику тоже хотелось услышать глухое ворчание все равно откуда, которое сказало бы им, что ничего не случилось, просто непогода падает буруломом с далеких небес. Но ветер не давал ответа — разговаривал только с самим собой.

Старик сделал знак, который говорил: наступило время идти на Большую Охоту. Сегодня, как уста, сказали его руки, день для молодых кроликов и для старых птиц, потерявших перья. Пусть но идут с ними воины. Заяц и умирающий орел должны промышлять вместе, ибо только совсем молодые видят жизнь впереди и только совсем старые видят жизнь позади, остальные, те, что между ними, так заняты жизнью, что не видят ничего.

Старик, поворачиваясь, медленно посмотрел во все стороны.

Да! Он знает, он не сомневается, он уверен! Неведение новорожденных нужно, чтобы найти это, появившееся из мрака, и нужно неведение слепых, чтобы ясно все увидеть.

«Пойдем!» — сказали дрожащие пальцы.

И посапывающий кролик, и падающий на землю ястреб неслышно, как тени, вышли из деревни в меняющуюся погоду.

Они прошли по высоким холмам, чтобы увидеть, лежат ли камни по-прежнему один на другом, камни были на месте. Они оглядели прерии, но только ветры играли там, как дети, от зари до зари. И они увидели кончик стрел от прежних войн.

«Нет, — начертили на небе пальцы Старика, — мужчины их племени и того, что живет дальше, за ними, курят сейчас у летних костров, а женщины около них колют дрова. То, что мы почти слышим, — это не свист летящих стрел».

Наконец, когда солнце опустилось в землю охотников за бизонами, Старик посмотрел вверх.

«Птицы, — вдруг воскликнули его руки, — летят на юг! Лето кончилось!»

«Нет,— ответили руки мальчика,— лето только что началось. Я не вижу никаких птиц!»

«Они так высоко,— сказали пальцы Старика,— что только слепые могут почувствовать их лёт. На сердце они бросают больше тени, чем на землю. Сквозь мою кровь пролетают они на юг. Лето уходит. Может быть, с ним уйдем и мы. Может быть, мы уже уходим».

«Нет! — испугавшись, крикнул вслух мальчик.— Куда мы уходим? Почему? Зачем?»

«Кто знает,— сказал Старик. Может быть, мы не двинемся с места. И все равно, даже не двигаясь, может быть, мы уже уходим».

«Нет! Вернитесь! — крикнул мальчик пустому небу, невидимым птицам, воздуху без теней.— Лето, оставайтесь!»

«Не поможет,— сказали пальцы Старика.— Ни тебе, ни мне, никому из нашего племени не удержать этой погоды. Другое время приходит, и оно поселится здесь навсегда».

«Но откуда оно?»

«Оттуда»,— сказал, наконец, Старик.

И в сумерках они посмотрели вниз, на великие воды востока, уходящие за край мира, где еще никогда никто не бывал.

«Вон оно.— Пальцы Старика сжались в кулак, и рука вытянулась.— Вон».

Вдали, на морском берегу, горел одинокий огонек.

Луна поднималась, а Старик и похожий на кролика мальчик пошли, увязая в песке, прислушиваясь к странным голосам, доносящимся с моря, вдыхая едкий дымок костра, вдруг оказавшегося совсем близко.

Они поползли на животе. Не вставая, стали рассматривать то, что было у костра.

И чем дальше смотрел Хо-Ави, тем холодней ему становилось, и он понял: все, что сказал Старик, правда.

Этот костер из щепок и мха, ярко полыхавший в вечернем ветерке, сейчас, в разгар лета, вдруг повеявшего прохладой, окружали существа, подобных которым он никогда не видел.

Это были мужчины с лицами цвета раскаленных добела углей, и глаза на некоторых из этих лиц были голубые, как небо. На подбородках и на щеках у них росли блестящие волосы, сходящиеся внизу клином. Один стоял и в поднятой руке держал молнию, а на голове у него сияла большая луна, похожая на лицо рыбы. У остальных грудь облегалo что-то сверкающее, зыбавшее при движении. Хо-Ави увидел, как некоторые из этих людей снимают сверкающее и звонкое со своих голов, сдирают спящие крабы панцири, черепашии щиты с рук, ног, груди и бросают эти ставшие им

ненужными оболочки на песок. Странные существа смеялись, а дальше, в бухте, на воде, черной глыбой высилась огромная темная пирога, и на шестах над ней висело что-то похожее на разорванные облака.

Старик и мальчик долго глядели, застав дыхание, а потом поплелись прочь.

На одном из холмов они повернулись и снова стали смотреть на огонь — теперь он был не больше звезды. Мигни — и исчезнет. Закрой глаза — и его уже нет.

И все равно он был.

«Это и есть, — спросил мальчик, — то великое, что случилось?»

Лицо Старика было лицом падающего орла, было наполнено страшными годами и нежеланной мудростью. Глаза ярко сверкали и переливались, будто из них била холодная, кристально чистая вода, и в этой воде можно было увидеть все — как в реке, которая безмолвно принимает в себя, не отвергая ничего, пыль, время, форму, звук и судьбу.

Старик кивнул — только раз.

Это и была несущая ужас непогода. Это и был конец лета. От этого и мчались на юг птицы, не бросая теней на оплакивающую себя землю.

Измощенные руки замерли. Время вопросов кончилось.

Там, вдалеке, взметнулось пламя. Одно из существ зашевелилось. Черепаший панцирь на его теле блеснул — будто стрела вонзилась в ночь.

Мальчик исчез во тьме вслед за орлом и ястребом, жившими в каменном теле его деда.

Внизу море поднялось на дыбы и выплеснуло еще одну огромную соленую волну, разбившуюся на миллиарды осколков, которые градом свистящих ножей обрушились на берег континента.

Перевел с английского
РОСТИСЛАВ РЫБКИН

МАНУЭЛЬ ГАРСИА-ЗИНЬО

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мальчик с силой швырнул мяч в чугунный узор калитки, и трехцветный шар, ударившись о столбик, упал на влажное дно канавы недалеко от клумбы генциан. Он подбежал и схватил его, вытер о зеленую траву газона, подбросил вверх, поймал и повернулся, чтобы швырнуть в калитку снова.

Но, повернувшись, он увидел, что, хотя калитка по-прежнему закрыта и не слышно было, чтобы она скрипнула, по эту сторону ее стоит человек. А ведь он только что смотрел на тролинку за калиткой, словно ручей стекавшую по пологому склону, и никого на ней не видел.

Мяч выпал у него из рук, прокатился несколько метров, остановился в клевере, на полпути между ним и незнакомцем.

Ребенок смотрел на того, чей силуэт так четко вырисовывался в свете заходящего солнца, и чувствовал, что его знает, хотя до этого никогда не видел. Лица из-за расстояния и света он хорошо разглядеть не мог.

Человек сделал к нему несколько шагов, и мальчик заглянул в темную бездну его взгляда. Закружилась голова, а потом стало страшно — как будто он оказался во тьме пещеры, где таится все, что вызывает в нем ужас, все, что вызывает в нем отвращение, все, что мучает его в снах. Несколько мгновений он чувствовал, как его поймали и держат эти хищные, цвета крови, зрачки, взгляд которых обращен внутрь; зрачки, которые никогда не знают покоя; все время ищут что-то, но никак не найдут; зрачки, такие же тусклые и отталкивающие, как поверхность стоячих вод.

— Нет, нет! — закричал ребенок, не понимая, что он отрицает, чувствуя только: он не хочет смотреть, не хочет видеть, узнать.

Желудок сжало, что-то поднялось к горлу, глаза застлал туман, а потом, сдерживая дрожь, пробежавшую по всему телу, он собрал все силы и отвернулся. Он увидел перед собой свой дом — из его окон потоками лились цветы, а от выбеленных стен отражалось, как смех, вечернее солнце цвета созревшего лимона. Дверь была приоткрыта, и из нее плыли вкусные запахи и знакомые звуки. К ней он и побежал, зовя мать.

Профессор посмотрел на стоящего перед ним человека, а потом перевел взгляд на стены камеры, где проступала большими пятнами сырость.

— Садитесь,— предложил он.

Человек мотнул головой.

Профессор смотрел на него все так же пристально,— словно размышляя над тем, что означает этот отказ и чем он вызван.

Он протянул пачку сигарет, но человек отказался и от нее.

— Ну что ж,— сказал профессор.

Не отрывая от него взгляда, он повертел пачку в руках и, наконец, положил обратно в карман, после этого прикусил верхнюю губу и, словно отвечая сам себе на невысказанный вопрос, кивнул несколько раз головой. Потом, вздохнув, кивнул опять и сказал:

— Так, значит, вы решили?

Человек иронически улыбнулся:

— Дать себя повесить или стать вашим подопытным кроликом — тут выбирать не приходится.

— Возможно, — согласился профессор. — Но должен еще раз вам напомнить, что в Машине Времени никто никогда не путешествовал. Даже морская свинка...

— Не волнуйтесь, такой свинкой стану для вас я. Да и не все ли мне равно, погладят ли меня анатомички или расплющат на атомы, путешествуя в Машине Времени?

— Хорошо, в таком случае... придется пройти обследование.

— Я в вашем распоряжении.

— Договорились.

Профессор пошел к двери, но остановился и снова на него посмотрел.

— Это не одно и то же... — начал он.

— Что именно?

Профессор чуть развел руками, висевшими как плети, и только потом сказал:

— Не я создавал законы, по которым вас осудили, хотя и считаю их справедливыми.

— Я тоже считаю их справедливыми.

— Я вам не судья и не палач.

Человек снова улыбнулся.

— Так ли?

— Уверяю вас. Вот почему мне нужно было ваше согласие.

— Правое, мне все равно. Да вы обо мне не волнуйтесь.

— Не могу не волноваться, — сказал профессор.

Наступило молчание, и казалось, будто из толстых тюремных стен соится низкое, на грани слышимого гудение — тревожное гудение, родившееся из отчаяния, одиночества и страха.

— Волнуюсь, — продолжал профессор, — хотя знаю, что вы приговорены к смертной казни, и знаю все то ужасное, в чем вас обвиняют.

Человек посмотрел ему в глаза ничего не выражающим взглядом. Профессор горько улыбнулся.

— Мы говорили с вами о путешествии, которое я вам предложил. А задумывались вы когда-нибудь о путешествии, которое привело вас сюда?

Человек наморщил лоб. Выражение иронии, появившееся на его лице с первых слов собеседника, исчезло.

— Да, задумывался. И за последние дни не один раз. Путешествие из молодости, подававшей такие надежды, от карьеры, начавшейся так блестяще (да вы знаете все это не хуже меня), из дружной, счастливой семьи — в исковерканную зрелость, в про-

пасть преступлению, в камеру смертника... Да, конечно, я об этом задумывался.

— И что же?

— А ничего. Когда на шее у тебя петля, когда знаешь, что бесполезно просить о помиловании, когда так страшно, как сейчас мне, ты видишь все в другом свете. Было бы нечестностью, обманом, если бы я стал мерить свои вчерашние поступки меркой моих сегодняшних мыслей. Я знаю: вернись я к началу своего пути, все повторилось бы.

— Вы не рассказываете?

— Не знаю.

В глазах человека мелькнула искра вызова, гнева, а может, и страдания, и он крикнул:

— И знать не хочу!

Профессор шагнул к нему, и казалось, что сейчас он дружеским жестом дотронется до плеча собеседника, однако он этого не сделал.

— Успокойтесь,— сказал он,— успокойтесь, пожалуйста, и простите меня. Похоже, я пытался оправдать себя перед самим собой в том, что принял таверашнюю свою роль,— вот почему я был жесток с вами. Простите меня.

Человек снова иронически улыбнулся.

— Я уже говорил — обо мне не волнуйтесь.

— Хорошо.

Профессор протянул руку, но ее не пожали.

Приготовления закончились — на них хватило двадцати дней. Через три недели после того, как профессор впервые появился в тюрьме, человека вывели перед рассветом из камеры и усадили в полицейскую машину.

Машина перевезла его с одного конца города на другой и подъехала к небольшому особняку на окраине. Там, перед входом, его уже дождался профессор.

Движением руки профессор остановил конвоиров, а ему сказал:

— Идемте со мной.

Он привел его в комнату, где все — пол, потолок, стены — было из металла, где не было окон, а посередине стояло кресло, тоже металлическое. Больше ничего — ни картины, ни коврика.

— Ну вот мы и пришли,— сказал профессор.— Когда я выйду, усаживайтесь...

Человек был бледен, и казалось, будто каждое движение стоит ему огромных усилий.

— Куда вы меня отправите?

Профессор задумался.

— Теоретически,— сказал он наконец,— я могу отправить вас куда угодно. Я еще не решил...

Человек дрожащей рукой протер лбу.

— Я все-таки хотел бы знать... куда я попаду, куда могу попасть? Теоретически.

Прошли секунды, и в глазах ученого он увидел: решение принято.

— Выбирайте сами.

— Но профессор...

Кусая губы, человек судорожно сцепил пальцы рук.

— Профессор, эти три недели я много думал о своем путешествии — о том, про которое вы меня спрашивали...

Он схватился рукой за горло, словно силился оторвать что-то, его сжимавшее, может быть, петлю виселицы.

— Вы не обязательно умрете. Если бы обязательно, то, поверьте мне, я бы не...

— Какая разница! — перебил его человек.— Хотя нет, разница есть. А впрочем, не все ли равно? Если бы не ваши опыты, меня в этот час уже не было бы в живых.

— Хорошо,— с некоторым нетерпением сказал профессор.— Говорите же, что хотели сказать.

Человек облизнул пересохшие губы, потом набрал полную грудь воздуха.

— Первую жестокость я совершил, когда мне было десять лет. Как-то раз мы играли, и тогда это произошло. Никто не придал этому значения, но я-то знаю — вот начало, отправной пункт путешествия, которое привело меня сюда. Профессор, я хочу вернуться в те времена, когда я еще не начал творить зло. В какой-то из дней моих десяти лет, но до этого страшного дня. В сад моего дома, дома моей матери. Это возможно?

Профессор кивнул.

— Где вы тогда жили?

Человек назвал адрес в том же городе, где они были сейчас.

— Возможно это? — спросил он снова.

— Я уже сказал, думаю, да.

Человек как будто успокоился, напряженность, в какой он был, ослабла.

— Профессор, если мне суждено попасть куда-нибудь, то лучше мне попасть именно туда.

Профессор вышел, закрыл за собой дверь, человек сел в кресло.

Он огляделся вокруг. В комнате было очень светло, но откуда исходит свет, понять он не мог. Он искал глазами дверь, за ко-

торой исчез профессор, но не нашел и ее. Комната была кубом, грани куба приблизительно пятиметровые; пол, стены и потолок ничем друг от друга не отличались — листы металла без видимых швов или спаек, матово отражающие от себя странный свет.

Через некоторое время (какое именно, он не знал) ему показалось, будто он слышит (хотя он не мог бы сказать, услышал он его только что или начал слышать с момента, когда сел в кресло) какое-то низкое гуденье, воспринимаемое не только слухом, но и осязанием и зрением. Казалось, воздух в комнате, до этого неподвижный, теперь дрожит, и это дрожание проникало в самую гущь его существа.

Вдруг он почувствовал, что висит в пустоте, и одновременно что перестает быть самим собой. Гудение прекратилось, и теперь его окружал со всех сторон плотный серый туман. У него закружилась голова, и последнее, о чем он подумал, это что он падает в бездонную пропасть, падает, падает...

Это был сад его дома, дома его матери, место, где прошло его детство. Он узнал чугунный узор калитки, канаву, клумбу гециан, клевер, цветы на окнах, побеленные стены дома, от которых отражалось, как смех, вечернее солнце цвета созревшего лимона. Узнал трехцветный мяч, и мальчика, еще не творившего зла, мальчика, полного трепетных надежд, — тех самых, во власти которых когда-то, давным-давно, он пребывал.

Мальчик на него смотрел. В глазах у ребенка был вопрос, и ему захотелось на него ответить. Он сделал несколько шагов, но взгляд мальчика остановил его. В этом взгляде были страх и отвращение, и в нем жили наводящие ужас сны, которые позднее стали действительностью.

— Нет, нет! — закричал мальчик.

И он понял, что мальчик отвергает его, и тогда он из всех сил пожелал отсюда исчезнуть. И когда мальчик, зовя мать, бросился к дому, у человека снова, как до этого, закружилась голова, и он опять, как в Машине Времени, почувствовал, что висит в пустоте, а потом падает в бездонную пропасть, падает, падает и никак не достигнет дна...

Перевел с испанского
РОСТИСЛАВ РЫБКИН

ДЕВУШКИ, СРАБОТАННЫЕ ПО НАУКЕ

У нас, в Неошо, все началось с Кенди Браун. В городах покрупнее так было наверняка давно, но там, быть может, не искали причин.

Мне было десять лет, когда Кенди приехала к нам из Канзас-Сити, но даже я понимал, что девушке с такой фигуркой и лицом да еще с таким именем* не место в нашем захолустье. Ей бы жить в Нью-Йорке и сниматься в рекламе вечерних туалетов с открытыми плечами, или черного кружевного белья, или пенистого мыла. Впрочем, какой бы товар она ни представляла, в первую очередь она представляла любовь. Слово «любовь» наилучшим образом сочеталось с именем Кенди.

Говорят, что мода на женскую красоту так же меняется, как мода на платье. Возможно, мой прадед сказал бы, что ноги и талия Кенди слишком тонкие, а бедра и грудь слишком пышные, но все молодые люди в Неошо, ослепленные красотой незнакомки, не находили, что в ней надо перераспределять даже одну унцию.

Весть о приезжей распространилась по нашему городу быстрее, чем было тогда, когда на почте разбили флакон духов, полученный для кого-то наложенным платежом. И не успела она войти в гостиницу, как туда уже сбегался народ. Некоторым счастливицам удалось захватить кресла в вестибюле, остальные толпились и галдели, как на распродаже бычков.

Зато мне повезло. Как самый маленький, я протиснулся к приезжей и увидел совсем близко ее золотистые волосы, голубые глаза и ярко-красные губы. От нее пахло свежим сеном, я обожал этот запах.

В городе с места в карьер начали судачить главным образом, понятно, женщины. Одни говорили, что она замужем и не жди у нее успеха: вслед за ней явится муж. Другие говорили, что нет, незамужем, хотя по годам ей пора. Третьи утверждали, что она вдовушка, а некоторые открыто выражали возмущение: мол, по внешности видать ее профессию, и куда смотрит шериф, допуская такое в Неошо и к тому же в гостинице?

Приезжую поначалу звали мисси Браун — среднее между мисс и миссис, так и не выяснив, есть ли у нее муж. А я вот узнал это уже в первый день. У нее на пальце не было обручального кольца, и, что важнее, она обещала выйти за меня замуж. Обещала после того, как расписалась в книге для приезжих, которую подал ей

* Кенди — по-английски конфета [Примеч. перев.].

Марв Кинкейд, дневной дежурный, Марв едва оторвал от нее взгляд, чтобы прочесть подпись.

— Кенди! — произнес он с блаженным вздохом.

И так же блаженно вздохнули все мужчины, которые толпились вокруг. Тут-то я и вымырнул:

— Мисс Кенди, а вы выйдете за меня замуж?

Она поглядела сверху вниз и рассмеялась.

— Как тебя зовут? — услышал я медовый голосок.

Я даже не сразу вспомнил свое имя.

— Джим, — ответил я.

— Что ж, выйду, Джим. Обещаю. Выростаю поскорей.

Но за меня она не вышла. А вышла за Марва Кинкейда, кстати, самого невзрачного парня, и осталась с ним в Неошо и свила для него уютное гнездышко. Злые языки предсказывали, что проку не будет от этого брака, что она его бросит или превратит в горького пьяницу, что он ради нее запустит лапу в кассу гостиницы и его посадят или найдут в пэдвале с перерезанным горлом.

Однако ничего подобного не произошло. Зато Марв перестал околачиваться в бильярдных и проводил вечера дома, поступил на заочный факультет и в конце концов стал управляющим гостиницей. Кенди никому не делала плохого — ни Марву, ни посторонним. Жила она замкнуто, не сплетничала, не ходила в гости, ни с кем не флиртовала, и это, кажется, сильнее всего бесило наших кумушек. А что касается городских кавалеров, то они вскоре стали переключаться на другие объекты. После свадьбы Кенди к нам в город приехала Трейси. Их можно было принять за близнецов, хотя Трейси была рыженькая и имела несколько иные черты лица. Но, как и Кенди, она воплощала мужскую мечту: ангел да и только, красотка с прелестной фигуркой. Ее мужем стал доктор Уинслоу. Правда, в то время он еще не был доктором, а просто Фредом Уинслоу и отнюдь не завидным женихом. Зато потом, когда, потрудившись, он выучился на доктора, Фред говорил, что ему это удалось благодаря помощи Трейси.

После Трейси к нам приехала Чучу, за ней Ким, за ней Далзс, а после них Эйприл, и мне тогда уже стукнуло восемнадцать, и Эйприл стала моей женой. Эйприл была блондинка, как Кенди. И фигурой она очень напоминала Кенди, будто их отлили из одной формы. Вначале меня это чуточку беспокоило: не влюбился ли я только по сходству? Но Эйприл оказалась идеальной женой, и я никогда не пожалел о своем выборе. Найдите другого мужчину, который мог бы сделать такое признание!

Эйприл обладала всеми достоинствами, нужными для хорошей жены. Уравновешенная, но не флегматичная, ласковая, но не

властная, она интересовалась моими делами, хотя не совала нос куда не следовало. Она была прекрасной кулинаркой. Не ленилась встать поутру и приготовить мне сытный завтрак, а в полдень когда я приходил домой, второй завтрак — аппетитный, но с учетом калорий. К обеду у нее всегда был какой-то вкусный сюрприз. Она штопала мне носки и пришивала пуговицы, гладила рубашки и чистила ботинки, а когда у нас в Неошо задергиваются шторы, выполняла то, что щедро обещали ее личико и ее прелестные формы, да так, что любой муж был бы доволен. Вдобавок ко всему она мыла по субботам машину; не знаю, как в других местах, но в нашем городе никто большего от жены не требует.

А наши кумушки все не переставали судачить:

— И откуда их сюда приносит, хотела бы я знать?

— Девчонка эффектная, не спорю, но чем моя Джейн хуже? И вряд ли такая финтифлюшка умеет печь пироги, как моя Джейн!

— Какой бес их сюда тянул, раз уж они такие замечательные? Не могли, что ли, найти себе мужей в других городах?

И некоторые предвещали:

— Что-то здесь неладно, припомните. Скоро увидите мужей-горемык!

Но горемыками оказались другие — те, кто женился до появления Кенди. А кто женился после, устроили себе приятную жизнь, в том числе, как я уже говорил, и ваш покорный слуга.

Я поступил на службу в банк, работал с усердием и дослужился до первого вице-президента. Я знал, что через год старик Байли уйдет на пенсию и я займу его кресло президента.

Джесс Холл, женившись на Чучу, окончил юридический и стал первым юристом в городе. Лиж Симпсон, взявший в жены Ким, был избран сенатором. А Байрон Джорджи, муж Даллас, владеет сетью универсамов. Я мог бы этот перечень продолжить. И после Эйприл к нам прибывало еще много таких же девушек, и все они повыходили замуж. И у всех у них мужья преуспели. А те, кто умер, дали возможность своим вдовам выйти вторично замуж и помочь новым супругам тоже сделать карьеру.

Кого я жалел, так это наших местных девиц. Они были вовсе не какие-то замарашки. Просто им оказалось не под силу выдерживать конкуренцию таких, как Кенди или Эйприл.

Но это не конец. Слушайте дальше.

По субботам мы играли в покер. Собирались вечером в гостинице шестером: Марв, док Уинстоу, я, Джесс, Байрон и Лиж, если последний находился в городе. В ту субботу, о которой пойдет речь, конгресс был распущен на каникулы, и Лиж приехал домой.

Эйприл не ругалась, когда я уходил. Она никогда не ругается. Но у меня было тяжелое предчувствие, и я с порога спросил:

— Дай честное слово, ты не сердись, что я тебя оставляю?

Она поправила воротничок моей рубашки нежными пальчиками и поцеловала меня. Она выглядела сейчас несколько не старше, чем двадцать лет назад, пожалуй, даже еще красивее.

— Ну что ты! — ответила она без ехидства, свойственного некоторым женщинам. — Ты же со мной шесть вечеров в неделю. Имеешь полное право развлечься в мужской компании. — И она подтолкнула меня к двери.

Во время игры док вдруг ни с того ни с сего спрашивает:

— А не странно ли вам, друзья, вот нас тут шестеро счастливо женатых мужчин, а ни ребенка, ни цыпленка ни у кого из нас нет.

Лиж рассмеялся:

— Может, потому-то мы и счастливы. Мои знакомые, у которых дети, все нервные, издерганные. Впадают в истерику по любому пустяку.

— И все-таки смотрите, ни одна из приезжих не стала матерью, — стоял на своем док.

— Да что ты... — возразил было Байрон, но он не сумел назвать ни одной пары с ребенком.

— И постепенно в городе уже почти не стало детей, — продолжал док, — одно время мне казалось, у молодого Фишера или у Джонсов ждут прибавления, но вот же нет, как видите.

— А почему? — спросил в упор Джесс.

— Должен сказать правду: Трейси бесплодна, — столь же прямо ответил док. — Мне хотелось иметь детей и спустя некоторое время я послал ее обследоваться. И, узнав правду, — док пожал плечами, — заставил себя утешиться тем, что полного счастья ведь ни у кого не бывает.

— А я считал повинным за это себя, — сказал Байрон.

— Так же и я, — сказал Марв. — Я думал, Кенди винить тут немислимо.

Мы все подтвердили кивками — конечно, немислимо. Потом долго молчали. Я даже забыл, что у меня три туза и пара.

— Итак? — нарушил я молчание.

— Что итак? — переспросил Марв.

— Чем ты, как доктор, это объяснишь?

— Возможно, все они бесплодные, — с явной неохотой ответил док.

— Но почему? — снова спросил Джесс.

— Почему именно приезжие?

Разговор принимал неприятный оборот. Я сказал:

— Давайте продолжим игру.

Но Джесс уже был в своей обычной роли: он всегда должен

был докопаться до сути. Когда он выступал в суде, с ним было трудно спорить.

— Откуда все они взялись? Свою жену кто-нибудь когда спрашивал?

Первым ответил Марв:

— Кенди приехала из Пассейка, штат Нью-Джерси. Я видел ярлык у нее на чемодане.

— И Чучу оттуда же,— сказал Джесс и, помолчав, добавил: — Я сам ее спрашивал.

Мы посмотрели на него с почтением, как смотрят честные трусы на глупца, осмелившегося играть в русскую рулетку.

— А что там у них в Пассейке? — спросил Байрон.

— Много красивых матерей,— усмехнулся док.

Случалось ли вам находиться в компании, где кто-то выскажет мысль, а другой подхватит ее и придаст ей новый, зловещий смысл? Сейчас уже Джесса нельзя было остановить.

— А рассказывали они вам о своих семьях? Вспоминали отца, мать, сестер или братьев?

Все, как один, замотали головой — такого нет, не было. Черт, тут и меня пробрало, а Марв — тот крикнул:

— Кто же их произвел на свет там, в Пассейке?

Джесс дернул плечом.

— Может, специальная фабрика.

Мы засмеялись: шутник этот Джесс!

— Как будто есть фабрики, выпускающие бесплатный тозар,— сказал Байрон.

— А про товар в кредит ты что, не знаешь? — Джесс презрительно сощурил глаза. — Можно подумать, ты ведешь счет каждому центу, который даешь своей Даллас? Небось, даешь то пятерку, то десятку лишнюю, так же, как я. Ты хоть не делал первого взноса, зато с тебя возьмут по двадцать долларов в неделю в продолжение всей твоей жизни. А то и больше. Таким образом, ты за любую вещь в конце концов выплатишь.

Я робко добавил:

— Я вот у себя дома и половины тех вещей не вижу, на которые Эйприл просила у меня деньги.

Нас сердито оборвал Байрон:

— Мы с вами достаточно богаты, чтобы себе это позволить. К тому же если бы не Даллас, у меня и не было бы столько. Хорошая жена стоит любых денег.

— Пусть так,— примирительно сказал док,— но можем ли мы позволить себе другое — бесплодие? Разумеется, ты, он или я, мы обойдемся без детей. А если взять город, нацию, расу? — Он оглядел нас без улыбки. — Если не продолжится род Уинслоу, большо-

го урона не будет. Но Неошо умирает. И Соединенные Штаты тоже. Падает рождаемость. Специалисты считают это естественным после рекордных цифр сороковых и пятидесятых годов, но объясните катастрофический процент рождаемости количеством приезжих девиц из Пассейка, и все будет ясно, как дважды два.

— Очень глупо! — возразил Марв. — Никакой бизнес не может сам уничтожать свой рынок сбыта.

— Именно может, коль скоро он для этого создан.

— Неужели красные? — с сомнением пробормотал Байрон. — Да нет! На этот счет давно спокойно. У них свои заботы.

— В том числе такие же, как у нас: падение рождаемости, — сказал док.

— И если бы так, это было бы уж давно раскрыто ФБР, — сказал я, чтобы охладить фантазию моих друзей.

— Точно, — подтвердил Джесс.

— Тогда объясни, как ты это понимаешь, Джесс, — попросил Марв.

За Джесса ответил док:

— Мне кажется, Джесс намекает, что правительство планирует падение рождаемости.

— Ну нет, это было бы слишком, — Джесс посмотрел на него с прищуром. — Но наш город обречен. За двадцать лет ни одна местная девушка не вышла замуж, а только эти — из Пассейка. И за последние пять лет в нашем городе родился лишь один ребенок, у Мак-Даниелс, когда ей было почти сорок.

— Ты это серьезно?

Джесс вытер потные ладони скомканным носовым платком.

— Мне страшно. — По тону можно было ему поверить.

Марв сказал сдавленным голосом:

— Ты всех нас напугал, Джесс. Продолжай, раз начал. Все равно мне нынче не уснуть.

Джесс глотнул воздуха и договорил:

— Похоже, что кто-то ликвидирует... человечество.

— Как так?

На это ответил док:

— Ученые делают стерильных женщин и такого высокого качества, что люди уже не желают жениться на других. Тем более что отцовский инстинкт — не врожденный. До женитьбы он у нас практически отсутствует. Для холостяка чужой ребенок нечто хуже черта. Но вот холостяк женился. Если он согласится иметь детей, так только потому, что это нужно. А вовсе не потому, что он этого жаждет.

Но Джесс, разведя руками, повторил:

— Нас ликвидируют. Помните, лет тридцать назад, в пятидеся-

тых годах, многие божились, будто видели летающие блюдца. Потом уж перестали. А я сегодня могу поверить, что, может, марсиане, а может, венерианцы явились на Землю и построили эту фабрику в Пассейке. И тем обрекли нас на самоубийство.

— Зачем им это надо? — спросил Байрон.

— Затем, что Земля — довольно выгодный кусок недвижимости, — ответил ему Джесс. — Водопровод, центральное отопление, хороший воздух. Вот они там и создали производство, устроив так, что сами жертвы его финансируют и способствуют росту. И венерианцы ждут своего часа. Лет через сто, а может, и меньше они явятся на Землю и завладеют всем, а бывшие владельцы исчезнут с лица Земли. Выгодно, просто и дешево. Не то что война.

— Если нас хотят уничтожить, почему же правительство не принимает мер? — сказал Марв.

Мы все уставились на Лиж. Наш сенатор до сих пор не промолвил почти ни слова. Но сейчас он заговорил, тихо и размеренно:

— Даже если это правда, что может сделать правительство? Допустим, оно тебе скажет, Марв, что твоя Кенди — это оружие нападения, ты наверняка посмеешься, а может, рассердишься и будешь голосовать за другое, не такое идиотское правительство. А если власти предложат тебе избавиться от Кенди, тогда им — прощай, Вашингтон!

— Надо полагать! — бодро отозвался Марв.

— С другой стороны, если правительство прикажет закрыть фабрику в Пассейке и прекратить выпуск всех этих кенди, ким, чучу и прочих, девяносто девять шансов против одного, что кто-нибудь оповестит венерианцев: дескать, план номер один провалился, приступайте к выполнению номера два. И второй номер может оказаться куда более страшным. С расой, которая умеет изговзлять женщин по науке, таких, которые годятся для всего, кроме материнства, как, например, моя Ким, с такой расой я не хотел бы начинать войну.

Мы все сидели как в воду опущенные. Мысль эта проникла в наше сознание, но трудно было поверить в подобные последствия.

— Погоди, — сказал Байрон, — ты, Лиж, говоришь с такой уверенностью, а ведь это только твое предположение?

— Нет, я вам сказал правду, — ответил Лиж. — Наверно, мне на следовало разглашать это вам. Правительству все это уже давно известно. Может, вы сами, друзья, найдете решение. Мы это сделать не имеем возможности. Если такие факты станут широким

достоинством, в Америке поднимется паника, и тогда венерианцы не станут ждать сто лет.

— Все равно я не откажусь от Кенди,— закричал Марв.— Мне безразлично, откуда она, но я большего не требую от женщины. А если кто пожелает отнять ее у меня, пускай приходит с оружием в руках и прихватит помощников.

— Мы тебя понимаем,— сказал ему Джесс.— У нас у всех точно такое чувство.— Мы подтвердили его слова безмолвными кивками.— Но наш долг,— продолжал он,— принести жертву. Будем считать себя солдатами, а солдат обязан стойко переносить лишения.

Нам ничего не оставалось, как согласиться. А я так и не побил семерки своими тузами.

И вот, мы свой долг выполнили. Когда в будущем веке венерианцы явятся на Землю, их будет ждать неприятный сюрприз.

Пример тому — моя нынешняя жизнь. Вчера я запер банк, президентом которого теперь состою, и прошел пешочком несколько кварталов до небольшого коттеджа с белой изгородью. Ребятишки высипали мне навстречу: пятилетний Кит, четырехлетний Кевин, трехлетняя Лори, Линда двух лет и годовалый Карл. Кинулись на меня, как мурашки на хлебную корку, стали тянуть за ноги, за руки, «Папа, папа, палочка!» — орала все хором, кроме маленького Карла, который еще не умеет говорить, зато умеет повиснуть на тебе так, что не сторвать.

Я втащил всю компанию в дом, чувствуя себя вдвое моложе своих 44 лет, и оторвал их от себя, пошлепав каждого разок по мордочке, разок по попке.

— Явился,— сварливо встретила меня Джейн,— решил все-таки уделить несколько минут своему семейству?

Я буркнул что-то в ответ и клюнул ее в потную щеку. Она стояла у плиты, готовя ужин для всего выводка.

— Ты действительно можешь уделить нам немножко времени? — продолжала она язвительно.— Право же, мы не хотели бы лишать других особ твоего общества.

Я прошел в комнату и сел в свое любимое кресло, ничего не отвечая. Лучше промолчать. Джейн опять разнесло: она на восьмом месяце, а в такое время они становятся еще злее, чем обычно. И так достаточно неприятные, а уж когда такое, так хуже нет. Ведь, кажется, рада, что я пришел!

— Один Бог знает, как мало мы в тебе нуждаемся,— не унилась Джейн.— Можешь подняться в любую минуту и уйти.

— Хсрошо, милочка,— сказал я, отлично зная, что сейчас нельзя уходить.

— Только потому, что ты платишь по счетам,— ярилась Джейн, размахивая ложкой перед своим носом,— ты вообразил, что ты здесь хозяин. Так вот, да будет тебе известно...

И все-таки я вам скажу, что венесолонцы совершили одну серьезную ошибку. Они забыли, что человеческие индивиды не одинаковы: женщины моногамны, а мужчины полигамны. Я в состоянии терпеть характер мой Джейн. Это даже до некоторой степени вносит разнообразие. Ведь я слышу такие тирады лишь один вечер в неделю. А когда уже становится совсем невозможно, я могу подняться в любую минуту и уйти. Уйти домой к Эйприл.

Перевела с английского
В. ЛИМАНОВСКАЯ

Э. ГОЛИГОРСКИ

ОН РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ

— ...И наше блистательное отечество, украсившись цветами и флагами, готовится встретить сегодня одного из самых бесстрашных своих сыновей, покрывшего себя неуязвимой славой в походах на край Вселенной. Коммодор Маурисио Аррингтон Бустаманте, тот, кому выпала честь стать первым и пока единственным аргентинцем в экипаже межпланетного флота Земли, возвращается к нам, домой! Свой долг он выполнил с той же доблестью, какая отличала его благородных предков. Представитель рода, прославившего себя героическим служением Аргентине на поле битвы, коммодор Маурисио Аррингтон Бустаманте проявил, отвоевывая у неба его тайны, ту же отвагу, с какой его легендарный предок Кентавр Независимости капитан Гильермо Аррингтон повел аргентинскую кавалерию в атаку в битве при Пачинче; ту же стойкость пионера, с которой другой выдающийся его предок, полковник Люсиано Бустаманте, отражал набеги индейцев на нашу границу у Олаварри...

У его ног, в берегах из кристаллов гранатового цвета, скользила река. Желтый песок дна и замедленность течения придавали воде такое сходство с медом, что хотелось попробовать ее на вкус. Огромный шар зеленого пламени опускался за ониксовый хребет, высекая из далеких полупрозрачных вершин ослепительно яркие искры, и тень соседнего леса становилась все длиннее, уже подползала к нему. Внезапно там, где лишь секунду назад был чистейший красный небосвод, за клубились два белых облака, и повто-

рилось то, что вызвало у него такой восторг в это же время дня накануне: между облаками и лесом колым светящимся пунктиром протянулся мелкий дождь электрически заряженных частиц, и в черной кожистой листве гигантских деревьев послышались частые щелчки. К этому странному звуку присоединился другой,— хлопанье сотен крыльев: это поднялась, расправляя свои радужные перелонки, такая большая и тонкая, проснувшаяся от треска стая давраков.

Жара никак не спадет. Кондиционер рычит, фыркает, мурлычет, но все впустую — мне не хватает воздуха. Из окна восьмидесятого этажа вижу огни Буэнос-Айреса. До чего же, если посмотреть с высоты, однообразен и безрадостен город! И подумать только, для кого-то это чудо Вселенной!

— ...Отвагу и пионерский дух — качества, прочно связанные для нас с именами Аррингтонов и Бустаманте, тех, кто, едва закончилась эпопея освобождения и завершились оборонительные операции против индейцев, посвятили себя благородному делу развития земледелия и животноводства Аргентины. Свидетельство тому — большие образцовые хозяйства, осененные фамильным гербом Аррингтонов — Бустаманте, очагами процветания и прогресса рассыпавшиеся по югу нашей страны. Надо ли удивляться после этого, что коммодор Маурисио Аррингтон Бустаманте, роду которого страна обязана расширением ее границ, взял с собою в бесконечность небес миссионерский дух своих предков? Но ареной его подвигов стали девственные дали космоса, и в них...

Когда зеленое солнце скрылось за хребтом и непрозрачное основание гор преградило путь его лучам, на какой-то миг стало темно, но почти сразу из противоположной солнцу точки горизонта поднялись пять лун, располагавшихся (это казалось невероятным) по вертикали одна над другой, в порядке величины — от самой большой наверху к самой маленькой. В их бледном зеленоватом сиянии, отраженном свете закатившегося солнца, все вокруг преобразилось словно по волшебству. Электрические разряды оборвались, и давраки вернулись на деревья, снова наполнив листву шорохами и шелестом. Из глубины леса слышалось что-то похожее на мелодичные трели.

— Это Гликс,— сказал его провожатый, вытягивая по направлению к реке свой длинный, растущий на груди хоботок.— Он начинается за Горами Зката, в лугах, где растут сладкие плоды. Воды его втекают в море, на берегу которого стоит Схаман, наш город.

Схаман... Отсюда, с холма, он разглядел, наконец, в хо-

лдном свете пяти лун приземистое здание из горного оникса со странными террасами разных очертаний и видов, здания, связанные между собой целым лабиринтом узких застекленных переходов. На каждом из четырех углов огромного квадратного города высилась обсидиановая пирамида, и под каждой из пирамид скрываются подземные ходы, в которые чужаков не пускают. А еще дальше, по ту сторону города — зеркальная гладь моря, протянувшаяся насколько хватает глаз...

Скучно. Сегодня звонила Моника: зайдет вечером за мной, поедем с ней куда-нибудь поужинать и потанцевать. Когда напьется, захочет прийти сюда. Потом — хорошо разыгранное рассказие, охи и ахи: как же иначе, ведь родословная обязывает! Не Моника, так Патрисиа, Клаудиа или Сандра... Даже не помню их отдельно, они все перемешались у меня в памяти. Моника, кажется, блондинка с зелеными глазами... да, именно, но чем она лучше тех, других? Шлюха, которой во что бы то ни стало надо занести мое имя в свой список знаменитостей. Потом расскажет завистливым подругам, где и какие у меня шрамы, чтобы исчезли всякие сомнения: да, в биографии великого человека нашлось место и для нее. Шлюхи, самые обыкновенные, несмотря на их хваленые родословные...

— ...Как в индивидуальных полетах, так и в составе международных экипажей он выделялся своим непревзойденным мужеством и находчивостью. Награды и благодарности, которыми отмечен путь коммодора в безднах космоса, — это новые славные страницы в истории наших восинос-воздушных сил. Сейчас, увенчанный лаврами, Маурисио Аррингтон Бустаманте возвращается в места, где прошло его детство, чтобы насладиться там заслуженным отдыхом. Однако это вовсе не означает, что коммодор стремится избежать выполнения своих обязанностей гражданина: Маурисио Аррингтон Бустаманте заявил, что намерен отдать свои силы развитию нашего сельского хозяйства и, как его славные предки, способствовать процветанию Аргентины...

— ...Все это, пришелец, мы хотим сохранить для себя, — говорил провожатый, и зрительный отросток у него на груди вытягивался то в одну сторону, то в другую. — От наших ученых мы знаем, что остальные цивилизации во Вселенной созданы существами, которые отнимают, разрушают и убивают. Поэтому мы решили закрыть наш мир для всех чужих, и ты первый, кому удалось к нам проникнуть. Законы, по которым мы живем, не позволяют нам задержать тебя или убить. Мы можем только просить, чтобы ты никому о нас

не рассказывал, потому что, если ты расскажешь, по твоим следам завтра же придут другие. Мы хотим, чтобы наша планета осталась такой же прекрасной и мирной, какой она была всегда, и если ты согласен в этом нам помочь, мы вознаградим тебя самым дорогим из наших даров: возможностью вернуться к нам, когда ты только пожелаешь. Вернуться одному, без корабля, навсегда.

— Как это возможно?

— У воды Гликса есть необыкновенное свойство. Еще в те незапамятные времена, когда мы только начали исследовать космос, наши космонавты всегда брали с собой в полет фляжку с водой Гликса. Если они терпели крушение на другой планете или что-нибудь плохое случалось их кораблем, достаточно было выпить глоток этой воды, и в один миг они оказывались на берегах Гликса. Правда, если ты это сделаешь, потом ты никогда не сможешь вернуться на свою планету.

Скорей в деревню, забыть обо всей этой грязи! Но ведь и в деревне я буду умирать от скуки и кончу тем, что затоскую по Монике. И это предложение Коко Ландивара... тут он, конечно, прав: с моими лаврами, званием и прочим я стану хозяином всей нашей авиапромышленности. Кто откажет в лицензиях на импорт предприятию, во главе которого стоит национальный герой? Кто откажет в монополии на воздушные перевозки тому, кто побывал по ту сторону звезд?

— ...У того, кого мы имеем честь здесь принимать, есть одно достоинство, о котором следует сказать особо. Ныне многие наши сограждане покидают свою страну, чтобы получить работу в иностранных научных лабораториях или на далеких космических станциях. Авантюризм и жажда наживы побуждают этих неблагодарных пренебречь неисчерпаемыми возможностями наших плодородных равнин и нашего общества, гордого своей верностью традиционным устоям. Поэтому сейчас на торжестве, где мы принимаем и чествуем коммодора Маурисио Аррингтона Бустаманте, пусть этот герой станет для нас тем, что он и есть на самом деле, — носителем наших высших духовных ценностей, и пусть останется он для будущих поколений примером бескорыстия, самоотречения и гражданственности! Я кончил.

Он ответил не сразу, сперва окинув взглядом пейзаж, до неузнаваемости перекрашенный колдовским светом пяти лун. Лес дышал пьянящими ароматами таинственных смол. Трели, доносившиеся оттуда, звучали громче и трепетней.

Внезапно новый электрический дождь пролился из облака на море Схамана.

— Согласен, — ответил он. — Я никому не скажу о том, что нашел эту планету.

И он протянул провожатому фляжку, чтобы тот наполнил ее водой Гликса.

Да, Коко Ландизар умеет вести дела! Кто посмеет обвинить Коко Ландивара в авантюризме или жажде наживы? Впереди Коко, а за ним я с Моникой и лицензиями на импорт! Прощай, капитан Гильермо Аррингтон, Кентавр независимости, прощай, полковник Люсиано Бустаманте, гроза индейских селений! До чего же мал Буэнос-Айрес, когда смотришь на него отсюда, с высоты! И как огромно небо... как огромно!

Из местных газет:

...Вчера, в 21 час 30 минут, дама, чье имя мы не станем здесь оглашать, пришла навестить коммодора Маурисио Аррингтона Бустаманте, с которым она поддерживает дружеские отношения. Как, вероятно, вспомнят наши читатели, месяц назад знаменитого космонавта, уходящего в отставку и решившего посвятить себя развитию нашего сельского хозяйства, торжественно чествовали в нашем городе. Согласно полученным сведениям, вышеупомянутая дама, у которой с коммодором Аррингтоном Бустаманте было назначено свидание, после неоднократных звонков в дверь, на которые не последовало ответа, расстроилась до такой степени, что у нее начался нервный припадок. Полиция, прибывшая через несколько минут по вызову соседей, установила, что дверь в квартиру заперта изнутри. После новых безрезультатных звонков офицер полиции распорядился взломать дверь. В апартаментах коммодора царил абсолютный порядок, только на полу кабинета валялся тлеющий окуроч сигары. Из этого, по-видимому, следует, что в момент, когда приглашенная дама подошла к двери, постоялец еще был внутри, и поскольку единственный выход из квартиры находился и до прибытия полиции под непрерывным наблюдением, исчезновение космонавта представляется совершенно необъяснимым. Еще одна странная деталь: на полу кабинета валялась фляжка, внутри которой обнаружено несколько капель воды...»

Перевел с испанского
РОСТИСЛАВ РЫБКИН

КВАДРИОПТИКОН

Это было мрачное помещение, чем-то отдаленно напоминавшее просторный фамильный склеп. Со стен, шелушившихся, точно ствол мертвого дерева, свисали куски асбеста и пробки; драпировки просцаниума давно уже обратились в лохмотья, а штукатурка на потолке была покрыта густой паутиной трещин. Зато пол Просмотрового Зала № 7 устилал великолепный ковер: мягкий, толстый, темно-красного цвета. Как и лицо Шермана Ботичера, который, непринужденно улыбаясь, пытался скрыть беспокойство, но ему никого не удалось провести, ибо его улыбка выглядела так, словно ее нарисовал обгорелой спичкой какой-то маленький озорник. У собравшихся в студии людей истинное положение вещей не вызвало никаких сомнений: Шерман Ботичер терял последние остатки самообладания.

Наконец он взглянул на часы, хихикнул и, трепеща, ступил на авансцену.

— Ну что ж,— сказал он,— пожалуй, пора начинать. Рока несомненно задержали какие-то важные обстоятельства, однако из уважения к мистеру Менделу, который, как мы все знаем, человек очень занятой... Джимми! Поехали.

Освещение погасло, и зал погрузился в темноту. Включили прожектор, и голубоватое пятно света, проблуждая несколько секунд по залу, остановилось на подслеповатом лице продюсера. Ботичер открыл рот и начал:

— Дамы и господа, сейчас вы познакомитесь с самым необычайным, самым потрясающим изобретением за всю историю кинематографа. Благодаря открытию, которое произвело переворот...

— Руки вверх!

В луче прожектора возник высокий стройный мужчина и бесцеремонно оттолкнул Шермана Ботичера в сторону. Мужчина держал в руке какой-то серебристый предмет.

— Я из полиции нравов. Все присутствующие арестованы за нарушение Закона о поведении мужчин и Закона о поведении женщин. Чем, к примеру, занимается вон та парочка в третьем ряду балкона?

На лице директора студии Маркуса Менделя промелькнула самая мимолетная, самая слабая, самая вынужденная улыбка, и он быстро перевел взгляд с нарушителя порядка на стену, где вскоре должны были установить экран.

Ботичер разжал свои маленькие кулаки и схватил мужчину за руку:

— Ты как раз вовремя, Рок. А теперь будь умницей, пройди к своему месту... Рок, ну, пожалуйста,— проскулил Ботичер.

Рок Джейсон, настоящее имя которого было Лерой Гиннес О'Ши, подмигнул и опустил руку на чью-то голую и невероятно васнушчатую спину.

— Будь я проклят, если эта волынка не продумана заранее, чтобы щекотать публике нервы!

Шейла Тейлер весело улыбнулась.

— Призет, лапуля!

— Дорогая!

Спотыкаясь о чьи-то ноги, Джейсон направился к своему месту и уселся рядом с широкобедрой королевой хроникеров Долли Диксон. Приторная улыбка мгновенно преобразила ее лицо в сморщенный резиновый шарик, из которого выпустили воздух.

— Рок, скверный мальчишка... Ей-Богу, ты опоздаешь даже на собственные похороны! Ты еще не выдохся?

— В некотором смысле да,— сказал Джейсон, с разочарованным видом встряхнув фляжку. Вдруг он вскочил на ноги.

— Я отказываюсь сидеть рядом с этой женщиной!

Долли Диксон покраснела и неестественно расхохоталась.

— Замолчи, Рок! Хватит!

На окаменевшем лице Ботичера двигались только глаза.

— Но потому,— пояснил Джейсон, вlepя поцелуй в обильно напудренную щеку Долли,— что она дает волю рукам.

— Рок, да будет тебе! Этаким бессовестный лгун!

Джейсон улыбнулся. И икнул.

— Ладно уж... Только уговор — никаких вольностей.

— Ха-ха. До чего же остроумно, просто сил нет!

Он круто обернулся. Во всем мире только один человек мог отважиться на такой открытый выпад в его адрес. Роби. Дорогая Роби, его партнерша по фильмам, знаменитая кинозвезда, лицо которой украшало обложки множества журналов.

— Ах, кого я вижу,— проворковал Джейсон.— Среди нас присутствует еще один кумир Америки. Как поживаешь, милочка?

Но Робин Саммерс даже не улыбнулась.

— О, великолепно,— бросила она.— Кстати, не считает ли мистер Любимец Публики, что ему пора заткнуться?

Она была сегодня хороша до неприличия. Белая блузка без рукавов подчеркивала блеск ее золотистой кожи, пышные темные волосы оттенялись простыми серебряными сережками...

— Не пыли, крошка,— молвил Джейсон.— То, что ты здесь упустишь, получишь с лихвой в ближайшем борделе.

Долли буквально растаяла. Дряблые складки ее жирного тела

содрогались от восторга и источали сильнейший запах мускуса. От этого аромата вкупе с выпитым виски Джейсо-чу стало муторно.

Робин Саммерс откинулась на спинку стула, возмущенно поджав свои пухлые округлые губы.

Джейсон еще раз икнул.

— Начинайте! — проревел он. — Я уступаю место.

Огни снова погасли, и луч прожектора выхватил из мрака виноватую и беспомощную фигуру Ботичера.

— Как я уже сказал, — пропел он, — это событие исторической важности. То, что вы сейчас увидите, является результатом самого значительного открытия за весь период, прошедший с момента появления трехмерных фильмов и даже звуковых! Сложнейший процесс, на разработку которого мы потратили десять лет...

Теребя усы, Джейсон тихо фыркнул.

— Бедняга Шерм просто душка, — прошептал он, склонившись к уху Долли. — Он так убедительно врет. Интересно, найдется ли на свете человек, который бы не знал, что тот тихоня — как его там, Готфрид, Гештальк — сделал это открытие совершенно случайно...

— ...и отныне все галактическое кинопроизводство будет пользоваться этим потрясающим изобретением, имя которому «Квадриоптикон». Я не собираюсь утомлять вас описанием технических деталей. Хочу только сказать, что наш аппарат дает зрителю возможность проникнуть в самое нутро демонстрируемого фильма! Для этого не нужно пользоваться специальными очками, не нужно напрягать зрение. Короче, зритель не испытывает никаких неудобств. Дамы и господа, убогие трюки трехмерного кино навсегда ушли в прошлое. С экрана больше не будут лететь в вас разные предметы! Друзья, ощущение реальности теперь не покинет вас ни на минуту! «А почему?» — спросите вы. Да потому, что, подобно человеческому глазу, «Квадриоптикон» расчленяет изображения. По сути дела, призмоскопический экран смонтирован из множества самостоятельных плоскостей, каждая из которых выполняет функцию того или иного элемента глазного дна. — Для вящего эффекта Ботичер постукал пальцами по стеклам своих очков. — Вам когда-нибудь приходилось смотреть на занавешенное тюлем окно? Что вы при том видите? Минуточку, вы видите две совершенно разные вещи. Концентрируя внимание на занавеске, вы не видите того, что находится снаружи, однако если вы соответствующим образом настроите свои органы зрения, тюль исчезнет, верно? Итак, наш удивительный аппарат, работая по этому принципу, дает возможность проделывать то же с проецируемым изображением.

Ботичер окинул гордо-пренебрежительным взглядом неподвижные лица присутствующих.

— Впрочем, не будем забегать вперед. Я хочу, чтобы остальное стало для вас приятной неожиданностью. Еще раз подчеркну, что это изобретение послужит толчком к сногшибательному перевороту в кинопроизводстве. Оно вернет «Галактик Пикчурс» былую мощь и славу и сделает ее крупнейшей кинокомпанией в мире!

Ботичер оттаивал. Растерянность его как рукой сняло — «Квадриоптикон» был его любимым детищем. Речь его все больше смахивала на завывания скверного аукциониста. Его лексикон пестрил такими словами, как «потрясающий» и «сногшибательный».

— Естественно,— продолжал он,— что в первом в мире четырехмерном фильме...

Зрители оживились — наконец-то было произнесено магическое слово «четырёхмерный»!

— ...главные роли исполняет неподражаемая пара — Рок-и-Роби, эти великие актеры, кумиры Америки. Дамы и господа, сейчас мы вам покажем самый потрясающий из всех когда-либо виденных вами научно-фантастических фильмов, который создан по не имеющему себе равных сценарию...— Герман Манчини, автор сценария, вобрал голову в плечи.— Итак, «Завоевание Юпитера»! В главных ролях Рок Джейсон и Робин Саммерс! Фильм снят на истинне сказочную цветную пленку не менее сказочным четырехмерным аппаратом «Квадриоптикон»!

Прожектор погас, и зал погрузился во тьму. Рок Джейсон улыбнулся: он присутствовал на просмотре отдельных фрагментов картины. Что ж, получилось довольно удачно. Главный эффект достигался какими-то манипуляциями с призменным экраном (он слышал, как его сейчас в темноте монтировали), а также распыляемыми с помощью особых мехов ароматическими смесями. Целью последнего было, «помимо изображения и звука, включить в кинофильм и запахи». Отлично. Это, безусловно, возбудит публику, а следовательно, принесет ему кругленькую сумму... Впрочем, долго это не продержится, и «Квадриоптикон» постигнет печальная судьба всех других новшеств, которые вводились в кинопроизводство за время, истекшее после изобретения трехмерного кино. И тогда «Галактик» снова схватится за него, как утопающий за соломинку. Тоже неплохо.

За спиной он слышал дыхание Роби. «Вот глупышка,— подумал он,— как же она меня ненавидит». У всех великих людей были враги. Неужели она не понимает, что он может ей здорово навредить! Ведь откажись он с ней сниматься, что тогда будет с этой независимой мисс Саммерс?..

— Я так взволнована,— прошептала Долли,— что вот-вот подпрыгну. А тебе не хочется подпрыгнуть, Рок?

— Хочется, душенька. Как дрессированной собачка.

— Ясно, что они умышленно подогревают публику. Это работа Шерма. Как же он энергичен! Да, Шерм пойдет далеко.

— Шерм — вонючка, — с искренним убеждением заявил Джейсон.

Снова включили свет. Комик Билли Земло встал во весь рост и издевательски заулюлюкал. По залу пробежал шелест.

— Маленькая неувязка с синхронизацией, — донесся из будки взволнованный голос Ботичера.

Проплыл по чьим-то ногам, Джейсон вывалился в проход. Он только один раз приостановил свое стремительное движение, чтобы показать Менделу язык.

— Успокойтесь! — загремел он. — К счастью, помимо прочих талантов, которыми меня щедро наделила природа, я еще и искусный киномеханик.

Не выпуская из рук фляжки и выписывая вензеля, он направился к будке.

Роби задохнулась от злости. Он мог в этом покаяться, даже не глядя в ее сторону. Почему она так бесится? Ее глаза, ее черные-черные глаза метали молнии.

— А ну, ребята, пустите-ка меня к аппарату!

— Все в порядке, Рок, — заверещал Ботичер. — Все в полном порядке. Аппарат мы уже наладили. Почему бы тебе...

— Чепуха! Разрешите взглянуть специалисту.

Он и сам толком не понимал, зачем заварил эту кашу. Он явственно представил себе ужас на лицах других участников фильма. Он вспомнил о Гае Рэндолфе, запуганном старом актере, который когда-то играл в трагедиях Шекспира, а потом просидел три года без работы; о Бертоне Митчелле, находившемся сейчас на грани нищеты и возлагавшем на этот фильм свои последние надежды. Он подумал об остальных трясущихся от страха актерах, которые сознавали, что от этой ленты зависит их успех или падение — смотря по тому, как пройдет просмотр. И он, Рок Джейсон, своим подлым поведением мог подложить им всем хорошую свинью.

— Рок, пойми, сейчас не время для забав. Мы должны считаться с Менделем. Пожалуйста, Рок, вернись на свое место.

Огни снова погасли. «Квадриоптикон», эта кошмарная коробка, которая даже отдаленно не напоминала проекционный аппарат, загудела и стала постепенно нагреваться.

— Не смей мне указывать, ты, жалкий подхалим! Я сказал, что налажу аппарат, и я выполняю свое обещание!

Джейсон отшвырнул хилое тело Ботичера в сторону, приблизился к будке и решительно распахнул дверцу.

— Не прикасайтесь! — закричал какой-то маленький человечек, хватая его за руки. — Я не разрешаю вам трогать аппарат! Это был мистер Готшалк.

— Пошел прочь! — рявкнул на плешивого старика Джейсон. Внутри будки Джейсон увидел два электрода. Между металлическими стержнями с шариками на концах, потрескивая, плясал белый огонь. За электрическим полем виднелась какая-то рукоятка с нарезкой, и Джейсон протянул к ней руку.

— Nein, nein! Покотите. Я сейчас выключать...

Правая рука Джейсона, в которой он держал фляжку, оперлась о железный ящик с кнопками управления, левую руку он протянул вперед. Его плоть защекотали и опалили искры. Сосуд с остатками виски прикоснулся к металлу как раз в то мгновение, когда он схватился за рукоятку. Рок Джейсон почувствовал, как чья-то гигантская рука подняла его над землей и зашвырнула далеко-далеко, туда, где царили крошечная тьма и покой...

— Капитан Карлайл, сэр, я... — произнес кто-то, беспомощно заикаясь. — Как вы можете выдержать такую нагрузку? Разрази меня реактивный двигатель! Вы же пять суток не сомкнули глаз.

Рок Джейсон открыл сначала один глаз, потом другой. Он потряс головой и застонал, пытаясь сообразить, что с ним происходит, но не тут-то было. На него напала неодолимая сонливость, чего с ним не случалось уже давно — со времени памятного кутежа в Малибу. Дремота сковала его мозг.

— Ты прав, Ронни. Не пойму только, что со мной творится.

— Что вы сказали, сэр?

Джейсон взглянул на стоявшего рядом с ним молодого человека. Так... Ну конечно, была крупная пьянка. Наверно, с этой шлюхой Дорис Дюлейн. Здорово же она его накачала. Впрочем, он мог набраться и сам, без посторонней помощи. А теперь они устроили одну из своих идиотских мистификаций. Вроде знаменитой перевернутой комнаты Эдди Фритца.

— Ронни, будь панькой, сними с головы этот дурацкий масонский колпак. И помоги мне добраться до кровати. Ну живее.

Рональд Кэртис, типичный голливудский шалопай и неисправимый нытик, стоял навтыжку, демонстрируя отличную выправку. Принимая во внимание все обстоятельства, это было большой дерзостью. Если бы не его, Джейсоново, доброе сердце, парнишка и поныне восседал бы на высоком табурете в баре «У Шваба», предаваясь мечтам о роли в каком-нибудь кинофильме.

Джейсон ущипнул себя за руку. Как хочется спать. Великий боже, что же он пил?!

— Дорогой мой, — сказал он, призвав на помощь всю свою выдержку, — я сейчас не в настроении шутить. Отложим это до

завтра. Сейчас меня интересует только постель. Мягкая постель. Ты понял?

Казалось, молодой человек был окончательно сбит с толку.

— Но, капитан Карлайл, сэр... ведь такое...

Ничего не поделаешь, придется заняться этим болваном позже.

— Ладно. Не сомневаюсь, что завтра утром я буду хохотать до колик, а сейчас мне не до веселья. Оставь-ка меня одного.

Джейсон кивнул в сторону двери. Раздался резкий вибрирующий звон. Он поднял руку и обнаружил, что у него на голове стеклянный шлем.

— Это еще что такое? — простонал он. — Проклятьё! Сию же минуту помоги мне снять эту штуку!..

Он ошупью начал искать зажимы, чувствуя, как его мозг заволакивается густым черным туманом.

— Берегитесь, сэр! Пробойны в обшивке еще не заделаны.

— Ронни, я люблю тебя как сына. Честное слово. Но если ты сейчас же не снимешь с меня это сооружение и не прекратишь нести околесицу, боюсь, что я буду вынужден поговорить о твоём будущем с Менделем. Я болен. Какого черта ты там бубнишь о... пробойнах?

— Это работа меркуциан, сэр. Их армада неожиданно напала на нас. В бою кораблю были нанесены повреждения.

— Замолчи!

Они нанесли кораблю повреждения... Ну ясно. Это же та самая научно-фантастическая белиберда. Ронни произнес сейчас фразу из кинофильма. Они даже ухитрились воссоздать декорацию первой сцены: ВНУТР, КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ, КАЮТА КАПИТАНА, СРЕДНИЙ ПЛАН. И как раз в начале фильма Джейсону, игравшему капитана корабля Дерека Карлайла, полагалось денно и ночью трудиться, ибо только он один знал, как починить сложные механизмы, которые были повреждены в схватке с меркуцианами.

— Бенсон и Карстерс погибли, сэр. Из-за утечки воздуха.

Прелестно. Какой там дальше текст? Ах, да. «Порядок, лейтенант. Принесите мне чашечку черного кофе. Я собираюсь выйти из корабля, чтобы завершить работу».

— Хорошо, сэр.

— Ох, заткнись!

— Что вы сказали, сэр?

— Я сказал... Послушай, дорогой мой, кому принадлежит эта очаровательная идея? Дорис?

На лице молодого человека по-прежнему было написано крайнее смущение. Гм... надо отдать ему должное, чертовски хорошая

игра. Пожалуй, чересчур хорошая.

Джейсон подумал, что, как ни странно, он совершенно не в состоянии вспомнить хоть что-нибудь из событий прошлой ночи. Он знал, что ему следовало явиться к Ботичеру на просмотр фильма. Но... эх, да... по дороге он заглянул в «Инферно» и пропустил там стаканчик. Потом... Что же было потом?

— В живых остался один-единственный, сэр.

— Ты о ком?

— О меркуцианине. Джонсон включил передние реактивные двигатели, с помощью которых мы их почти уничтожили. Сэр.. если мы вовремя ликвидируем последствия нанесенного нам ущерба, корабль сможет продолжить свой полет к Венере!

— Ронни, умоляю... пожалей мою бедную голову!

— Я принесу вам кофе, сэр.

Молодой человек элегантно отсалютовал, круто повернулся и, чеканя шаг, вышел из каюты.

Это, несомненно, проделки Дорис. У кого еще нашлись бы деньги, чтобы выстроить такую точную копию декораций? Каюта была выполнена прекрасно. Они учли все до последней мелочи, даже закинули его в этот чудовищный космический скафандр, который создало большое воображение дорогого Карлентера.

О-о, как болит голова! Ладно, потом разберемся. А сейчас самое важное — хоть немного поспать.

Он со злобой рванул зажимы, которыми шлем был прикреплен к скафандру. Они поддались, и он сдернул с головы стеклянный пузырь.

И понял, что не может дышать. Его мозг погрузился в непроглядную тьму, и он мгновенно потерял сознание.

Стало очень темно... очень тихо...

— Капитан Карлайл, сэр, я...— произнес кто-то, беспомощно заикаясь.— Как вы можете выдержать такую нагрузку, сэр? Разрешите меня реактивный двигатель! Вы же пять суток не сомкнули глаз.

Джейсон очнулся. В чем дело? Неужели повторяется та же идиотская сцена? Он поднял руку, и пальцы его нащупали что-то твердое. Так и есть, снова этот треклятый масонский колпак. Но он ведь только что снял его. Или нет?

— Ты заплатишься за это, Ронни Кэртис. И сполна.

— Бенсон и Карстерс...

Что ж, возможно, это входит в программу мистификации. Они будут доводить его до обморочного состояния, затем приводить в чувство и начинать представление заново.

— Знаю, знаю, погибли. Чудесно. Изумительно. По крайней мере, хоть они обрели какое-то спокойствие, эти Бенсон и Карс-

тер. Не паясь на меня, как дурак! И ради всех святых, больше не произноси: «Разрази меня реактивный двигатель!» Что за дикий текст!

— Хорошо, сэр. А повреждения, капитан...

— Займись ими сам. Так о чем это я? Ах, да. Скажи-ка, ты был здесь минуту назад?

— Нет, сэр.

— Прекрати величать меня сэром!

Джейсон в отчаянии стукнул кулаком по шлему.

— Я умираю,— произнес он.— Помогни мне встать и принеси какую-нибудь пилюлю от головной боли. Я хочу сказать пару слов Дорис.

Молодой человек помог Джейсону подняться на ноги, и они вышли из каюты.

— Черт побери...— Джейсон остановился и вытаращил глаза.— Хотел бы я знать, когда-нибудь это кончится или нет!

Перед ним была великолепно выполненная модель космического корабля. Однако поручки, за которые он схватился, на ощупь почему-то не были похожи на посеребренные гипсовые палки. Он словно прикоснулся к настоящему металлу.

Молодой человек сунул Джейсону в руки странного вида предметы.

— Желаю удачи, сэр.

Внезапно до него дошло, что он уже поднимается по лестнице. Снизу на него в неопишемом восхищении взирали какие-то неизвестные ему личности.

— Вот это настоящий человек,— громко прошептал один из этих типов.

— Меня бы вы туда не вытащили ни за какие коврижки,— добавил другой.

— Погодите! — вскричал Джейсон.

Над его головой в металлической обшивке корабля зияла пробоина и болтались обломки каких-то приборов. А снаружи было ночное небо, казавшееся очень черным.

В его шлем неожиданно проник сильный запах. Концентрат запахов сухих степей и пустынь, который состряпал папаша Франклин, чтобы дать зрителям возможность вкушать ароматы дальнего космоса. Если там вообще чем-нибудь пахнет...

Джейсон окончательно растерялся. Что же это такое? Может, он опять снимается в том фильме? Он оглянулся, отыскивая глазами съемочную группу — директора картины Джеймса, оператора Болану, но увидел лишь корабль, несколько психов и звезды.

И тут ему в голову пришла ужасная мысль: так и есть, это

белая горячка! Доктор Моррис предупреждал его. И неоднократно.

Белая горячка. О нет, не может быть! Нет! Но тогда чем все это объяснить?

Джейсон не заметил, как через пробоину вылез из корабля. Надо признать, что до сих пор все шло точно по сценарию. Теперь ему полагалось заняться починкой шлюза или еще какого-то хитрого механизма, а меркурианский... впрочем, извините, меркуцианский (и где, интересно, по мнению этих «научных» фантастов, находится планета Меркуцио?)... так вот, меркуцианский человек-дьявол должен коварно напасть на него с тыла...

— Берегитесь, сэр!

Джейсон поднял мутный взгляд от покореженной аппаратуры и очутился лицом к лицу с огромным, покрытым оранжевой чешуей страшилищем. Выпученные глаза чудовища не сулили ничего хорошего.

— Пинки, бога ради, поосторожнее!

Существо надвигалось на Джейсона, злобно ощерившись тремя ртами, которые у него находились там, где положено быть глазам,— эта выдумка была гордостью отдела специальных эффектов. Оно произнесло какую-то фразу, прозвучавшую примерно так:

— Умбава, умбава, фиgg-оуф!

— Что ты сказал, Пинки? Из-за этой кретинской штуки, которую напялили мне на голову, я ничего не слышу. Повтори, пожалуйста.

— Умбава, умбава, фиgg-оуф!

— Да, прекрати, наконец, выть! Это тебе не «Джон Картер на Марсе». Скажи толком, когда, черт возьми, все это кончится?

Существо уже пододвинулось почти вплотную. Из щелей между гигантскими чешуями струился жидкий огонь, а исходивший от тела запах отдавал гниющей плотью.

— Как он владеет собой, наш капитан Карлайл! Уж он-то знает, что делать.

— Пинки, ведь это... Пинки?!

— Умбава, умбава, фиgg-оуф магофу!

— Великий Боже!

Джейсон попытался удрать, но намагниченная обувь прочно прилепила его к поверхности корабля. Он судорожно завертелся на месте, челюсть его беспомощно отвисла, а тем временем чудовище весьма решительно собралось заключить его в свои объятия.

— Ну Пинки! Сколько раз тебе повторять, что я этого не выношу. Особенно сейчас, когда... Ты слышишь, Пинки! Я добыю, чтобы тебя уволили!

Джейсон автоматически высвободил руку из дымящихся щупалец и нажал на курок бластера, о наличии которого он совершенно забыл. Луч яркого света ударил в морду чудовища.

— Умбава, унб-а-ва фиэгг...

Чудовище упало и, оторвавшись от корабля, понеслось в черные глубины космоса, оставляя за собой струю омерзительного зловония, которое рассеивалось гораздо медленнее, чем того требовало удобство окружающих.

— Блестяще! Карлайл знал, что из этого бластера можно убить противника только на близком расстоянии. Какая выдержка!

Пальцы Джейсона как бы сами собой занялись починкой поврежденной аппаратуры. Потрясенный, он словно со стороны наблюдал за их действиями. Когда работа была, видимо, закончена, ноги сами понесли его по лестнице вниз.

— Ну ребята, машина в полном порядке,— произнес его голос.

— Ура! Ура!

— А теперь,— продолжал вещать голос Джейсона,— Дентон, ты и Марчелли залатайте пробонну. Я же немного вздремну. Разбудите меня ровно в 7.00.

Ноги поволокли его по коридору и доставили обратно в каюту.

Он улегся на койку.

— Белая горячка,— вслух произнес он.— Я погибаю.

Бесстрашный капитан космического корабля «Старфайер» погружился в сон, вполне заслуженный человеком, который без отдыха трудился пять дней и пять ночей, чтобы спасти от гибели вверенный ему корабль. Корабль, которому довелось принять участие в самом жестоком за всю историю человечества космическом сражении.

Когда Джейсон уже засыпал, в его мозгу шевельнулось какое-то неясное воспоминание.

— Сдохнуть можно,— пробормотал он и закрыл глаза.

— Олдридж, ты предатель и подлец. Пойдешь под военный трибунал, негодяй!

— Вы хотите сказать?..

— Вот именно.

Джейсон в замешательстве поскреб голову. Интересно, как долго продолжится это состояние? Ведь говорят, что белая горячка рано или поздно проходит.

— Что же ты предлагаешь, презренный землянин? — злобно проскрипел человек в форме штурмана.

Это был Гай Рэндолф, который некогда с успехом выступал в пьесах Шекспира. Доставшаяся ему в фильме роль была невелика, но полна драматизма. Судя по всему, это уже вторая сцена.

Капитан Карлайл обнаруживает, что штурман Олдридж — венерианин, принявший человеческий облик, и что именно он сообщил меркуцианам координаты космического корабля и приказал им (о, Манчини, как мог ты, лауреат премии Пулитцера, создать подобный шедевр?..) ... приказал им атаковать его. Мало того. Олдридж вдобавок еще умышленно изменил курс корабля, и теперь они летели к Юпитеру, к Мертвой Планете. Гениально. Какая сила мысли, какое богатство воображения! Это уже пахнет по крайней мере Академической премией.

— Так что же ты предлагаешь, презренный землянин?

За этим диалогом следовала драка, и весьма ожесточенная. А, плевать! Ведь все, что совершает человек в состоянии белой горячки, ему только снится. Итак, китель в сторону. Закатать рукава. Презрительно усмехнуться.

— Выходи, Олдридж. Если ты не последний трус.

— Вы хотели высадиться на нашу планету и свергнуть ее в пучину смертоносной войны! — с пафосом продекламировал Рэндолф, делая слабую попытку подражать Морису Ивенсу. — Этому не бывать!

— Так получай же, венерианский ублюдок! — бросившись на него, прорычал Джейсон.

Он искусно промахнулся, и его кулак пронесся в каком-нибудь миллиметре от челюсти Рэндолфа. Тот гнусно осклабился и, стремительно ринувшись на Джейсона, вцепился ему в горло.

Поднатужившись, Джейсон высвободил шею и с трудом перевел дыхание.

— Ты что, спятил?

Потирая болевшую шею, он повернулся, чтобы уйти. «Вот так галлюцинация!», — подумал он.

Штурман прыгнул на Джейсона сзади, и оба они рухнули на пол. Рэндолф откатился в сторону, и его внешность на глазах стала меняться: через несколько секунд он превратился в липкий амебообразный сгусток зеленой слизи.

— Скорей сдохну, чем выпью еще хоть каплю, — твердо заявил Джейсон, страстно мечтая о глотке спиртного. Он поднялся на ноги и, выбежав в коридор, захлопнул за собой дверь. Все его тело ныло от боли.

— Хватит, — выдохнул он.

Он решительно направился к шлюзу и рванул на себя дверь.

Его мозг заволочло черной пеленой.

Стало очень темно... очень тихо...

— Олдридж, ты предатель и подлец! Пойдешь под воен...

Словно в процессе монтажа начался прогон того же куска

фильма. С той же фразы, будь она трижды проклята. И с тем же Гэндолфом, который резко повернулся лицом к Джейсону.

— Вы хотите сказать?..

Джейсон вспомнил, как вернулась к исходной точке первая сцена. Чем это было вызвано? Ага, все ясно — отступлением от сценария. Все шло гладко, пока он оставался капитаном Дерекот Карлайлом. А как только он каким-то поступком нарушал единство действия — щелк! Приходилось начинать все заново. У него вдруг мелькнула мысль, что он выберется из этой свалки только тогда, когда, точно следуя сценарию, доиграет свою роль до конца. Но как, черт побери, он с этим справится? Если учесть, что ждет впереди героев фильма, об этом не может быть и речи!

— Вот именно.

Сцена третья. Расправившись с Олдриджем, капитан Карлайл вскоре находит на корабле «зайца» — красивую девчонку. И приятно пахнущую. Это Робин Саммерс. Следует стандартная сцена: сначала он взбешен, потом счастлив. Роби его обожает. Поцелуй. Теперь они летят навстречу страшной опасности. Юпитер — неизученная планета. Там их могут ждать враги. Фью!

— Что же ты предлагаешь, презренный землянин?

Благослови господь крошку Германа. Так о чем же он, этот убогий фильм? Ах да. На Землю из космоса льются какие-то неведомые лучи, которые медленно, но верно уничтожают все живое. Правительство с разведывательной целью посылает на Венеру корабль. Один из членов экипажа оказывается шпионом. Битва с меркуцианами. Вынужденная посадка на Юпитер. Выясняется, что именно здесь и кроется угроза благополучию Земли. У юпитериан есть особый аппарат, который посылает в космос Луны Смерти. Капитан Карлайл разрушает этот чудовищный аппарат. Земля спасена. Ура!

— Вы хотели высадиться?..

Хорошо еще, что они хоть сократили первые сцены. К счастью, космические побоища стоят огромных денег. А то было бы весело!

Сцена четвертая: посадка на Юпитер. Появляются юпитериане, и боже мой, какая начинается потасовка! На съемки ушло целых два дня. Сдохнуть можно.

Сцена пятая: юпитериане похищают Роби и держат ее у себя в качестве заложницы.

Сцена шестая: капитан Карлайл пробирается в их храм, и его берут в плен.

Сцена седьмая: Ракана.

— Так получай же, венерианский ублюдок!

На этот раз Джейсон дрался не на шутку. А если принять во

внимание, что Рэндолфу уже стукнуло шестьдесят, он тоже работал неплохо.

Джейсон растоптал зеленоватый слизистый комок в кашу на завтрак детишкам и, торжествуя, отшвырнул эту мерзость в угол.

Его нос учуял запах горелого мяса. При чем тут горелое мясо? Ну ясно. Как же это он забыл? Запахи. Все время эти запахи!

— Капитан, мы сбились с курса!

— Ронни, ты меня восхищаешь. Вот это сообразительность! Я хочу сказать: все в порядке, лейтенант, мне уже все известно. Олдридж оказался шпионом. У нас один выход — попытаться совершить посадку на Юпитере.

— На Юпитере?! Клянусь вопящими астероидами, сэр, эта планета таит большие опасности.

— Опасности — наша стихия, лейтенант.

— Правильно, сэр. Юпитер так Юпитер.

Вот и все. Дело теперь за немногим — чуток изменить курс и высадиться на Юпитере. Ну ты даешь, Манчкин! Даже школьники разбираются в этом лучше тебя.

В дверях показалась голова молодого человека.

— На борту обнаружен «заяц», сэр.

— Хорошо. Я сейчас иду.

Джейсон устало потер лоб и последовал за лейтенантом.

— Роби, милочка! — воскликнул он, когда они представили ему пленницу. — Как приятно увидеть хоть какое-нибудь человеческое существо. Ты знаешь, мне все это снится. — Джейсон ухмыльнулся. — Ты великолепно выглядишь. И пахнешь.

— Я же тебе сказала, Дерек, что никогда с тобой не расстанусь, — сверкая глазами, произнесла Роби. — И я сдержала слово.

— Что заставило тебя совершить подобную глупость?

— Я люблю тебя.

Джейсон язвительно улыбнулся. Вот лгуныя. Какая бессовестная ложь!

— Повтори, дорогая.

— Я люблю тебя, Дерек.

— Мне следует расслабиться, быть вне себя... но ничего подобного я не испытываю. Тебе уже, видимо, известно, что мы попали в беду.

— Да.

— И наверное, они сказали тебе, что мы можем погибнуть.

— Пока мы вместе, это не имеет значения.

Джейсону неудержимо захотелось узнать, имеет ли право капитан Карлайл обнять девушку. В сценарии этого не было. Но как стало выясняться, небольшие вольности не влекли за собой повто-

рения сцены. Ведь во время съемок в сценарий всегда вносятся некоторые изменения.

Он обнял ее и поцеловал, ожидая, что его мозг, как уже не раз случалось, погрузится во мрак. Но этого не произошло.

— Любовь моя!

Она на самом деле выглядела изумительно. Ничего скажешь, ее костюм Карпентеру удался лучше, чем все прочие. Он состоял из самых необходимых деталей — три-четыре блестящих диска одной величины, каждый не больше фигового листка. Прозрачное платье подчеркивало ровный, достигнутый с помощью орехового масла загар и изящные линии фигуры. А запах... Трудно представить, как в лабораториях «Галактик Пикчурс» удалось создать духи, аромат которых необыкновенно точно воспроизводил запах чистой здоровой женщины. А взгляд ее глаз, ее черных лучистых глаз, поражал своей искренностью.

Он было собрался предложить ей пойти поболтать куда-нибудь в другое место, ну, скажем, в его каюту, где он мог бы показать ей навигационные карты, но... Манчини позаботился о том, чтобы этого не случилось. Славный парень, этот капитан Карлайл. Прямо-таки древний старикашка в гареме. Долг прежде всего!

Но когда Джейсон взглянул на нее, ему почему-то стало очень грустно. Он вспомнил, как она произнесла слово «люблю»: не наигранно и безжизненно, а так, будто она и вправду его любила. Эта часть сновидения была не так уж неприятна. Пожалуй, из-за нее стоило бы рискнуть всем.

Вздор, Джейсон, не обольщайся!

Впрочем, зачем себя обманывать? Ты же любишь эту девушку, правда? Ну признайся в этом хоть во сне. Ведь, проснувшись, ты при желании сможешь скрыться под своей привычной пропитанной спиртными парами оболочкой, и она никогда об этом не узнает...

— Перед нами Юпитер, сэри!

— Скажите Майклсу, чтобы он привел в готовность тормоза.— Джейсон покровительственно обнял Роби. Плечи ее дрожали. Он не мог заставить себя взглянуть ей в глаза.— Все будет в порядке, ребята. Главное — не потерять голову!

— Меня это не страшит. Ты, Джефф, можешь остаться, а я пойду туда, к ним.

— Но это же равносильно самоубийству! У тебя нет одного шанса на миллион выбраться оттуда живым...

— Ну и пусть. Я не переменяю своего решения.

— Послушай, Дерек, там собралось не меньше тысячи этих омерзительных тварей, которые только и ждут случая, чтобы за-

теять драку. Они схватят тебя и... Ты же знаешь, что произошло с Фонтеном, так ведь?

— Да... знаю.

— Ну будь благоразумным, Дерек! Пока не упущено время, нужно поскорей убраться с этой планеты.

— Мне очень жаль, Джефф, но жребий брошен. Меня никто не удержит.

— Ты сошел с ума! Интересно, знает ли эта девушка, как безумно ты ее любишь?..

— Я иду к ним не только ради Синтии, Джефф. Неужели ты не понимаешь, что это — единственная возможность проникнуть туда, где находится источник Лучей Смерти?

— Тогда я пойду с тобой.

— Нет. Двоим там делать нечего. Возвращайся на корабль, Джефф... Это приказ.

— Слушаюсь, сэр.

— Твою руку, друг.

— Я... желаю тебе удачи, Дерек. Держись. Мы будем ждать тебя.

Джейсон смотрел вслед инженеру Джеффу Мэннингу, который направил свои стопы к видневшемуся вдали кораблю «Старфайер». По виду Бертон Митчелла трудно было догадаться, что однажды он целые сутки просидел у телефона, моля судьбу послать ему звонок из Центрального бюро по распределению ролей. Кто знает, может, он был неплохим парнем. Впрочем, сейчас все актеры казались ему высокопорядочными, достойными людьми.

Ну и осел же ты, Джейсон. Видно, ты окончательно спятил. Ты же знаешь, что Бертон Митчелл — жалкий и невероятно назойливый тип, погрязший в воспоминаниях о своем былом величии. Если б он не надоед тебе до смерти своими просьбами, то... В чем же дело? Неужели дешевый героизм этого примитивного фильма повлиял на твое давно сложившееся мнение о людях?

По ходу действия Митчелл — Мэннинг дважды спасает ему жизнь — два коротких эпизода. Джейсон был тронут до глубины души и ничего не мог с собой поделать. Эта засиженная мухами космическая феерия вытащила на свет полный букет упрощенных до абсурда эмоций. Но быть может, вперемежку за всю свою артистическую карьеру Рок Джейсон позволил себе испытать хоть какие-то подлинные чувства. Чтобы не растерять в Голливуде остатки истинных духовных ценностей, человеку приходится рассчитывать только на сны. Только сны еще чего-то стоили.

Взгляните-ка сейчас на него. Фильм достиг своей кульминационной точки. Кругом сплошной трескучий героизм, а он с каждой минутой все меньше чувствует себя Роком Джейсоном и все

Больше — капитаном Дерекком Карлайлом, которого породило во-
ображение Германа Манчини.

Джейсон почувствовал, как в его душе поднимается неукротимое бешенство, но даже не попытался внять голосу рассудка. Прыщавые статисты в нелепых одеяниях или еще кто-то, плевать! Важно было только то, что она недолго будет томиться в неволе.

Огромными прыжками Джейсон помчался по каменистой равнине и, добравшись до храма, притаился в тени его мраморной стены. Омерзительно шипя и извиваясь, к нему бросился страж. Молниеносным ударом Джейсон нокаутировал эту тварь, не теряя времени, задрапировался в красный плащ и вошел в храм. И чуть не задохнулся от невообразимой вони. Ему в нос ударил густой запах животных. Джейсон вспомнил, что в этой сцене использованы ароматы террариума с примесью запаха конюшни.

Император Юпитера восседал на троне. При виде Джейсона он радостно закудался.

— Я был уверен, капитан, что ты клюнешь на эту удочку. И не пытайся стрелять в меня, я ведь окружен силовым полем. К тому же в твоё сердце нацелены пятьдесят пистолетов «краека».

Это был Тоби Бауэлс. Старина Тоби, который благодаря своей немислимой физиономии нажил целое состояние, играя злодеев.

— Мерзавец! — гневно вскричал капитан Карлайл.

— Ах, мерзавец? Ну что ж, посмотрим, какую песенку запоеет храбрый капитан, когда увидит... вот это!

Император подал знак рукой, и два раба раздвинули тяжелый пурпурный занавес.

— Синтия! Роби!

— Дерек!

— Какая трогательная встреча! — император утробно хохотал. Тело Роби было распластано на стене и приковано к ней цепями. Прозрачное одеяние исчезло: она была обнажена — разумеется, в пределах, дозволенных цензурой. На ее плечах и других безобидных частях тела перекрещивались тонкие багровые полосы.

Капитан Карлайл изрыгнул проклятие и рванулся к девушке, но силовое поле сшибло его с ног.

— Синтия, что они с тобой сделали?

— О, ничего особенного, — хохотнул император и, вдруг посерьезнев, многозначительно добавил: — ...пока.

— Я убью тебя, юпитерианский ублюдок! — проревел капитан Карлайл. — А потом позабочусь, чтобы тебя уволили, слышишь? Тебя не возьмет ни одна студия, начиная...

— Странные слова я слышу, землянин. Но это речь храбреца. Впрочем, мы можем показать тебе кое-что еще. Пойдем-ка.

Два могучих раба, как две капли воды похожих друг на друга

и одновременно на гигантских ящерц, скрутили Джейсону руки и куда-то повели. Они прошли через анфиладу каких-то мрачных помещений и вступили в круглый зал необъятных размеров.

В самом его центре отчаянно гудела и жужжала неправдоподобно огромная машина, с виду похожая на прожектор.

— Лучи Смерти! — воскликнул капитан Карлайл. Он так расшархался, что даже забыл последующий текст.

— Я вижу, ты узнал наше маленькое оружие. Я не сомневался, что оно тебя заинтересует. Лучи действуют медленно, зато верно. Уже сейчас у вас на Земле теплей, чем прежде, а очень скоро жара превратится в такое пекло, что все живое погибнет.

— И тогда вы займете освободившееся место. Так?

— Ты угадал. У нас здесь становится тесновато.

— Вы бессердечные... Послушай, Тоби, выключи-ка эту штуку и освободи Роби. Немедленно. Ты меня понял?

— Готовьте пленницу к Ракане!

— О, давайте пропустим эту ужасную сцену.

Джейсон внутренне содрогнулся. В свое время ему стало дурно, когда на его глазах в этой сцене снимали дублера-спортсмена. Ныне покойного.

— Делайте со мной все, что хотите, но освободите девушку.

— Прекрасно! — воскликнул юпитерианин. — По нашим законам, если ты победишь на арене, вы с девушкой уйдете отсюда невредимыми. Даю слово, что так оно и будет.

Раздался тихий шипящий смех.

Капитан Карлайл грозно усмехнулся.

— Что ж, по рукам, зменная морда.

— Уведите его.

И Джейсон ушел, очень довольный собой, — «зменную морду» он придумал сам, в тексте этого не было.

Но когда он вспомнил о том, что его ждало впереди, от этой минутной радости не оставалось и следа.

Мрак камеры действовал угнетающе. К тому же в нос била адская вонь, смесь самых отвратительных запахов на свете: нежный аромат хлеба, конюшни и рыбьего жира был разбавлен легкой струей смрада скотобойни. Джейсон попеременно то дрожал, то стискивал зубы. Ему было над чем поразмыслить.

Если учесть, что происходящее было всего лишь горячечным бредом, он должен в конце концов очнуться, и тогда все станет на свои места. Да и по сценарию Карлайл побеждает своего противника. Но его не оставляла мысль о великом дублере-спортсмене Ральфе Лори, который, пролетев за свою жизнь через несметное количество пылающих обручей, совершив несколько прыжков

в пропасть, словом, ухитришься выйти живым из всех доступных воображению смертельно опасных положений, погиб во время съемок этой сцены. Его убила горилла. Этаким идиотизм! Ну кто, спрашивается, слышал о живущих на Юпитере гориллах?

Вспомнив об огромной человекообразной обезьяне Бобо, окрашенной в тошнотворный будуарно-розовый цвет, Джейсон стал дрожать чаще, чем стискивать зубы.

Он совсем уже было решил капитулировать, но тут внезапно распахнулась дверь, и в камеру хлынул свет. Появились двое юпитерианских людей-ящериц, которые выволокли Джейсона на середину обширной круглой арены. Толпа безумствовала.

Стражи скользнули в сторону.

Вдруг Джейсон вспомнил еще кое-что. Быстро повернувшись, он увидел Роби, привязанную к столбу в самом центре посыпанного песком круга. Она была ошеломляюще прекрасна. Веревка, обвивавшая ее тело, выглядела очень живописно и свидетельствовала о тонком вкусе Лайлы из отдела реквизита. Одна петля была затянута над грудью, другая под ней, третья сжимала талию, четвертая охватывала бедра.

— Роби, дорогая!

— Дерек, что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя. Джейсон закрыл ей рот рукой.

— Не говори так,— прошептал он.— Я ведь раньше так дурно обращался с тобой. Но если мы выберемся живыми из этого кошмара, я заглажу свою вину. Клянусь, я...

— Берегись, Дерек!

Дикий вопль толпы заставил его обернуться. Перед ним стояла Бобо. Горилла Бобо. И в глазах ее было то самое выражение.

— Миленькая Бобо, ты ведь помнишь Роки? Мы вместе снимались в «Богине джунглей», помнишь?

Горилла дважды обошла на четвереньках вокруг Джейсона. Толпа замерла.

Бобо остановилась и стала почесываться. Джейсон вдруг заметил, что держит в руке тощее копье, которое ему вручил один из юпитериан, прежде чем оставить его наедине с этой тварью.

— Бобо, убирайся, убирайся отсюда, не дури!

Кто-то метко швырнул в обезьяну тяжелый камень.

— Ааррх! — злобно взревела Бобо и ринулась на Джейсона.

Они несколько раз обежали вокруг арены. Обезьяна мчалась за Джейсоном по пятам. Он попытался влезть на стену, но свалился на песок арены. На него с ревом надвигалось гигантское животное.

Он закрыл глаза, но ничего не произошло.

Тогда он осмелился снова открыть их.

Молотя кулаками по своей старой груди и жутко завывая, Бо-

бо приближалась к Роби. В мгновение ока Джейсон оказался перед разъяренным зверем.

Сцепившись, они кубарем покатались по арене. Ревела толпа. Ревела горилла. Ревел Джейсон.

Неожиданно наступила тишина, которую прорезал страшный крик гориллы.

Джейсон увидел, что обезьяна, судорожно ухватившись за древко торчавшего из ее груди копыя, тщетно пытается вырвать его. Он услышал неестественно громкий стук бьющегося о землю тела. Когда после недолгой агонии Бобо наконец замерла, Джейсон поднялся и, отвесив поклон в сторону императорской ложи, выдернул из тела обезьяны копые. У него возникло мимолетное желание узнать, что же все-таки произошло на самом деле.

Толпа совершенно обезумела. Угрожающе шипя, на арену выбежала стража, и, перекрывая весь этот невообразимый гвалт, прозвучал голос императора:

— Убейте проклятого землянина! Убейте же его!

— Так вот как повелитель Юпитера награждает за храбрость и выполняет свои обещания! — вскричал капитан Карлайл.

— Убейте его!

Кто-то выстрелил из «кранека». Схватившись за плечо, капитан Карлайл упал на одно колено, стараясь не думать о боли.

Тут он понял, почему так неистовствовала толпа. Команда «Старфайера», заняв наиболее выгодные позиции, поливала зрителей огнем из эм-пистолетов. Юпитериане дохли как муравьи. В воздухе стоял удушливый смрад обгорелых трупов.

Как же он забыл! Ведь именно в этот момент они должны были прийти к нему на помощь!

Капитан Карлайл поднялся на ноги и резво поскакал к императорской ложе. Ворвавшись в нее, он вытащил монарха на арену.

Тоби схватился за пистолет.

— Ну, нет, теперь тебе конец! — торжествующе провозгласил капитан Карлайл, вонзая окровавленное копые в дрожащее горло Тоби. Успешно справившись с этим, он помчался обратно к столбу и разрезал опутывавшие Роби веревки. Она без чувств упала к нему в объятия. Поморщившись от боли в плече, он передал ее с рук на руки верному Джеффу.

— Спасибо, друг.

— Все в порядке, капитан!

Джейсон схватил «кранек» и, стреляя по растерявшимся юпитерианам, пробился к круглому залу.

Похожий на ящерицу страж встретил его огнем из «кранека». Капитан Карлайл ловко увернулся от смертоносного луча и ринулся на разъяренного юпитерианина.

Он смутно помнил, что его роль исполнял какой-то невероятно костлявый статист. Он заехал ему кулаком в адамово яблоко и раз за два с силой пнул ногой в живот. Юпитерианин упал.

Капитан Дерек Карлайл тщательно прицелился и нажал курок. Луч попал в самую середину гигантской машины. Еще несколько выстрелов, и аппарат, посылавший на Землю Лучи Смерти, превратился в груды расплавленного металлолома.

Джейсон загадочно улыбнулся и, вовремя обернувшись, уничтожил еще несколько юпитериан, появившихся в дверях. Потом он ухватился за оказавшийся под рукой толстый бархатный шнур и, подпрыгнув, изящной дугой пролетел через весь зал над головами метавшихся далеко внизу ящериц... В следующий момент он уже бежал под палящим солнцем, выстрелами расчищая себе путь.

Около корабля его ждали юпитериане. Верный, добрый и честный Джефф умирал, вытянувшись на вулканической поверхности планеты, а покрытая слизью двуногая ящерица уже тащила куда-то Роби, обхватив ее своими хилыми лапами.

— Погоди-ка, приятель!

Юпитерианин обернулся. Луч попал ему прямо в лицо. Он взорал благим матом.

Капитан Карлайл помог Синтии подняться на корабль, потом сбежал по трапу вниз.

— Джефф, — сказал он, — Джефф, дружище, ты что это...

— Мне очень жаль, Дерек, но моя песенка спета. Ты должен... улететь без меня.

— Джефф!

К кораблю подбежали еще несколько юпитериан. Они открыли стрельбу, и луч «кранека» опалил Джейсону плечо. Это еще что такое? Разве из сценария не следовало, что это плечо уже было один раз ранено? Какая небрежность со стороны той девицы, которая следила за последовательностью действия! Впрочем, это уже не имело значения. Главное, немедленно укрыться внутри корабля. Быстрее!

Люди-ящерицы направили лучи «кранеков» на захлопнувшуюся дверь люка. Металлическая обшивка начала плавиться.

Раздался гром заработавших реактивных двигателей.

Капитан Карлайл усмехнулся:

— Сейчас мы их немного поджарим.

Теперь-то он мог улыбаться.

Подобно гигантскому фениксу, «Старфайэр» медленно поднялся над поверхностью планеты и, развив колоссальную скорость, серебристой искоркой мелькнул на фоне бархатно-черного неба.

Капитан Карлайл стоял у правобортного иллюминатора. В его глазах застыла глубокая скорбь. Одной рукой он обнимал тесно

прижавшуюся к нему дезушку.

— Прощайте, Джефф, Гарри, Дон, все, кто остались там, внизу,— произнес он.— Земля никогда не забудет вас.

— И Земля никогда не забудет человека по имени Карлайл,— добавил молодой лейтенант.— Благослови вас Господь, сэр. Мы все очень любим вас.

— Да,— сказала Синтия, еще теснее прижавшись к Джейсону,— мы все любим тебя, капитан Дерек Карлайл!

За стеклом иллюминатора с невообразимой скоростью проносились звезды.

— Роби,— сказал Джейсон, все крепче сжимая ее в своих объятиях,— Роби. Дорогая моя Роби!

На этот раз, теряя сознание, Джейсон даже не попытался с этим бороться. Он только хотел подольше удержать в руке ее загорелые золотистые пальцы...

Свист. Аплодисменты. Возгласы восхищения. Джейсон вздрогнул, думая, что вновь очутился на арене.

Он напряг мускулы и открыл глаза, ожидая увидеть перед собой гориллу Бобо. Но вместо нее увидел Шермана Ботичера, и это было немногим лучше.

Он снова закрыл глаза.

— Рок... с тобой ничего не случилось? Ну скажи хоть слово.

— Приведи мне дезюнок из кардебалета,— сказал Джейсон.

Сон кончился. Сейчас он очень хорошо его помнил, во всяком случае, большую его часть.

— Узнаю нашего Рока. А мы из-за тебя здорово переволновались!

— Что со мной было? Я упал в обморок?

— Право, не знаю, как это объяснить... Ты стоял в будке и смотрел фильм.

Ботичер как-то странно взглянул на него.

— Что ж тут необычного?

— Видишь ли, ты протянул руку к аппарату так быстро, что Готшалк не успел выключить «Квадриоптикон». А ты... Ну ты даже не пикнул. Стоял и смотрел фильм. Вот и все.

— Он... он уже кончился?

— Кончился? Вы только послушайте, что он говорит! Ты не представляешь, какую он произвел дьявольскую сенсацию! И все благодаря запахам. О, как они всех потрясли, эти запахи! — С лица Ботичера не сходила широкая улыбка.— А сейчас извини, мне нужно показаться публике.

— Как фаш рука, мистер Тшейсон? — взволнованно спросил маленький мистер Готшалк.

— Великолепно. В высшей степени артистично,— ответил Джейсон, думая о другом.

— Я появился, што фы ее пофретили. Это плохо. Никто, таше я сам, не снает фсе про эта машина. Но мошет быть, фсе феликие испорчения роштаются так, как мое? — Маленький человечек выглядел очень печальным... — Скажу фам отик секрет. То, нат шем я рапотай, претназначается не тля кино. Нет! Фнашале я тумал, што нашел клюш к шетферто исмерение! Как красифо! Но... ништо не полушавается.— Он вздохнул.— Поэтому я префратил моя машина в киноаппарат. Я прафильно стелал?

Джейсон медленно кивнул. Голова его была занята сразу несколькими проблемами.

Открылась дверь, и появилась запыхавшаяся Долли Диксон.

— Дорогоооой,— проблеяла она,— это потрясающе! Невиданный успех! Ты же теперь будешь купаться в деньгах!

— Простите,— Джейсон пробился через кольцо набежавших репортеров, окинул взглядом зал и стремительно зашагал к выходу, по дороге вырываясь из рук восхищенных зрителей.

Она шла очень быстро.

— Роби, куда ты? погоди минутку.

Робин Саммерс обернулась.

— А зачем? — спросила она.— Ведь это твой фильм, не правда ли?

Но взгляд ее стал вроде бы помягче.

Хотел бы он знать, почему? Джейсону вдруг показалось, что ее глаза смотрят на него почти с тем же выражением, что на Юпитере.

— Я хочу тебе кое-что сказать. Ты выслушаешь меня?

— Хорошо. Если это так уже необходимо,— ответила девушка, и в ее голосе не было обычной резкости.

Перевела с английского
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА

ХОСЕ ГАРСИА МАРТИНЕС

РОБ-ЕРТ И РОБ-ЕРТА

Она смотрела, как он идет к ней, приближается, такой красивый, высокий, стройный. В груди у нее что-то начало весело позвякивать.

Роб-ерт увидел Роб-ерту еще издали. Она пришла точно в назначенное время — редкость для женщины.

— Привет, Роб-ерта!

— Привет, Роб-ерт!

Других слов им не потребовалось, и они молча зашагали к парку, прибежищу всех влюбленных. Красный диск солнца склонился к закату. Пели птицы. Газоны казались изумрудными. И однако ни Роб-ерт, ни Роб-ерта не чувствовали себя счастливыми.

Но почему же?

Да очень просто: из-за роботов.

Роботов стало слишком много.

И виноваты в этом были братья Чапеки, Айзек Азимов и все остальные, кто когда-то писал рассказы о роботах, внешне не отличимых от человека. Заводы выпустили миллионы роботов, похожих на человека как две капли воды, и теперь уже было невозможно сразу определить, кто существо из плоти и крови, а кто робот. Да, конечно, во всем виноваты были братья Чапеки, Азимов и остальные из той компании — мысль подали они, а заводы лишь претворили ее в действительность.

И плохо было то, что люди роботам нравились.

Робот вооружался тысячью хитростей и уловок, кружил человеку голову и тащил его к священнику, а потом выяснялось, что человек женат на роботе, притворившемся женщиной, и нет никакой возможности разорвать их союз: в свое время роботы позаботились о точном определении своих прав, и начали они с того, что добились утверждения нерасторжимости брака между роботом и человеком. И человеку приходилось владеть это бремя до самой смерти, а если он пытался расстаться с роботом, притворившимся женщиной, то, когда полиция его хватала, она поступала с ним так, что он всегда расканвался в содеянном. Столь же опасны были роботы, притворявшиеся мужчинами. Робот, притворяющийся женщиной, в девяти случаях из десяти выглядит привлекательнее и обладает лучшими манерами, чем любая настоящая женщина. Но над роботами, выдававшими себя за мужчин, все смеялись, и потому они прикидывались юношами из знатных семей, такими же недалекими и сильными, какими часто бывают настоящие молодые люди, и влюбляли в себя девушек. И когда после свадьбы девушка обнаруживала, что полюбила машину, у нее начиналось нервное расстройство.

Роб-ерт взял Роб-ерту за локоть.

Узнать на ощупь, робот она или человек, он, разумеется, не мог — роботов делали очень хорошо.

— Сядем на скамейку?

— Сядем.

Роб-ерта села и положила ногу на ногу: скрип-икк.

Роб-ерт сделал вид, будто не слышал скрипа, который издало

колени Роб-ерты. Он заговорил как страстный влюбленный, горячо и романтично, а потом полез в карман за сигаретами.

Р-ризжжж, рр-ризжжж — проскрипел его локоть.

Роб-ерта не показала виду, что услышала, хотя прекрасно знала, если чей-нибудь локоть так скрипит, то это только потому, что он плохо смазан.

— Ты удивительная! — прошептали губы Роб-ерта около ее уха.

Но едва они коснулись ее точеного ушка, как оно тонко скрипнуло: з-зж.

Инстинктивно он отпрянул назад, и в пояснице у него проскрежетало: скр-режжж.

Роб-ерта в замешательстве стала чесать себя подбородок, и из ее нижней челюсти негромко послышалось: кр-расс, кр-расс, кр-расс, кр-расс.

— Хватит! — заорал Роб-ерт и вскочил на ноги.

Дз-зи-ни, дз-зи-ки лязгнули его суставы.

— Да хватит! — в тон ему закричала Роб-ерта, и внутри у нее что-то громко щелкнуло: инк.

— Ты меня не проведешь — такое услышишь только у робота! Хотя бы смазалась получше перед тем, как идти на свидание! Тот я смотрю — уж слишком хорошенькая, настоящие женщины такими не бывают!

— Я настоящая женщина... почти целиком. Единственного робота здесь зовут Роб-ерт. Ты скрипишь, как дверь с ржавыми петлями.

Глаза ее метали молнии.

— Нет, Роб-ерта, я человек.

Оба растерянные, они посмотрели друг на друга. Роб-ерт мог увильнуть от ответа на заданный ему прямой вопрос, но долго скрывать правду о себе ему все равно бы не удалось — это знал каждый.

— Так твои поскрипывания...

— И твои...

— Просто я много раз попадал в автомобильные аварии. Раз двадцать, если не ошибаюсь. Одна рука у меня протезная, поясничные позвонки на подшипниках, и в левой коленной чашечке тоже небольшой механизм.

— Роб-ерт! — вырвался у нее вздох облегчения. — Все, как у меня. Ноги потеряла однажды в воскресенье вечером — возарщалась, как все, с загородной прогулки. Ухо — когда однажды поспорила из-за места для стоянки. И челюсть — когда налетела на дерево. Конечно, есть кое-какие протезы, но все равно я не робот, а человек!

— Роб-ерта, я люблю тебя! Хочешь выйти за меня замуж?

— Дорогой... а протезы?

— Мы с тобой в одинаковом положении, любимая. Да и важно ли это вообще? А потом, учитывая, какое теперь движение на улицах...

Они обнялись.

Тр-риик — щелкнуло что-то в ней.

Дзиньк — звякнуло в нем.

Их переполняло счастье, и они не обратили на эти звуки никакого внимания. Они оба люди, а не роботы — это было самое главное.

Солнце исчезало за деревьями парка.

Такими изумрудными газоны не были еще никогда.

Перевел с испанского
РОСТИСЛАВ РЫБКИН

ДЕЙМОН НАЙТ

КУКЛОВОД

Когда в дверь ввалился здоровенный детина, обстановка мгновенно изменилась: все, кто был в зале, точно сделали стойку, как охотничьи собаки на дичь. Тапер перестал барабанить по клавишам, двое пьянчуг, горланивших какую-то песню, мигом заткнулись, нарядные холеные люди со стаканами коктейля в руках прервали разговор. Утих смех.

— Пит! — взвизгнула женщина, что оказалась к нему ближе остальных, и детина, крепко прижимая к себе двух девушек, уверенно шагнул в зал.

— Как поживает моя цыпочка? До чего ж ты, Сьюзи, аппетитна, эх, слопал бы тебя, да таким блюдом я уже набил себе брюхо за завтраком. Джордж, пират этакий... — Он отпускает обеих девиц, притягивает к себе вспыхнувшего от смущения лысого коротышку и хлопает его по плечу. — Ну показал же ты класс, дружище, ей-богу, истинный класс, слово даю. А теперь слушайте, что я скажу! — орет он, перекрывая голоса, спрашивающие, требующие: Пит это, Пит то.

Ему подносят стакан мартини, и он стоит, стиснув пальцами этот стакан, высокий, загорелый, в ладно сидящем смокинге, сверкая зубами, белоснежными, как манжеты его рубашки.

— Мы дали представление! — объявляет он им.

Вопль восторга, многоголосый гомон: «Да еще какое представление, послушай, Пит, Бог ты мой, вот это представление...»

Он поднимает руку.

— Представление что надо!

Снова тот же вопль, тот же гомон.

— Видать, хозяину оно пришлось по вкусу — враз подмахнул с нами контракт на осень!

Визг, рев, люди, запрыгав от радости, хлопают в ладоши. Детина явно намерен сказать еще что-то, но, ослабившись, сдается, а они, оттирая друг друга, толпятся вокруг него — кто хочет пожать ему руку, кто шепнуть что-то на ухо, кто обнять.

— Всех вас люблю, всех до единого! — зычно рявкает он. — А не встряхнуться ль нам чуток, как по-вашему?

Всплеск оживленного говора, публика начинает рассаживаться по местам. Со стороны бара доносится заяканье стаканов.

— О господи, Пит, — с благоговейным обожанием лепечет какой-то пучеглазый заморыш, — когда ты кокнул аквариум, я чуть было не уписался, ей-богу...

Детина радостно гогочет.

— Ага, ну и харя же у тебя была, как сейчас вижу! Да еще забыть не могу тех рыбешек, что расшлепались по всей сцене. А мне-то каково? Деваться некуда, становлюсь, значит, я на колени... — Детина опускается на колени, пригибается к полу, разглядывает воображаемых рыб, — ...и говорю им: «Ну-ка, мальцы, живо назад в свои икринки!»

Под взрыв неудержимого хохота детина встает с пола. Зрители, устраиваясь поудобнее, располагаются вокруг него амфитеатром. Те, кто подальше, чтобы лучше видеть, влезают на диваны, на скамью перед фортепьяно. Тут раздается чей-то вопль:

— Пит, даешь песенку про золотую рыбку!

Одобрительный гул, крики: «Ну пожалуйста, Пит, про золотую рыбку, Пит!»

— Ладно, уговорили. — Детина, расплывшись в улыбке, садится на подлокотник кресла и поднимает свой стакан. — И рраз и два... в музыка-то куда подевалась?

Свалка возле фортепьяно. Наконец кто-то берет три-четыре аккорда. Детина корчит смешную рожу и поет:

— Эх, мне стать бы рыбкою... Рыбкой золотою... Как девчонку пригляну... Я ей хвостиком махну...

Хохот. Всех громче заливаются девушки, широко разинув яркие накрашенные рты. Одна багровая от смеха блондинка кладет на колено детины руку, другая усаживается почти к нему вплотную за его спиной.

— Но если по-серьезному... — начинает детина.

Еще взрыв хохота.

— Пусть это будет шутка, — произносит он вибрирующим голосом, когда стихает шум, — но я со всей серьезностью вам гово-

рю, что не управился бы с этим в одиночку. Вот вижу я среди нас иностранных газетчиков, потому и хочется мне представить вам главных работяг, без которых я бы далеко не уехал. Перво-наперво это Джордж, наш трехпалый руководитель джаза — он сегодня поддал такого жару, что на всем белом свете не сыскать парня, которому по плечу с ним тягаться. Ох и люблю же я тебя, Джордж!

Детина тискает заплечного лысого коротышку.

— Потом — Руты, моя любовь до гроба... Эй, где ты там? Милочка, как же ты была хороша, ей-ей, лучше всех, детка, придраться не к чему, без дураков...

Целует темноволосую девушку в красном платье, которая, слабо вскрикнув, зарывается лицом в его широкое плечо.

— И Фрэнк... — нагнувшись, он хватается за рукав пучеглазого заморыша. — А о тебе что сказать? Что я в тебе души не чаю?

Заморыш, поперхнувшись от счастья, безмолвно моргает. Детина награждает его дружеским туманом.

— Сол, Эрн и Мак — мои писак-драматурги. Их бы успех Шекспиру...

Детина выкликает имена, и они по очереди подходят и жмут ему руку. Впавшие в экстаз женщины, рыдая, целуют его.

— Мой дублер, — продолжает детина. — Мой мальчик на побегушках.

И...

— А сейчас, — произносит он, когда, надрвав до боли глотки, раскрасневшаяся от возбуждения публика переводит дух, — я хочу представить вам моего кукловода.

В зале наступает тишина. На лице детины задумчивое и несколько испуганное выражение, словно он внезапно почувствовал приступ боли. Он уже не двигается. Сидит, не дыша, с остекленевшими глазами. Чуть погодя у него начинается подергиваться спина. Девушка, сидевшая на подлокотнике кресла, встает и входит в глубь зала. Ткань на спинке его смокинга как бы лопается сверху вниз, и из образовавшейся прорехи вылезает какой-то маленький человечек. У него землистое, блестящее от пота лицо, а над ним копна черных волос. Он очень мал ростом, почти карлик, узкоплеч и сутул. На нем коричневая, вся в пятнах пота фуфайка и шорты. Выбравшись из тела детины, он аккуратно прикрывает разрез в смокинге. Детина сидит неподвижно с тупым, ничего не выражающим лицом.

Маленький человечек, нервно облизывая губы, слезает с кресла на пол.

— Привет, Фред, — бросает кое-кто из присутствующих.

— Привет, — отвечает Фред и машет рукой.

Ему лет сорок. Лицо — с крупным носом и большими темными кроткими глазами. Его надтреснутый голос звучит неуверенно:

— А представление-то у нас и вправду неплохо получилось, ведь верно?

— Верно, Фред, — вежливо отвечают они.

Тыльной стороной руки он вытирает лоб.

— Там внутри жарковато, — говорит он с извиняющейся улыбкой.

— Да, пожалуй, не без этого, Фред, — соглашаются они.

Те, что стоят подальше, один за другим отворачиваются, толпа разбивается на группки, там уже вовсю идет беседа, говор становится все громче.

— Скажи-ка, Тим, нельзя ли мне немного промочить горло? — спрашивает маленький человечек. — Не люблю я, понимаешь, оставлять его одного...

Он указывает на неподвижного детину.

— Вопросы нет, Фреди. Что будешь пить?

— Э... понимаешь ли... а как насчет стаканчика пива?

Тим приносит ему пльзенское в фирменном стакане, и он с жадностью пьет, беспокойно стреляя по сторонам своими карими глазами. Большинство присутствующих уже сидят; двое или трое, собравшись уходить, топчутся у двери.

— Постой, Руди, — говорит маленький человечек проходящей мимо девушке. — Вот была потеха, когда аквариум об пол и вдребезги, скажешь, нет?

— Что? Прости, лапка, не расслышала.

— А... да это я так. Пустяки.

Девушка слегка треплет его по плечу и тут же убирает руку.

— Извини, дорогуша, бегу, нужно поймать Робинса, пока не ушел.

И она мчится к двери.

Маленький человечек ставит стакан на столик и садится, сплетая и расплетая свои узловатые пальцы. Сейчас рядом с ним только двое — лысый коротышка и пучеглазый заморыш. На его губах мелькает встревоженная улыбка; он заглядывает в лицо одному, потом другому.

— Такие вот дела, — начинает он. — Этим представлением мы с вами, э, ребята, уже сыты по горло, и сдается мне, что пора, понимаете, начинать думать...

— Послушай, Фред, — без тени улыбки говорит лысый, подвешившись вперед и касаясь его руки, — почему бы тебе не залезть в него обратно, а?

Маленький человечек с минуту глядит на него своими печаль-

ными глазами гончей и в замешательстве отворачивается. Он неуверенно встает, глотает слюну и говорит:

— Ну что ж...

Потом взбирается сзади дитина на кресло, раскрывает дыру в спине смокинга и по одной опускает в чрево дитины ноги. Нескольким человеком наблюдают за ним с каменными лицами.

— Думал, стерплю, хоть недолго буду поспокойней,— слабым голосом говорит он,— да где уж там...

Он запускает обе руки в полость под смокингом, хватается за что-то и рывком вытягивает себя внутрь. Его смуглое растерянное лицо исчезает.

Дитина вдруг моргает и встает с кресла.

— Эй, вы там! — гремит он.— Может, кто мне скажет, у нас тут вечеринка или еще что? А ну живой, а ну пошевеливайтесь...

Лица вокруг него проясняются. Люди придвигаются поближе.

— А сейчас мне невтерпех послушать вот этот мотивчик!

Дитина начинает ритмично бить в ладоши. Ему в такт бренчит фортепьяно. Спустя немного в ладоши уже бьют все присутствующие.

— Интересно знать, мы еще живы или ждем не дождемся, когда нас подберет катафалк? Ну-ка повторите, что-то я стал туповат на ухо!

Под восторженный рев толпы он приставляет к уху руку.

— Валяйте да погромче, чтоб я расслышал!

Толпа неистовствует: «Пит, Пит!» — и бессвязные выкрики.

— Я не против Фреда,— искренне заверяет посреди этого ора лысый пучеглазого.— Мне почему-то кажется, что он славный мальчик.

— Знаю, о чем ты,— говорит пучеглазый.— Ну что вроде бы он это не нарочно.

— Вот-вот,— соглашается лысый.— Но, Боже праведный, эта его пропотевшая нижняя рубаха да и все остальное...

Пучеглазый пожимает плечами.

— Что же поделаешь.

И оба закатываются хохотом: дитина скорчил уморительную гримасу — высунул язык, скосил глаза. «Пит, Пит, Пит!» Зал ходит ходуном. Вечеринка удалась на славу, и веселье, ничем не омраченное, бушует до поздней ночи.

Перевела с английского
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ОТЕЛЬ

Бурлящий жизнью нью-йоркский «Хилтон»! Автоматизированный отель! Автоматические лифты! Все это так и возникло перед моими глазами сегодня, когда я получил письмо от «Хорвата и Хорвата, бухгалтеров-экспертов», представляющих интересы «Корпорации Хилтон» в вопросе о четырех долларах семидесяти девяти центов, которые я, судя по их письму, остался должен отелю этой корпорации. Но подождите секундочку, Хорват, и вы тоже, Хорват: вы представляете интересы автоматизированного отеля, нью-йоркского «Хилтона», но знаете ли вы, что это такое на самом деле, автоматизированный отель? Непохоже, чтобы вы знали, как в автоматизированном отеле оплачивают счета. Так выслушайте меня — ведь мне в нью-йоркском «Хилтоне» пришлось жить целую неделю.

Получилось так потому, что я задолжал журналам статей пять, их добывали из меня отбойными молотками, а я все оттягивал — например, ходил пешком в бакалею Старка за яблочным соусом и тому подобное. Наконец я решил: надо запереться в каком-нибудь отеле, сесть и их написать — это единственная возможность.

И я выбрал нью-йоркский «Хилтон». С виду заведение роскошное, похоже на большущий кусок торта, свежего-пресвежего. Срок шесть этажей, на Шестой авеню, между Пятьдесят третьей и Пятьдесят четвертой улицами. Такси подкатило к самому входу, вокруг невиданное великолепие — стекло, имитации кедровых веток или чего-то вроде, каменные скульптуры в неодоисторическом стиле и такая игра световых пятен, что прямо дух захватывает. Повсюду люди в алюмикроновых костюмах — пожалуй, около тысячи, и на груди у каждого значок с его именем. Алюмикрон — новая чудо-ткань, изготавливается из алюминия и кремния. Ее главное достоинство в том, что она искрящаяся, гибкая и не мнется.

Как бы там ни было, я стал искать глазами посыльного, но обнаружить такового не удалось, зато швейцар у входа сказал, чтобы я поставил чемоданы около него, и дал мне корешки от двух красных наклеек, а потом сказал, чтобы я с этими корешками проходил. Я прошел в потрясающий вестибюль «Хилтона». Блестящие полированные конторки, перелизы света на потолке, пола не видно под коврами — будто отделение банка в торговом центре, только самое большое за всю историю человечества. Я захожу туда и вижу, наверно, еще тысячи людей в алюмикроновых костюмах со значками, на которых стоят имена. В конце концов выясняется, что красные корешки нужно кому-то отдать, шефу

посыльных, если я не ошибаюсь, а шеф передаст их посыльному, и тот выйдет и приклеит их на чемоданы, к наклейкам, от которых они были отрезаны и которые швейцар уже приклеил, а потом посыльный внесет багаж в вестибюль. Тогда я не придал никакого значения этой пустяковой процедуре, на самом же деле это ключ к пониманию того, что такое автоматизированный отель. В автоматизированном отеле, как и в любой другой четко работающей большой организации, вроде Армии Соединенных Штатов или Управления коммунальных служб, тебе не нужно, бегая от одного человека к другому, отдавать непродуманные устные распоряжения — ты отдаешь распоряжения письменно. Или наговариваешь на пленку. Ну в общем, вы сами знаете, на чем стоит мир.

Случаев видеть, как работает эта машина, мне представилось много. Я вам приведу только один-два примера. Начну с первого вечера: я поднялся в свою комнату 1703, номер, я бы сказал, довольно роскошный. Из окон открывался потрясающий вид, в основном, правда, на заднюю сторону зданий на Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой улицах, но все равно потрясающий; и еще в комнате была кое-какая роскошная мебель и потрясающие световые табло. Неожиданно эти табло начинали светиться, и на них появлялось: «НАБЕРИТЕ «5», ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ», «ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, НАЖМИТЕ КНОПКУ» и тому подобное. Мне кажется, было бы удобно иметь такое табло у себя дома. Кое-что, как вы сейчас увидите, там надо доделать, но сама идея — потрясающая. Но неважно; в первый вечер главная забота у меня была отправить племяннику бандеролью подарок ко дню рождения. Я спустился вниз, подошел к окошечку, над которым было написано «Почта», но девушка в нем направила меня к другому окошку рядом, а девушка в этом окошке открыла у себя за спиной дверь, вышла и с кем-то поговорила, а потом вернулась и сказала, чтобы я шел к шефу посыльных. Тот повертел бандероль в руках и сказал:

— Знаете что, возвращайтесь в номер и позвоните оттуда в почтовую экспедицию.

Я так и сделал — поднялся к себе и позвонил в экспедицию, и мне сказали, что сейчас же пришлют кого-нибудь. Через два с половиной часа в дверь постучали, я открыл и вижу: за дверью стоит какой-то тип, блондин с высокой прической, и зовут его Молния. Может, звали его как-нибудь по-другому, но это неважно — за дверью стояла в униформе Молния, держала в руке колодок бумаги и внимательно его изучала. А потом, подняв на меня глаза, спрашивает:

— Тысяча семьсот три?

— Да.

— Это вы отправляете бандероль в Австралию?

— Нет, не в Австралию, а только в...

— Вы тысяча семьсот три?

— Как будто вроде бы, это номер тысяча семьсот три.

— Вы Хауард?

— И-нет.

— Вот здесь написано: «1703, Хауард» и что у вас бандероль в Австралию.

— Минуточку,— говорю я ему,— я звонил насчет бандероли, это верно, но мое имя...

— Понятно, понятно,— говорит мне Молния,— давайте снова. Это тысяча семьсот три?

— Совершенно верно,— говорю я ему,— я тысяча семьсот три.

И сказано это было вполне серьезно. Как раз такое чувство я и испытывал, что я тысяча семьсот три.

— Прекрасно. Вы тысяча семьсот три,— говорит он, завешивает бровями переносицу и уставляет взгляд в бумажку. Кажется, будто он окаменел.

— Прекрасно,— произносит он наконец, оторвав от бумажки взгляд,— если вы не Хауард, то где же, интересно, я могу получить бандероль в Австралию?

Ну уж на это мне сказать было нечего. Так и не знаю, какая судьба постигла бандероль Хауарда. Знаю только, что соображай я хоть немножко, я бы написал «1703 — Вулф», отдал бы ему вместе со своей бандеролью, и было бы как раз то, что нужно. Написал, и делу конец! Проще некуда! Но до меня доходило туго. Я снова и снова повторял все те же ошибки. В самом начале, когда я только въезжал, я сказал портье, что уеду в воскресенье вечером. В воскресенье утром настроение у меня почему-то было приподнятое, и я решил, что поживу здесь еще с недельку. И соответственно позвонил администратору. Готов поклясться, что я говорил с живым человеком, хотя позднее меня уверяли, что у каждого автоматизированного отеля есть так называемая «дыра памяти», которую подключают, когда вы просите о чем-то устно. Ты думаешь, что разговариваешь с человеком, а на самом деле все, что ты говоришь, поступает в «дыру памяти». Так или иначе, голос ответил мне: «Прекрасно, прекрасно»,— а потом сказал как-то невыразительно: «...тысяча семьсот три». Тысяча семьсот три — да ведь это же я! Вы представить себе не можете, как хорошо стало на душе! Что все это ровным счетом ничего не значит, что это ветер — унесся в «дыру памяти», и нет его — я понял лишь дня через четыре, когда пришли Скелет и Огнетушитель, двое мытарей из хилтоновской секретной службы.

Между тем, однако, несмотря на то что Молния, этот курьер-

прима, несколько вывел меня из равновесия, я бы, может, все же и налил что-нибудь, если бы не эти автоматические световые табло. Табло громоздились на стоящем у стены комбайне, совмещающем в себе телевизор, бюро, письменный стол, конторку и ночной столик. Нижнее табло «Чтобы выключить звуковую сигнализацию, нажмите кнопку» было звеном сложной системы сигнализации, включавшей в себя телефон, диктофон, ЭВМ (или нечто вроде), немислимый звонок и само вышеназванное табло. Что такое эта система, я ощутил очень быстро. В первую же ночь, укладываясь спать, я знал, что мне нужно проснуться в девять утра, и поступил, как поступают обычно в таких случаях, да вы знаете это сами — позвонил телефонистке и попросил в девять утра меня разбудить. Она ответила: «Читайте инструкции» — и тут же подключила меня к «дыре памяти» (надеюсь, что термин правильный). Ну что ж, великолепно. На телефонном аппарате и вправду оказались инструкции, и в них говорилось: «Чтобы утром тебя разбудили, сперва набираешь «1», а потом время, в которое тебя надо будить (девять часов, например, будет 900), и после этого услышишь новые инструкции». Я это сделал — набрал все нужные цифры, и с конца провода раздался потрясающий женский голос, баритон тюремной надзирательницы, и сказал: «Это магнитная запись. Для того чтобы вас разбудили в девять часов утра, ждите длинного гудка, затем произнесите отчетливо свою фамилию и номер комнаты». Загудело, и я отчетливо произнес:

— Это мистер Вулф из комнаты 1703.

Ну и, конечно, в девять утра началось черт-те что. Звонок на телевизоре-бюро-конторке и т. д. буквально взорвался, от него пошли ударные волны, как от невероятных дизельных сирен, которыми обзавелось теперь пожарное управление Нью-Йорка, и начало вспыхивать и гаснуть большое табло: «ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, НАЖМИТЕ КНОПКУ», «ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, НАЖМИТЕ КНОПКУ»! Пх! Пш! Пх! Пш! Топалки на пол, левая команда! Бо-о-же, я как лев восстаю ото сна, рычу так, что сердце мое трепещет, и, чтобы выключить звуковую сигнализацию, нажимаю кнопку. Уф, как хорошо стало! Но тут же начинают грызть сомнения. Только накануне вечером я сидел на постели и говорил машинкам: «Это мистер Вулф». И вот теперь в следующий вечер я набираю «908», и голос отвечает: «Для того чтобы вас разбудили в девять пятнадцать утра...» — черт подери, да ведь мне нужно встать в девять ноль восемь, что же это такое творится?! — а потом слышем гудок, и я говорю: «Это мистер Вулф из номера 1703... человек, и какой!» — и поскорее вешаю трубку. На другое утро, однако, несмотря на мою выходку, какофония повторяется. В следующие два-три вечера

я после длинного гудка произносил в машину короткие речи вроде, например, такой: «Эй вы, рабы в электронных кишках «Хилтона»! Это Вулф из номера 1703, великий организатор! Довольно вкалывать на них, филоньте!» Но ничто не менялось — каждое утро бесновался звонок, и табло вспыхивало и гасло.

Как-то раз, однако, часа в два дня я возвращаюсь в номер, и это описать невозможно! Звонок заливается как дизельная сирена, почему — непонятно, ведь сейчас два часа дня, а табло словно с цепи сорвалось: «**ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, НАЖМИТЕ КНОПКУ**», вспыхнет и погаснет, вспыхнет и погаснет и отражается во всех предметах в комнате: в кофейном столике, в стакане с водой, которая получилась, когда растаял лед из автоматического ледодела, — во всем. Тут я дошел по-настоящему, хоть на стенку лезь. Я метнулся к телевизору-конторке-бюро и т. д. и нажал кнопку. Тварь умолкла, но прошло несколько секунд — бламм! — и все началось сначала. Да это безумие какое-то! Нажал снова — на несколько секунд тишина, а потом опять все то же, и так без конца. Я не знал, что мне делать. Тут увидел телефонную книгу, большую и тяжелую, в фирменном хилтоновском переплете, и прижал ею кнопку. Ф-фу, прямо не верится: звонок заткнулся. И вдруг — пх! — начало вспыхивать другое табло (оно было над тем, первым): «**НАБЕРИТЕ «5», ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ**», «**НАБЕРИТЕ «5», ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ**». Пх, пш, все как прежде. Особенного шума от этого табло не было, только щелкало — ну да вы, наверно, знаете, но яркие вспышки и безотлагательность: «**ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ!**» — все равно действовали на нервы. Доигрался: видно, от моих речей, которые мог произносить только полоумный, вся эта система разладилась. Поэтому я сразу же набрал «5».

— Есть что-нибудь для меня? — спросил я женщину, которая мне ответила.

— А как ваше имя?

— Я тысяча семьсот три, — сказал я голосом способного ученика.

— Тысяча семьсот три, — повторила она. — Для вас ничего.

— Вы уверены? — спросил я.

— Уверена, сказала она. — Абсолютно ничего.

— Тогда, — попросил я, — будьте так добры, выключите, пожалуйста, у меня табло.

— Ваше табло не включено, — сказала она, — никаких сообщений для вас нет. Ведь вы тысяча семьсот три?

— Совершенно верно, он самый, — ответил я.

— Ну так повторяю: ничего для вас нет.

Даже не нужно было оборачиваться: вспышки табло отражались на стекле «хилтоновского оригинального эстампа», висевшего над моею кроватью. Это была одна из работ Марксоля. Как раз этого мне больше всего сейчас не хватало — поп-искусства!

— Наверно, вы правы, — сказал я.

Попробовал было звонить телефонистке, но она отвечала каждый раз, что мне следует читать инструкции, а потом подключала меня к «дыре памяти». Я прочитал все инструкции, какие были в номере, прочитал даже правила пожарной безопасности — в общем, всю чушь, какая только была, до последней строчки, но не встретил ни единого слова о взбесившемся световом табло. Этим занимался я, а табло все вспыхивало: пх, пш, пх, пш, «НАБЕРИТЕ «5», ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ». Сделать нельзя было ничего, поэтому я просто накинул на табло рубашку, и своими полами она закрыла также телефонную книгу, которая прижимала кнопку сигнализации. Потом я сел и попытался работать, но где там! До моих ушей доносилось из-под рубашки обезумелое щелканье, и я готов был поклясться, что под ней, в этих нагромождениях световых табло, вот-вот произойдет страшный взрыв.

Эта ночь была жуткая. Когда я выключил свет в номере, оказалось, что все равно видно, как вспыхивает под рубашкой табло. Подремав немного, я просыпался, и каждый раз, проснувшись, видел сквозь рубашку, как под ней загорается: «НАБЕРИТЕ «5», ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ». Я лежал, как в коконе, окно скрывали две занавески, одна газовая, прозрачная, другая, плотная — бледно-лиловая, багряная, сливовая, зеленоватая; в Манхэттене, на семнадцатом этаже, по сторонам — Нью-Джерси, Квинс, берег континента и Атлантический океан, и я изолирован от мира, даже воздух ко мне поступает только из кондиционера, и царит тишина, если не считать щелчков, когда к мировой скорби, завернутой в гигроскопическую вату, прорываются сквозь рубашку буквы: «ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ».

Рассвело, и я понял, что не могу больше оставаться в этой комнате, и поэтому вышел и отправился бродить по Манхэттену, и в отель вернулся только часа в четыре дня. В холле, как обычно, яблоку негде было упасть, и я с трудом протолкался между алюминиковыми костюмами к лифту. Лифт, естественно, был автоматический и должен был подняться через какое-то средленное время, но ни секундой раньше, так что всем, кто зашел в него, приходилось стоять и ждать.

Казалось, что путешествие на этом лифте будет длиться вечно, но наконец я вышел на своем семнадцатом этаже и проследовал по холодноватым, пахнущим нафталином туннелям к 1703-му номеру. Я и не знал, что в боковых коридорах прячутся Скелет

и Огнетушитель, сотрудники секретной службы «Хилтона». Я вошел в номер. Они подождали ровно столько, сколько нужно, чтобы соблюсти приличия, — секунд семь с половиной — и после этого постучали в дверь. Я открыл ее, передо мной стоял Скелет, а позади него — Огнетушитель.

Скелет заговорил (Огнетушитель за все время, что они у меня были, не проронил ни слова):

— Тысяча семьсот три?

— Да, — сказал я.

— Мы хотим поговорить с вами, мистер... э-э... Вулф, — сказал Скелет.

«Вулф» он произнес так, как будто фамилия эта принадлежит не мне, а он это прекрасно знает, так как ценой немалых усилий установил подлинную мою личность, но пока решил меня не разоблачать и мне подыгрывает.

— Кто вы такие? — спросил я.

— Служащие охраны.

— Ну что ж, — сказал я, — входите.

В голову мне пришло только одно: они явились ликвидировать меня за то, что я произносил речи в систему звуковой сигнализации и она от этого спятила. Что делать? Остановить их невозможно. Даже телефонистке не позвонишь и уже не услышишь ее наставлений о том, что следует читать инструкции.

Они вошли, как входит Джон Айленд, когда исполняет роль лейтенанта и оглядывает помещение, где, как он предполагает, прячут оружие. Скелет был в алюминированном костюме и в завязанном по-виндзорски полосатом галстуке; в руке он держал папку с бумагами. Лицо у него было очень ухоженное, ну совсем как на фото в рекламах парикмахерских салонов — благодарное «Компании универсальной стрижки», и в то же время немного ошалелое. Огнетушитель был много ниже ростом и был похож на... ну, в общем, на мичиганский огнетушитель 1935 года.

— Присаживайтесь, — сказал я.

— Что-о? — сказал, резко повернувшись ко мне, Скелет.

А потом бросил Огнетушителю уголком рта:

— К двери!

Огнетушитель бросился к двери — видно, для того, чтобы предотвратить мой побег.

— «Беретта»* в стенном шкафу, — сказал я.

Это была последняя моя удачная реплика.

— Что? — сказал Скелет. — Знаете, мистер... э-э... Вулф, давай-те-ка мы посмотрим ваши документы.

* Беретта — марка пистолета {Примеч. перев.}.

— Зачем? — удивился я.

Скелет бросил взгляд на своего напарника, Огнетушитель расправил плечи.

— Ну хорошо, мистер... э-э... Вулф, — снова заговорил Скелет. — Что, если мы скажем вам, что вы, когда вас записывали, указали липовый адрес?

— Я скажу, что вы неправдиво информированы.

— Ну а что, если скажем, что мы проверили и там, где вы, по вашим словам, живете, вы на самом деле никогда не жили? И что на почтовом ящике там вашей фамилии нет?

— Не знаю. Наверно, мне придется вам сказать, что в том доме вообще нет почтовых ящиков. Что это кооператив. Вы слышали, что так бывает?

— М-м... Да? — процедил Скелет.

По виду Огнетушителя можно было уверенно сказать: он готов к любому обороту событий. Скелет постоял в раздумье, отряхая алюминиевым костюмом все источники света, какие были в комнате, и наконец сказал:

— Все равно это не меняет главного. Вы за четыре дня просрочили оплату счета.

— Просрочил? — сказал я.

— Ага, — сказал он. — Вы должны были выехать в воскресенье.

— А я звонил в воскресенье утром администратору.

— Карточка, — начал Скелет и извлел из папки какую-то карточку, — говорит, что вы должны были выехать в воскресенье.

— С карточкой я не разговаривал, — сказал я.

— Меня это не касается! Я верю карточке, и карточка говорит, что платеж вы просрочили.

Я мысленно увидел то, чему следовало произойти. Мне представилось, как, незаметно отступая, я оказываюсь около телеэкзоре-бюро-канторки и незаметно, держа руки все время у себя за спиной, сдвигаю телефонную книгу с кнопки звуковой сигнализации, внезапно сдергиваю рубашку с табло, и — пх, пш — закрутился фейерверк: бэм-м, «НАБЕРИТЕ «5», ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ», «ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, НАЖМИТЕ КНОПКУ», дизельная сирена! Все орудия, пли! Все с ног на голову. В дверном проеме Скелет сталкивается с Огнетушителем.

Но на самом деле ничего этого не произошло, а я просто сказал:

— Между прочим, как ваше имя?

Но действие этот мой вопрос произвел странное. Лицо Скелета утратило всякое выражение, потом он достал бумажник и начал рыться в нем. Наконец он протянул мне визитную карточку.

Надпись на карточке гласила: «Кеннет Морган, младший экономист».

— Так вы Кеннет Морган? — спросил я.

— Посмотрите на карточку, — ответил он.

Ну конечно, как же я этого не сообразил! Великолепно! Слава Богу, этот человек здесь, целиком на ней записан.

Тут он поднял свое лицо, словно сошедшее с рекламы «Компании универсальной стрижки», и сказал:

— Надеюсь, вы понимаете, сэр, дело это очень щекотливое.

Я дал младшему экономисту чек на сто тридцать три доллара пятьдесят пять центов, и они в Огнетушителем растаяли в кормдоре. Что возвращает меня, Хорват и Хорват, к вопросу о вышеупомянутых четырех долларах семидесяти девяти центах. На следующее же утро я позвонил портю и попросил приготовить мне счет: в три часа дня я выезжаю.

На другом конце провода — хочу, чтобы вы, Хорват, и вы тоже, Хорват, об этом знали, — только что не зафыркали от смеха.

— Вы уж не волнуйтесь, — сказал мне голос. — Едва вы пожелаете выехать, ваш счет будет уже готов. Счет у нас выписывается мгновенно, вот так-то, сэр!

Прекрасно. Минут без двадцати три я позвонил шефу посыльных и попросил прислать мне одного посыльного в номер, но так никто и не появился. Виноват в этом, конечно, был я — просто не сумел придумать никакого удобного способа передать свою просьбу вниз, шефу посыльных, в письменном виде. Поэтому мне пришлось самому доставить свои чемоданы вниз, где все сейчас было будто с картины какого-то современного Брейгеля или Босха. В середине дня, когда обычно выезжают, в «Хилтона» сумасшедший дом, и алюминокроновые костюмы то и дело сталкиваются друг с другом и отскакивают в разные стороны, как бильярдные шары. Чтобы получить свой мгновенный счет, ждать мне пришлось минут двадцать, не больше. Наконец девушка выудила из карточки мою перфокарту (мне удалось на нее взглянуть, это был сверху донизу добрый старый номер тысяча семьсот три), исчезла с ней в электронных кишках «Хилтона» и затем вынырнула со счетом за последний день моего пребывания — еще на двадцать четыре доллара семнадцать центов, которые я и уплатил.

Так что, Хорват, и вы тоже, Хорват, я не имею представления о том, откуда взялись эти четыре доллара семьдесят девять центов или как могли они потеряться где-то на пути между секретной службой «Хилтона» и его электронными кишками, но суть даже не в этом. Суть в том, что вы беретесь за дело не с того конца, не так, как полагается в автоматизированном отеле. Надеюсь, вы из-

влезете для себя урок из этого моего рассказа. Бог свидетель, я старался помочь вам в этом, как мог.

Я хочу сказать только одно: если вы приметесь за дело правильно, я, даже не зная за что, без промедления уплачу эти четыре доллара семьдесят девять центов. Мне важно, как работают, и соответственно настоящим я публично, открыто, не сходя с места, торжественно обещаю вам и «Корпорации» Хилтона: если вы проделаете все так, как это делается в автоматизированном отеле, и пришлете к моему подъезду двух младших экономистов, я расплачусь сполна завтра же. Узнать меня им будет совсем легко: я буду ждать их сразу за дверью, и в руке у меня будет бейсбольная бита.

Перевел с английского
РОСТИСЛАВ РЫБКИН

Г. Л. ЛЭК

УПРЯМЫЙ РОБОТ

В фирму «Аренда роботов, Лтд»
Лондон

От А. Уиллиса,
15, Слимбридж Гарденс,
Бат, Сомерсет

Дорогой сэр,

огромное спасибо за то, что вы так быстро и точно выполнили мой заказ. Робот, которого вы прислали для работы в доме и саду (на время моего отпуска и пребывания на континенте), оказался, если можно так выразиться, верхом совершенства. Он делал все, что от него требовалось: наводил порядок в комнатах, подстригал лужайку и вообще создавал видимость того, что дом обитаем,— в точности, как рекомендует справочник по предотвращению преступности, изданный полицейским управлением.

Должен поздравить вас также и с тем, что вам удалось добиться потрясающего сходства со мной; а ведь я позировал всего-навсего два раза.

Я уже завел механизм, возвращающий робота к вам, и надеюсь, что вы получите его в полной сохранности. Буду признателен, если вы вышлете без промедления счет за прокат модели PP/1307.

С уважением, А. У и л л и с

А. Уиллису, Эсквайру,
15, Слимбридж Гарденс,
Сомерсет, Бат

От фирмы «Аренда
роботов, Лтд»

Дорогой сэр,

благодарю вас за письмо от 30 августа 1979 г. Очень приятно было узнать, что вы довольны работой нашей фирмы. Ваш лестный отзыв по поводу сходства между моделью PP/1307 и вами я передал технику, который непосредственно этим занимался.

Хочу объяснить небольшую задержку в отправке счета, вложенного в этот конверт: высланный вами робот пробыл в пути несколько дольше, чем предполагалось. Возможно, есть небольшие неполадки в механизме, осуществляющем его возвращение. Что же касается прочих данных, то модель PP/1307 работает отлично.

Будем рады получить в срок денежный перевод и ждем ваших новых заказов.

С уважением, П. Крейн
(отдел доставки)

А. Уиллису, Эска.

От юридической конторы
«Брайт, Брайт и Пурвис»,
5А Таун Сквер Чемберс,
Бат, Сомерсет

Уважаемый г-н Уиллис,

по поручению нашего клиента г-на Роберта Стегга, проживающего по соседству с вами (Слимбридж Гарденс, дом 17), обращаюсь к вам по поводу некоторых событий, по-видимому, имевших место в течение августа месяца и первой недели сентября этого года.

Имеется в виду следующее. В течение этого срока, в то время как ваша супруга, по всей вероятности, находилась в отъезде, вы прозидали длительные отрезки времени, наблюдая буквально за каждым шагом супруги моего клиента, г-на Стегга, которая (к чести ее сказать) долго не верила глазам своим. Наконец, ее нервная система пришла в такое состояние, что г-жа Стегг буквально боялась выйти из дому или оставить незадернутыми шторы на окнах.

С тех пор как ваша жена вернулась из отпуска и вы приступили к работе, этой непристойной слежке как будто бы наступил конец, если не считать тех трех вечеров, когда вы продолжали следить за своей соседкой из укрытия, образованного низким кустарником в вашем саду.

Все вышесказанное крайне шокировало супругов Стегг, ко-

торые до сих пор питали к вам глубокое уважение, хотя и не были с вами близко знакомы. Надеюсь, что вы не подадите моему клиенту новых поводов для жалоб, и буду рад вручить ему ваше письмо, в котором вы все объясните и извинитесь, в том случае, если не соизволите сделать этого лично. Кстати говоря, г-н Стегг надеется, что вы предпочтете последнее.

От имени юрид. конторы А. Брайт

В фирму «Аренда роботов, Лтд»
Лондон

От А. Уиллиса

Дорогой сэр,

надеюсь, что робот, которого я брал в аренду, прибыл благополучно. Впрочем, поводом, побудившим меня взяться за перо, послужило нечто более серьезное, чем это возможная задержка.

Направляю вам копию письма, полученного мною сегодня. Нетрудно заметить, что события, вызвавшие нарекания моего соседа, совпадают по времени со сроком пребывания в моем доме вашего робота, которого г-н Стегг принял за меня самого.

Может быть, все это и свидетельствует о прекрасной работе создателей модели PP/1307, однако вы должны согласиться, что действия робота, упомянутые в письме, ставят меня в крайне неловкое положение. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы пришлете письмо, которое раскрыло бы суть работы вашей фирмы и подтвердило бы, что в свое время она снабдила меня роботом. С таким письмом в руках я смог бы нанести визит г-ну Стеггу.

Искренне ваш А. Уиллис

А. Уиллису, Эскв.

От фирмы «Аренда роботов, Лтд»

Дорогой сэр,

благодарю вас за письмо, которое мы получили сегодня. Смею заверить, что я прекрасно понимаю ваше положение. Однако услуги, предоставляемые нашей фирмой, как вам известно, сохраняются в тайне. Кроме того, мы обслуживаем лишь избранный круг лиц, собственно говоря, далеко не все знают даже то, что такой вид услуг существует. Поскольку г-н Стегг пока еще не состоит в числе наших клиентов, я вынужден отказать вам в вашей просьбе и предлагаю ограничиться устным объяснением, которого будет вполне достаточно.

С уважением, П. Крейн

Директору фирмы «Аренда роботов,
Лтд»

От А. Уиллиса

Дорогой сэръ,

в дополнение к моему письму, направленному в вашу фирму несколько дней назад вместе с приложенным к нему письмом адвоката (которое, я надеюсь, у вас хранится), позвольте сообщить вам, что разговор мой с соседом г-ном Стеггом был абсолютно безуспешным. Если же называть вещи своими именами, то следует сказать, что г-н Стегг, в обычных условиях человек с мягким характером и тихим голосом, разразился страшной бранью и не пожелал даже слушать, моих объяснений, назвав их бредом сивой кобылы. Кроме того, он отказался поверить в то, что такая фирма, как ваша, вообще существует.

Теперь, когда настал критический момент, совершенно ясно, что объяснительного письма недостаточно. Буду чрезвычайно благодарен, если вы пришлете мне робота назад, чтобы я смог доказать свою невиновность. Разумеется, необходимые расходы будут мной оплачены и строжайшая секретность соблюдена.

С уважением, А. Уиллис

Фирма «Аренда роботов, Лтд»

От директора,
в отдел глубокого
замораживания

Прошу проверить, находится ли модель PP/1307 в состоянии полной рабочей готовности, и незамедлительно отправить по адресу: А. Уиллису, 15, Слимбридж Гарденс, Сомерсет.

Директору фирмы
«Аренда роботов, Лтд»

От А. Уиллиса

Дорогой сэръ,

думаю, вам будет приятно узнать, что операция прошла успешно. Выражение лица моего соседа в тот момент, когда я предстал перед ним вместе с вашим роботом, описать немислимо: его нужно было увидеть своими глазами. Пришлось его убеждать, что мы с роботом — не братья-близнецы.

Есть и еще одна небольшая загвоздка: я снова завел робота так, чтобы он возвращался к вам, однако, судя по его виду, уезжать он совсем не хочет. И хотя в данный момент это не причиняет мне особых неудобств, я был бы вам благодарен за совет.

Спасибо за внимание и прошу по возвращении робота выслать счет.

С уважением, А. Уиллис

А. Уиллису, Эскв.

От фирмы «Аренда».

Дорогой сэр,

счастливы были узнать, что операция прошла с блеском. Мы всегда рады угодить своим клиентам и в данном случае даже откажемся от оплаты.

Просим вас не беспокоиться по поводу медлительности, проявляемой нашим роботом. В обычных условиях мы после каждого задания настраиваем устройство, возвращающее модель на место. На сей раз по причине поспешности, с которой мы отсылали к вам РР/1307, это не было сделано, и в механизме, видимо, появилась небольшая погрешность. Он должен начать работать; если же этого не произойдет, через две суток после получения вами моего письма, пожалуйста, свяжитесь со мной снова.

С уважением, Оскар Флауенбаум, директор

О. Флауенбауму, директору

От А. Уиллиса

Дорогой сэр,

в дополнение к моему письму, отправленному в ваш адрес позавчера, хочу сообщить, что робот все еще у меня и, поскольку ведет он себя ненормально, я просил бы кого-то за ним прислать.

Возможно, что это лишь игра моего воображения, но мне кажется, что на лице у него выражение превосходства, и весь вид у него такой, словно он повелевает всем домом. Видимо, механизм требует тщательной проверки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, к помощи роботов я больше прибегать не буду, хотя вы в свое время и оказали мне большую услугу. Вот и сейчас, когда я пишу это письмо, он читает его, стоя у меня за спиной, что повергает меня в отчаяние.

С уважением, А. Уиллис

От Патриции Уиллис,
15, Слимбридж Гарденс

Дорогая Тилли,

знаешь, я так много должна тебе рассказать, что нам нужно непременно встретиться, и поскорее. Отпуск на континенте мы

провели изумительно, я надеюсь, что ты получила мою открытку из Венеции. Погода была великолепной все время, и жили мы в роскошном отеле. Даже мой Артур немного оттаял, а в те дни, когда у него были деловые встречи (ведь он совсем не умеет просто отдыхать), меня катал на моторной лодке один потрясающий швед! Разумеется, я не могу рассказать тебе всего, достаточно сказать, что это был блондин, весь-весь покрытый красивым загаром! Настоящий викинг, совершенно в моем вкусе!

Я думала, что, когда вернусь домой, меня одолеет скука, но по крайней мере одно интересное событие все же произошло. Ты знаешь, что мы хотели взять одного из этих роботов, чтобы он присматривал за домом (честно говоря, я не должна тебе этого рассказывать, и ты не выдавай меня кое-кому). Ну вот, такого робота мы взяли, и он здесь неприлично себя вел, и наш сосед подумал, что Артур пялит глаза на его жену. Артур — можешь себе такое представить? Пришлось запросить робота на время обратно, чтобы оправдаться. Самое смешное в том, что теперь, когда все утряслось, он не хочет уезжать!

Целыми днями он споняется по дому, кстати говоря, похож на моего благоверного как две капли воды (как будто бы мне одного из них было мало!). Однако этот робот бросает на меня взгляды, говорящие о том, что он совсем не такая холодная рыба, как мой милый Артур.

Я же говорю, Тилли, нам непременно надо увидеться, и ты тоже расскажешь мне о своих приключениях в Ницце.

Твоя Пэтти

Фирма «Аренда роботов, Лтд»
Сеймуру Денту, отдел консервации
Срочно!

Прошу забрать модель PP/1307 у клиента А. Уиллиса, проживающего по адресу: 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет. Робота по возвращении ликвидировать.

О. Флауенбаум, директор

Директору фирмы
«Аренда роботов, Лтд»
.....
Уважаемый господин директор,

сегодня утром я не вышел на работу, потому что неважно себя чувствую. Ваше последнее поручение — забрать робота из Бата — меня доконало, потому что ехать он не хотел.

В вашей фирме я работаю уже несколько лет, и раньше мне это очень нравилось, но теперь я понял — с меня хватит. Когда роботы были механизмами, все было в порядке, а теперь они так на нас похожи, что это меняет дело.

Этот последний вывернул из меня всю душу. Пока он просто дрался, я не имел ничего против, но вопль, который он испустил, когда я совал его в печь, пронзил меня, как стальной клинок. Надо было меня предупредить, что он такой усовершенствованный. Я вообще не вижу смысла в том, чтобы делать таких натуральных роботов. Считайте это письмо моим заявлением об уходе.

С уважением, Сеймур Деит

Перевела с английского
ЭЛЛА БАШИЛОВА

ФРЕДРИК БРАУН

ВОЛНОВИКИ

Краткий Вебстер-Хэмлин для средней школы издания 1998 года дает следующие определения:

Космик, а, м. Разг. Волновик, нетварь класса Радио.

Нетварь, и, ж. Невещественный организм, волновик, космик.

Радио, нескл.: 1. Класс нетварей. 2. Частота колебаний эфира, промежуточная между светом и электричеством.

3. (Устар.). Средство связи, применявшееся до 1957 г.

Канонада вражеских пушек не оглушала, хотя слышали ее миллионы людей. И среди этих миллионов был Джордж Бейли, выбранный мною потому, что он один из всех высказал догадку, почти точно попавшую в цель.

Джордж Бейли был пьян. Но, принимая во внимание обстоятельства, его нельзя было осуждать за это. Он слушал по радио рекламы самого тошнотворного свойства. Он слушал их не потому, что ему хотелось — вряд ли об этом надо говорить, — а потому, что слушать ему велел его босс Д. Р. Мак-Джи из радиокорпорации «Юнион».

Джордж Бейли зарабатывал тем, что писал для радио рекламу. Рекламу он ненавидел почти так же, как радио, а радио не-

навидел больше всего на свете. И вот он сидит и слушает в свое нерабочее время глупые, гнусные рекламы конкурирующей радио-корпорации. «Бейли,— сказал недавно Джорджу Д. Р. Мак-Джи,— вы должны лучше знать, что делает наш противник. В частности, вы должны быть в курсе дела, какую рекламу поставляют сейчас другим радиокорпорациям. Я вам настоятельно рекомендую...

Нельзя одновременно возражать начальству, которое тебе что-то настоятельно рекомендует, и занимать место, дающее двести долларов в неделю.

Но зато можно, слушая чужие рекламные объявления, пить виски с лимонным соком. И Бейли пил.

И еще можно в перерывах между передачами играть в кункен с Мейзи Хеттерман, хорошенькой, рыжеволосой, миниатюрной машинисткой из радиостудии. Квартира принадлежала Мейзи. И радиоприемник тоже (Джордж из принципа не покупал ни радиоприемник, ни телевизор), зато виски принес Джордж.

— ...только табак самых лучших сортов,— говорило радио,— идет пип-пип-пип лучшие в стране сигареты...

Джордж посмотрел на приемник.

— Маркони,— сказал он.

Он, разумеется, имел в виду Морзе, но лимонный коктейль уже ударил в голову, и его первая догадка-обмолвка, как потом оказалось, почти точно попала в цель. Да, это был Маркони в каком-то смысле. В каком-то очень и очень своеобразном смысле.

— Маркони? — переспросила Мейзи.

Джордж терпеть не мог разговаривать с диктором наперебой, поэтому он потянулся через стол и выключил радио.

— Я хотел сказать Морзе,— поправился он.— Знаешь, чем пользуются бойскауты и военные связисты? Я ведь мальчишкой тоже был бойскаутом.

— Ты с тех пор сильно изменился,— сказала Мейзи.

Джордж вздохнул.

— Кто-то, видно, хочет связаться с самим чертом, посылая сигнал на такой волне.

— А что это значит?

— Как что значит? А-а, ты спрашиваешь, что значат эти сигналы? Гм, этот сигнал означает букву «с». Пип-пип-пип — значит точка-точка-точка. А точка-точка-точка — буква «с». Знаешь, как звучит SOS? Пип-пип-пип, пии-пии-пии, пип-пип-пип.

— Значит, «пии-пии-пии» буква «о»?]

Джордж улыбнулся.

— Полици еще раз, Мейзи. Мне очень понравилось. Ты пишешь, как птенчик.

— А вдруг, Джордж, это действительно сигнал бедствия? Включи приемник.

Джордж включил. Реклама табака все еще продолжалась.

— ...джентльмены, обладающие самым пип-пип-пип вкусом, предпочитают более тонкий аромат пип-пип-пип... арет. В новой оригинальной упаковке, которая сохраняет пип-пип-пип и свежим.

— Нет, это не SOS. Это просто «с».

— Похоже на закипевший чайник. А может, Джордж, это рекламные штучки?

Джордж отрицательно покачал головой.

— Не может быть. Писк заглушает название рекламируемого товара. Так не делают. Давай-ка посмотрим, что на других волнах.

Он снова потянулся к приемнику и стал медленно крутить ручку сначала вправо, потом влево — на лице его отразилось изумление и недоверие. Довел влево до самого отказа. Там не было ни станций, ни глушителей, ни несущих волн. А из динамика все вылетало: пип-пип-пип.

Джордж покрутил до отказа вправо. Опять пип-пип-пип.

Он выключил приемник и устался на Мейзи невидящим взглядом, хотя не видеть ее было не так-то просто.

— Что-нибудь случилось, Джордж?

— Я надеюсь, — медленно и отчетливо сказал Джордж, — я очень надеюсь, что наконец-то что-то случилось.

Он потянулся было за бутылкой, но раздумал пить, его вдруг пронзило предчувствие чего-то огромного и небывалого. И захотелось поскорее отрезветь, чтобы в полной мере оценить происходящее.

Но он и не подозревал, какими грандиозными последствиями было чревато это безобидное полнискивание.

— Джордж, что ты имеешь в виду?

— Сам не знаю что. Пойдем-ка, Мейзи, на радиостудию. Вот где, должно быть, сейчас потеха.

5 апреля 1957 года. Вечером этого дня околоземное воздушное пространство подверглось нашествию волновиков.

Вечер начался как обычно. Но затем все пошло кувырком. Джордж с Мейзи подождали такси, но такси не было, и они поехали на метро. Да, да, представьте себе, метро тогда еще работало! Вышли они из подземки за квартал до радиоцентра.

Студия походила на сумасшедший дом. Джордж, улыбаясь во весь рот и ведя Мейзи под руку, проследовал через вестибюль, вошел в лифт, доехал до пятого этажа и неизвестно по какой причине дал лифтеру доллар, хотя никогда в жизни не давал и цента.

Лифтер поблагодарил.

— Держитесь от начальства подальше,— предупредил он Джорджа.— Если сейчас к ним сунешься — сожрут живьем.

— Превосходно! — бросил Джордж и, выйдя из лифта, направился прямо в кабинет самого Д. Р. Мак-Джи.

За стеклянной дверью слышались громкие, раздраженные голоса. Джордж взялся за кругляк ручки, Мейзи попыталась его остановить.

— Джордж,— прошептала она,— тебя выгонят.

— Час пробил,— сказал Джордж и, ласковой, но твердой рукой отстранив Мейзи от двери, прибавил: — Отойди от двери, милая. А теперь смотри.

— Что ты собираешься делать, Джордж?

— Смотри,— повторил он. Приоткрыл дверь, просунул в щель голову. Истерические голоса тотчас смолкли, глаза всех присутствующих оборотились к нему.

— Пип-пип-пип,— пропищал Джордж.— Пип-пип-пип.

Отскочил он вовремя: со звоном посыпались на пол разбитые стекла, и в коридор вылетело массивное пресс-папье, а следом,— мраморная чернильница.

Подхватив Мейзи под руку, Джордж бегом помчался по лестнице вниз.

— Вот теперь выльем! — весело воскликнул он на ходу.

Бар напротив радиоцентра был полон, но в нем почему-то царил непривычная тишина. Из уважения к тому, что большинство завсегдатаев были причастны к радио, телевизора в баре не было, а только большой радиоприемник, и сейчас почти все, кто находился в баре, столпились вокруг него.

— Пип,— сказала радио.— Пип-пип-пип-пип, пип-пип-пип, пип...

— Ну разве не красота? — шепнул Джордж Мейзи.

Кто-то покрутил ручку, еще кто-то спросил:

— Это чья волна?

— Полиции.

— Попробуйте иностранные волны,— предложил кто-то.

— Вот, кажется, Буэнос-Айрес.

— Пип-пип-пип,— отозвалось радио.

Кто-то, взъерошив пальцами волосы, рывкнул:

— Выключите его к черту!

Кто-то сейчас же снова включил.

Джордж, улыбнувшись, повел Мейзи к дальней кабине, где еще с порога заметил Пиза Малвени, сидящего в одиночестве за бутылкой. Они с Мейзи сели напротив.

— Привет,— напыщенно произнес Джордж.

- Привет, пропади все пропадом,— ответил Пит, возглавлявший отдел научно-технических исследований радицентра.
- Чудесный вечер, Малвени,— дурачься, сказал Джордж.— Ты заметил, луна среди кудрявых облаков плывет подобно золотому галеону в бурном море...
- Заткнись,— сказал Пит,— я думаю.
- Виски с лимонным соком,— заказал Джордж официанту. И, повернувшись к приятелю, продолжал: — Думай вслух, чтобы и мы могли знать, о чем ты думаешь. Как тебе удалось увильнуть от этого совета болванов? — Джордж махнул рукой в сторону радицентра.
- Меня выгнали, вышвырнули, дали коленкой под зад.
- Жму руку. Меня тоже. Ты чем провинился? Сказал им «пип-пип-пип»?
- Пит взглянул на приятеля с восхищением.
- А ты сказал?
- Да, и у меня есть свидетель. А ты что сделал?
- Объяснил им, что, по-моему, происходит, и они решили, что я спятил.
- А ты, может, и вправду спятил?
- Может, я и спятил. Но «пи-пи-пи» — это чистое безумие.
- Прекрасно,— сказал Джордж,— мы тебя слушаем.— Он прищелкнул пальцами.— А как телевидение?
- То же самое. По звуковому каналу «пи-пи-пи», изображение плывет и мерцает, ничего разобрать нельзя.
- Здорово! А теперь объясни нам, что, по-твоему, происходит. Вообще-то мне все равно что, лишь бы было ни на что не похоже. Мне просто интересно, что ты об этом думаешь.
- Думаю, дело не обошлось без космоса. И еще космическое пространство должно быть искривлено.
- Старый, добрый космос,— вставил Джордж Бейли.
- Джордж,— сказала Мейзи,— пожалуйста, помолчи. Я хочу послушать, что скажет Пит.
- Ведь и космос бесконечен,— Пит налил себе еще.— Если будешь лететь во Вселенной все дальше и дальше, то в конце концов вернешься туда, откуда стартровал. Как муравей, ползущий по яблоку.
- Пусть лучше по апельсину,— не унимался Джордж.
- Пусть по апельсину. Предположим теперь, что первые радиоволны, все, какие были выпущены в эфир, совершили облет Вселенной. За пятьдесят шесть лет.
- Всего за пятьдесят шесть? Но ведь радиоволны, по крайней мере, я так всегда думал, распространяются со скоростью света. Тогда за пятьдесят шесть лет они должны покрыть расстояние

в пятьдесят шесть световых лет. Какой же это облет Вселенной, ведь существуют галактики, которые, мне помнится, отстоят от нас на расстоянии миллионов или даже миллиардов световых лет. Я точно не помню, но кажется, даже наша собственная галактика растянулась раз в сто больше, чем на пятьдесят световых лет.

Пит Малвени вздохнул.

— Вот поэтому я и сказал, что пространство должно быть искривлено. Где-то, видно, имеется более короткий путь.

— До такой степени? Этого не может быть.

— Но, Джордж, ты только вслушайся в эту галиматью, которая неизвестно откуда взялась. Ты азбуку Морзе знаешь?

— Немного. Но такие частые сигналы разобрать не могу.

— А я могу,— продолжал Пит.— Это передачи первых американских радиолюбителей. Всем этим был наполнен эфир до того, как начались регулярные радиопередачи: линго, сокращения, трепотня радиолюбителей с помощью аппаратов Морзе, когерера Маркони или детектора Фессендена. Вот увидишь, очень скоро мы услышим соло на скрипке. И я тебе скажу, что это будет.

— Что?

— Это «Лярго» Генделя. Первая в мире запись на фонографе, переданная по беспроволочному телеграфу. Эту первую музыкальную радиопередачу провел Фессенден из Брант Рока в 1906 году. Сейчас мы услышим его позывные «СО». Готов спорить на бутылку.

— Идет. А что в таком случае означают первые «пип-пип-пип», с которых все началось?

— Это Маркони, Джордж,— улыбнулся Пит.— Тебе известно, когда он послал свой трансатлантический сигнал?

— Маркони? Пип-пип-пип, пятьдесят шесть лет назад?

— Да, 12 декабря 1901 года три часа подряд мощная радиостанция, которая находилась в Англии в Полду и принадлежала Маркони, с помощью двухсотфутовых антенн посылала в эфир прерывистый сигнал «пип-пип-пип», три точки, означающие букву «си». Маркони и его два помощника были в это время в Сент-Джонсе, в Ньюфаундленде. Они ловили посылаемый в другом полушарии сигнал с помощью проволочной антенны, прикрепленной к воздушному змею, запущенному на четырехсотфутовую высоту, и в конце концов поймали его. Представь себе, Джордж, где-то в Полду, по ту сторону океана, из огромных лейденских банок выскакивает голубая икра, и с огромных антенн стекает в эфир электричество напряжением 20 000 вольт...

— Подожди, подожди, Пит, ты, видно, и впрямь спятил. Этот сигнал был послан, ты говоришь, в 1901 году, а первая музыкальная передача — в 1906, значит, «пип-пип-пип» Маркони и «Лярго»

Генделя должны вернуться к нам, воспользовавшись твоей королевской дорожкой, с промежутком в пять лет. Так что даже если во Вселенной и существует этот путь напрямик и если радиосигналы, путешествуя в космосе, почему-то не затухают, все равно твое объяснение — явная нелепость и безумие.

— А я тебе и сам сказал, что безумие,— мрачно проговорил Пит.— Действительно, эти сигналы, совершив кругосветное космическое турне, должны были бы стать такими слабыми, что мы бы их и не заметили. А мы их слышим на всех волнах всех диапазонов, начиная с ультракоротких, и везде их мощность одинакова. При этом, как ты уже и сам заметил, за два часа мы перескочили через пять лет, что невозможно. Я же говорю, что все это чистое безумие.

— Но...

— Тс-с,— прошептал Пит.

Из динамика донесся слабый, но вполне различимый человеческий голос вперемешку с сигналами Морзе. Затем приглушенная музыка с шипением и треском, но, бесспорно, исторгаемая смычком из скрипки. Играли «Лярга» Генделя.

Звук вдруг взметнулся до самых высоких нот, пронзительный визг, раздирая барабанные перепонки, поднимался все выше и наконец исчез за пределами слышимости. Стало совсем тихо. Кто-то сказал:

— Выключите эту чертовщину.

Кто-то выключил, и на этот раз никто уже больше не стал включать.

— Я сам не могу этому поверить,— сказал Пит.— Все еще запутывается тем, что эти сигналы принимаются телевизорами, тогда как обычные радиоволны имеют другую частоту, и телевизоры для них недоступны.

Пит растерянно покачал головой.

— Нет, Джордж, видно, все-таки надо искать другое объяснение. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что я не прав.

Да, Пит Малвени не ошибался, он был не прав.

— Невероятно,— воскликнул мистер Оджилви. Он снял очки, свирепо насупил брови, снова водрузил очки на нос. Посмотрел сквозь них на листы бумаги с напечатанным текстом, которые держал перед собой в руках, и презрительно фыркнув, бросил на стол. Листы упали веером на треугольную табличку с надписью.

Б. Р. Оджилви,

главный редактор

— Невероятно,— повторил он.

Кейзи Блэр, его лучший репортер, выпустил колечко дыма и проткнул его указательным пальцем.

— Почему?— спросил он.

— Потому что... потому что невозможно.

— Сейчас три часа утра,— сказал невозмутимо Кейзи Блэр.— Помехи начались в десять вечера, и вот уже ни радио, ни телевидение не могут передать ни одной программы. Все главные радиовещательные и телевизионные станции мира прекратили работу по двум причинам: во-первых, жалко впустую тратить электроэнергию, во-вторых, и комитеты и министерства связи во всех странах обратились к радио и телекомпаниям уйти из эфира, чтобы легче было обнаружить источник помех. Поиски ведутся уже пять часов, используется новейшая аппаратура. И что же удалось найти?

— Невероятно! — опять воскликнул главный редактор.

— Невероятно, но другого объяснения нет. Гринвич, 23 часа по нью-йоркскому времени — я все время перевел на нью-йоркское — пеленг показал движение помехи в сторону Майами, затем далее на север и около двух часов пополуночи на Ричмонд, штат Виргиния; Сан-Франциско, 23 часа, пеленг дает направление на Денвер, а три часа спустя — на Туксон. В Южном полушарии из Кейптауна сообщают, что запеленгованы сигналы, двигающиеся от Буэнос-Айреса в сторону Монтевидео, который расположен на тысячу миль севернее. В Нью-Йорке в 23 часа были пойманы слабые сигналы, перемещающиеся в сторону Мадрида, но к двум часам Нью-Йорк совсем перестал их слышать.— Кейзи Блэр выпустил еще одно колечко дыма и продолжал: — Возможно, потому, что в Нью-Йорке применяют антенны, которые вращаются только в горизонтальной плоскости.

— Чушь!

— Мне больше нравится ваше «невероятно», мистер Оджилли. Невероятно — да, но не чушь. Мне делается не по себе, мороз по коже дерет. Но от фактов деться некуда. Если в качестве направляющих взять касательные к Земле, а не дуги, проведенные на ее поверхности, то все они укажут одно направление. Я сам все это проделал с помощью глобуса и карты звездного неба. И оказалось, что точка эта лежит в созвездии Льва.

Блэр подался вперед и постучал указательным пальцем по первой странице статьи, которую только что принес редактору.

— Станции, находящиеся в околоземном пространстве прямо под созвездием Льва, вообще не принимают никаких сигналов,— продолжал Блэр.— Станции, расположенные по краю земного диска, как он виден в наибольшем удалении от этой точки, регистрируют самое большое количество сигналов. Послушайте, Оджил-

ви, свяжитесь с астрономами, пусть они проверят мои расчеты. Но поторапливайтесь, не то рискуете очень скоро прочитать обо всем этом в других газетах.

— А как же, Кейзи, слой Хэвисайда? Ведь он преграждает путь всем радиоволнам, отражая их обратно на Землю?

— Да, отражает, но, видно, где-то в нем имеется брешь. Или, может статься, слой этот непроницаем только для волн, идущих с Земли, и наоборот, свободно пропускает волны из космоса. Ведь слой Хэвисайда — все-таки не монолитная стена.

— Но...

— Я согласен, это невероятно, но факты — упрямая вещь. А до выпуска номера остался всего один час. Я вам советую немедленно отослать статью в набор. А пока ее набирают, проконсультируйтесь с астрономами. К тому же надо выяснить еще один момент.

— Какой?

— У меня под рукой не было справочника, чтобы проверить на сегодняшнюю ночь расположение планет. Созвездие Льва находится сейчас в плоскости эклиптики. Между нами и этим созвездием может оказаться на прямой какая-нибудь планета. Марс, например.

Мистер Оджилви на миг оживился, но глаза его тут же снова потухли.

— Если вы ошибаетесь, Блэр, — сказал он, — мы станем посмешищем в глазах всего мира.

— А если не ошибаюсь?

Главный редактор поднял телефонную трубку и коротко отдал распоряжение.

6 апреля утренний (шестичасовой) выпуск «Нью-Йорк морнинг мессенджер» вышел под следующей шапкой:

РАДИОСИГНАЛ ИЗ КОСМОСА. ОБИТАТЕЛИ СОЗВЕЗДИЯ ЛЬВА ПЫТАЮТСЯ НАЛАДИТЬ С НАМИ РАДИОСВЯЗЬ

Все радио и телепередачи были прекращены.

С утра акции радио- и телекомпаний стали стремительно падать. К полудню цена их немного поднялась благодаря обычному дневному оживлению спроса.

Реакция публики была двоякой: за приемниками, особенно портативными и настольными, были буквально драки. Телевизоры же перестали покупаться совсем. Поскольку телепередач не было, на экранах не было никакого изображения, даже расплывчатого, а по звуковому каналу шла все та же чертовщина, что, как объяснил Пит Малвени Джорджу Бейли, ни в какие ворота не лезло, ведь звуковой контур телевизора не мог принимать радиоволны.

И все-таки это были радиоволны, только искаженные до неузнаваемости. Слушать радио стало невыносимо. Временами, правда, бывали проблески. О да, бывали! Вдруг подряд несколько секунд вы слышали голос Уилла Роджерса или Джералдин Фарар или вдруг раздавались пальба, вопли, взрывы — и вы попадали в разгар событий при Пирл-Харбор. (Помните Пирл-Харбор!) Но такие моменты, когда можно было что-то послушать, выпадали исключительно редко. По большей части радио выплевывало из своих недр крошку из опер, реклам, душераздирающего визга и хрипа, бывших когда-то прекрасной музыкой. В этой какофонии не было никакой системы, и слушать ее подряд хотя бы несколько минут было нестерпимо.

Но любопытство — великий стимул. И спрос на радиоприемники не падал несколько дней.

Было еще несколько поголовных увлечений, менее объяснимых, менее поддающихся анализу. Память о панике 1938 года, которую вызвали марсиане Уэлса, породила внезапный спрос на пулеметы и пистолеты. Библии раскупались с такой же быстротой, что и книги по астрономии, а книги по астрономии расхватывались, как горячие пирожки. Население одного штата вдруг бросилось устанавливать на крышах громоотводы; строительные конторы были засыпаны срочными заказами.

Неизвестно по какой причине (не выяснено это и по сей день) в Мобиле, в штате Алабама, публику охватила повальная страсть к рыболовным крючкам. Все скобяные лавки и магазины спорттоваров распродали годовичные запасы крючков чуть ли не за два часа.

Публичные библиотеки и книжные магазины осаждали охотники за астрономической литературой и книгами о Марсе. Да, о Марсе, хотя Марс в то время находился по другую сторону Солнца и все газетные статьи на злобу дня подчеркивали тот факт, что между Землей и созвездием Льва в данный момент нет ни одной планеты Солнечной системы.

Творилось что-то непостижимое уму. И никакого вразумительного объяснения происходящему пока дано не было. Все новости черпались только из газет. Люди толпились у редакций, дожидаясь свежего выпуска. Заведующие тиражом буквально сбивались с ног.

Любопытные собирались маленькими группками перед смолкнувшими радио и телестудиями, переговариваясь между собой приглушенными голосами, точно на поминках. Входные двери радиоцентра «Омнион» были заперты, но в проходной все время дежурил привратник, который впускал и выпускал сотрудников науч-

но-технического отдела, тщетно бившихся над решением загадки. Те, кто был в студии, когда радио пропещало первый раз, не спали уже больше суток.

Джордж Бейли проснулся в полдень. После вчерашней выпивки у него немного побаливала голова. Он побрился, принял душ, выпил чашку кофе и снова стал самим собой. Купил несколько утренних газет, прочитал, усмехнулся. Предчувствие не обмануло его: происходило нечто небывалое, нечто из ряда вон выходящее.

Но что же все-таки происходило?

Ответ появился в вечерних выпусках газет. Заголовок был набран самым крупным тридцатшестимиллиметровым шрифтом:

УЧЕНЫЙ УТВЕРЖДАЕТ:

ЗЕМЛЯ ПОДВЕРГЛАСЬ НАПАДЕНИЮ ИЗ КОСМОСА

Ни одна американская газета, выпущенная в тот вечер, не была доставлена подписчикам. Разносчики газет, выходя из типографии, тут же попадали в объятия толпы. В тот вечер они не доставляли газеты, а продавали их. Самые беззастенчивые брали за номер по доллару. Тем, кто почестнее и поглупее, совесть не позволяла торговать товаром, за который уплачено. Но что они могли поделать — газеты буквально вырывались у них из рук.

Утренние газеты только немного изменили шапку, совсем немного с точки зрения наборщика. Но смысл от этого изменился сто крат. Заголовок теперь гласил:

УЧЕНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ:

ЗЕМЛЯ ПОДВЕРГЛАСЬ НАПАДЕНИЮ ИЗ КОСМОСА

Вот что может сделать простая замена единственного числа множественным.

В полночь, за несколько часов до утреннего выпуска, в Карнеги-холл была прочитана лекция, содержание которой прозвучало, подобно взрыву бомбы. Лекция не была объявлена заранее, афиши ее не анонсировали. За полчаса до полуночи профессор Хелметц вышел из поезда на вокзале в Нью-Йорке. Его тут же окружила толпа репортеров. Хелметц, профессор Гарвардского университета, был тот самый ученый, который первый заговорил о нападении из космоса.

Харви Амберс, директор Карнеги-холл, пробивался с опасностью для жизни сквозь толпу навстречу профессору. Лишившись сил, а заодно шляпы и очков, директор, однако, не лишился присутствия духа. Он схватил профессора за руку и закричал ему на ухо: «Мы приглашаем вас, профессор, прочитать лекцию в Карнеги-холл. Пять тысяч долларов за одну лекцию о космических пришельцах».

- Непременно. Завтра в три часа дня.
- Завтра? Сию же минуту, немедленно. Такси нас ждет.
- Но...

— Аудиторию мы обеспечим. Скорее! — Он обернулся к толпе. — Дайте пройти! Здесь никто профессора не услышит! Едьте все в Карнеги-холл! Профессор будет говорить там. По дороге сообщите своим друзьям и знакомым.

Весть о лекции облетела Нью-Йорк с быстротой молнии. Когда профессор подошел к микрофону, зал уже был набит битком. Спустя несколько минут громкоговорители были установлены на улице, чтобы могли слышать те, кому не посчастливилось пробиться в зал.

Не было на Земле ни одного импрессарио, имеющего в кармане миллион долларов, который с радостью не отдал бы этот миллион, чтобы организовать передачу лекции по радио и телевидению. Но радио и телевидение молчали.

— Вопросы есть? — спросил профессор.

Репортер в первом ряду задал первый вопрос.

— Профессор, — сказал он, — а что, все пеленгаторные радиостанции подтверждают то, о чем вы сейчас говорили? Я имею в виду ослабление сигналов, которое началось сегодня днем.

— Все без исключения. Сегодня в полдень все сигналы, принимаемые радиостанциями, стали слабеть. В 14 часов 25 минут сигналы прекратились совсем. До этого времени, как установлено, радиоволны приходили из одной точки космоса, находящейся в созвездии Льва.

— С какой-нибудь определенной звезды созвездия Льва?

— Если и со звезды, то эта звезда не обозначена на наших картах звездного неба. Радиоволны либо испускались точкой космического пространства, либо посылались со звезды, которую не видно с помощью наших земных телескопов. Сегодня же или, точнее, вчера, поскольку сейчас уже больше полуночи, в 14 часов 45 минут все пеленгаторные радиостанции замолчали. А радиопомехи продолжают существовать, причем радио- и теплосъемники ловят их на волнах всех диапазонов. Таким образом, космические пришельцы полет на Землю завершили. Это единственный возможный вывод: В настоящее время атмосфера пронизана излучениями типа радиоволн, которые не имеют источника, распространяются в эфире в любых направлениях и могут произвольно менять волну. Длина пришлых радиоволн равняется длине земных, коковые и явились приманкой для агрессора.

— Как вы все-таки считаете, они были посланы с какой-то звезды или просто испускались точкой космического пространства?

— Я склоняюсь ко второй гипотезе. В самом деле, в этом нет ничего невозможного. Они ведь не вещественные существа, а имеют волновую природу. Если все-таки они родились на звезде, то тогда, по всей вероятности, мы имеем дело с «черной дырой», поскольку, находясь не так далеко от нас по масштабам Вселенной, а именно на расстоянии каких-то двадцати восьми световых лет, звезда эта в наши телескопы не видна.

— Как было рассчитано расстояние?

— Можно предположить с большой долей вероятности, что космические пришельцы пустились в путь, когда обнаружили радиосигналы «с-с-с», посланные в эфир пятьдесят шесть лет назад. Ведь первые радиопомехи были копией именно этих сигналов. Ясно, что сигналам, распространявшимся со скоростью света, понадобилось двадцать восемь лет, чтобы достичь источника радиоволн, совершивших нападение. Столько же, то есть двадцать восемь лет, потребовалось и пришельцам для перелета на Землю, поскольку и те и другие распространяются с одинаковой скоростью, а именно со скоростью света. Но тогда расстояние от нас до источника излучения в космосе равно двадцати восьми световым годам. Как и следовало ожидать, только первые пришедшие из космоса сигналы имели вид сигналов Морзе. Последующие имели уже иной вид, уподобляясь встречающимся на пути волнам. Точнее было бы сказать, не уподобляясь волнам, а поглощая их. И вот теперь в атмосфере Земли витают обрывки радио- и телепрограмм, которые передавались не только в более давние времена, но и два-три дня назад. Несомненно, эфир кишит сейчас и обрывками самых последних передач всех радио- и телецентров, но распознать их довольно трудно.

— Вы не могли бы, профессор, описать хотя бы одного представителя космических пришельцев?

— Разумеется, могу, ибо вряд ли кто знает о радиоволнах больше, чем я. Ведь космические пришельцы — это, в сущности, настоящие радиоволны. Единственная их особенность заключается в том, что у них нет источника излучения. Они представляют собой волновую форму живой природы, зависимую от колебаний поля, как наша земная жизнь зависит от движения, вибрации вещества.

— Какой они величины? Одинаковые или все разные?

— Все они имеют разную величину. Причем измерять их можно двояко. Во-первых, от гребня до гребня, что дает так называемую длину волны. Приемник ловит волны определенной длины какой-то одной точкой диапазона. Что же касается пришельцев, то для них шкалы радиоприемника просто не существуют. Им одинаково доступна любая длина волны. А это означает, что либо

они по самой своей природе могут появляться на любой волне, либо могут менять длину волны произвольно, по собственному хотению.

Во-вторых, можно говорить о длине волны, определяемой ее общей протяженностью. Допустим, что радиостанция ведет передачу одну секунду, тогда соответствующий сигнал имеет протяженность, равную одной световой секунде, что составляет приблизительно 187 000 миль. Если передача длится полчаса, то протяженность сигнала равна половине светового часа и т. д. и т. д.

Что касается пришельцев, то их протяженность разнится от индивидуума к индивидууму в пределах от нескольких тысяч миль — в этом случае мы говорим о протяженности в несколько десятых световой секунды — до полумиллиона миль, тогда протяженность волны равна нескольким световым секундам. Самый длинный зарегистрированный сигнал — отрывок из радиопередач — длился восемь секунд.

— А почему все-таки, профессор, вы считаете, что эти радиоволны — живые существа? Почему не просто радиоволны?

— Потому что просто радиоволны, как вы говорите, подчиняются определенным физическим законам, подобно всякой неодушевленной материи. Камень не может, подобно зайцу, взбежать на гору, он катится вниз. Вознести его на гору может только приложенная к нему сила. Пришельцы — особая форма жизни, потому что они способны проявлять волю, потому что они могут произвольно менять направление движения, а главным образом потому, что они при любых обстоятельствах сохраняют свою целостность. Радиоприемник еще ни разу не передал двух слившихся сигналов. Они следуют один за другим, но не накладываются друг на друга, как бывает с радиосигналами, переданными на одной волне. Так что, как видите, мы имеем дело не «просто с радиоволнами».

— Можно утверждать, что эти волны — мыслящие существа?

Профессор Хелметц снял очки и долго в глубокой задумчивости протирал их.

— Сомневаюсь, — наконец, сказал он, — что мы когда-нибудь это узнаем. Их разум, если он им присущ, явление до такой степени отличное от нашего человеческого разума, что вряд ли мы когда-нибудь сможем вступить с ними в общение. Мы — существа вещественные, они — полевые. И общего языка нам не найти.

— Но если они все-таки разумные существа...

— Муравьи — тоже разумные существа в каком-то смысле. Называйте их разум инстинктом, но ведь инстинкт — это особый вид сознания. Во всяком случае, с помощью инстинкта они совершают действия, которые могли бы совершать с помощью разума. Одна-

ко мы ведь до сих пор не установили контакт с муравьями. Общение с космическими пришельцами еще менее вероятно. Да, я не верю, что мы будем когда-нибудь с ними общаться.

Профессор, как показало будущее, оказался прав. Никто из людей так никогда и не вступил в общение с пришельцами.

На следующий день радиоконпания вздохнули спокойно: их акции на бирже стабилизировались. Но днем позже кто-то задал профессору Хелметцу вопрос, оказавшийся роковым для радиовещания. Ответ профессора был немедленно опубликован всеми газетами.

— Вы спрашиваете, сможем ли мы когда-нибудь снова наладить радиотрансляцию? Думаю, что нет. Во всяком случае, до тех пор, пока пришельцы не покинут околоземное пространство. А зачем, собственно, им покидать нас? Предположим, что где-нибудь во Вселенной жители какой-нибудь отдаленной планеты изобретут у себя радио. Наши гости каким-то образом почувют новый источник излучения и пустятся в новое дальнее странствие. Но стоит нашим радиостанциям заработать, как они тут же вернутся обратно, если не все, то во всяком случае, некоторые из них.

А спустя час после опубликования этого ответа все радиоконпания почили с миром — стоимость их акций упала до нуля. Все произошло тихо и благопристойно: никакой паники на бирже, никаких безумств, потому что никто ничего никому не продавал и никто ничего не покупал. Ни одна акция ни одной радиоконпании не перешла из рук в руки. Администрация, рабочие, актеры, писатели, художники — словом, все, кто был причастен к работе радио- и телестудий, бросились на поиски другого заработка. И надо сказать, что недостатка в работе не было. Все другие виды массового развлечения — цирк, эстрада, театр — вдруг вступили в полосу бума, народ валом валил на любые представления.

— Двух нет, — сказал вдруг Джордж Бейли.

Бармен удивленно поднял глаза и спросил, что Джордж хочет этим сказать.

— Я и сам не знаю, Хэнк. У меня предчувствие.

— Какое?

— Тоже не знаю. Смешай-ка мне еще порцию, и пойду я домой.

Электромиксер не работал, и бармен стал встряхивать питье рукой.

— Отличное упражнение, Хэнк. Как раз для тебя. Жирок-то мигом порастраешься, — пошутил Джордж.

Хэнк улыбнулся, опрокинул над бокалом миксер с коктейлем, кубик льда весело звякнул о стекло.

Джордж Бейли не торопясь выпил коктейль и вышел на улицу. Снаружи бушевала первая апрельская гроза. Джордж стоял под навесом, вдыхая влажную весеннюю свежесть, и дожидался такси. Рядом стоял незнакомый старик.

— Дивная погода, — заметил Джордж.

— Хе-хе-хе. Вы тоже обратили внимание?

— На что обратил?

— А вы понаблюдайте, мистер. Понаблюдайте!

Старик уехал. Зеленого огонька все не было. Джордж смотрел на льющиеся с неба потоки, на плотные свинцовые тучи, слушал раскаты грома и вдруг понял. Понял, о чем говорил старик. Челюсть у него отвисла. Захлопнув рот, он двинулся обратно в бар. Вошел в телефонную будку и стал звонить Питу Малвени.

Первые три раза он попадал не туда. На четвертый голос Пита сказал: «Слушаю».

— Привет, старина. Говорит Джордж Бейли. Ты обратил внимание на грозу?

— Конечно! Чертовщина какая-то. Молний-то нет. А должны быть при такой грозе.

— Что ты об этом думаешь? Неужели волновики?

— Разумеется, они. И это только начало. Если...

В трубке что-то щелкнуло, и голос Пита пропал.

— Алло, алло, Пит! Ты слушаешь?

Из трубки доносилась игра на скрипке. Пит, как известно, на скрипке не играл.

— Пит! Что, черт возьми, происходит?

— Жми ко мне, — снова послышался голос Пита. — Телефон при последнем издыхании. И захвати с собой... — В трубке снова что-то зажужжало, и чей-то голос сказал: «Посетите Карнеги-холл. Самые лучшие мелодии...»

Джордж бросил трубку.

Под проливным дождем он пешком двинулся к Питу. По дороге купил бутылку виски. Пит сказал: «Захвати...» Может, он имел в виду виски?

Да, именно это имел в виду Пит.

Приятели приготовили коктейль и подняли бокалы. Свет вдруг замигал и погас. Зажегся снова, но волосок в лампочке едва накалился.

— Нет молний, — посоветовал Джордж. — Нет молний и скоро не будет света. Барахлит телефон. Интересно, что они делают с молниями?

— Думаю, что едят. По-моему, они должны питаться электричеством.

— Нет молний,— повторил Джордж.— Проклятье. Я могу обойтись без телефона. Свечи и керосиновые лампы, на мой взгляд,— отличное освещение. Но мне жалко молний. Я люблю, когда сверкают молнии. Проклятье!

Свет потух совсем.

Пит Малвени потягивал коктейль в темноте.

— Электрический свет, холодильники, электрические тостеры, пылесосы...

— Автоматические проигрыватели в кафе,— продолжил Джордж.— Вот счастье-то — не будет этих подлых проигрывателей. А как же кино?

— Тоже не будет. Даже немного. От керосиновой лампы не сможет работать никакой кинопроектор. Слушай, Джордж, а ведь и автомобилей не будет. Бензиновый двигатель без электричества — грудка металлолома.

— Почему это? Двигатель заводится не только стартером, но и рукой.

— А искра, Джордж? Ты что, не знаешь, откуда берется искра?

— Я и забыл про искру. Значит, и самолеты приказали долго жить? А как реактивные?

— Некоторые типы реактивных двигателей как будто могут обойтись без электричества, да толк-то какой? На реактивном самолете, кроме двигателя, до черта всяких приборов, и все они работают от электричества. Голыми руками самолет от земли не оторвешь и на собственную задницу не посадишь.

— Радара не будет. Да и на кой черт он теперь? Войн ведь не будет, по крайней мере, в ближайшие сто лет.

— Если не двести.

— Послушай-ка, Пит,— Джордж вдруг выпрямился в кресле.— А что будет с атомным распадом? С атомной энергией? С ней ничего не случится?

— Сомневаюсь. Внутриаомные явления все имеют электрическую природу. Держу пари, они питаются не только электронами, думаю, не гнушаются и свободными нейтронами. (И Пит выиграл бы это пари: атомная бомба, которую испытывали в тот день в Неваде, зашипела, как подмоченная шутиха, и тут же погасла, а ядерные реакторы на атомных электростанциях один за другим выбывали из строя. Правительство, правда, предпочло об этом в печати не сообщать.)

Джордж медленно покачал головой, лицо его выражало крайнюю степень изумления.

— Автомобили, троллейбусы, океанские лайнеры, но ведь это значит, Пит, что мы возвращаемся к допотопной лошадиной силе.

Рысаки, тяжеловозы! Если ты думаешь, Пит, вкладывать во что-то деньги, покупай лошадей. Дело верное. Особенно кобыл. Племенная кобыла будет стоить столько, сколько кусок платины, равный ее живому весу.

— Пожалуй, к тому идет. Хотя мы забыли про пар. У нас еще останутся паровые машины, стационарные и локомотивы.

— А ведь верно. Снова впряжем стального коня. Для поездок на дальние расстояния. Но для ближних поездок — верный добрый конь. Ты едешь верхом?

— Когда-то ездил. Теперь уж годы не те. Я предпочитаю велосипед. Советую тебе застра купить первым делом велосипед, пока еще страсти вокруг них не разгорелась. Я так непременно куплю.

— Это идея, Пит. Я когда-то очень недурно ездил на велосипеде. Как теперь славно будет прокатиться на велосипеде, едешь и не боишься, что вот-вот тебя собьют, сомнут, раздавят. И знаешь еще что...

— Что?

— Куплю-ка я себе корнет-а-пистон. Мальчишкой я очень прилично играл на корнете. Думью, что и сейчас еще смог бы. И еще, может, уеду куда-нибудь в глухое местечко, напишу наконец свой ро... Послушай, а как насчет типографии?

— Не бойся, книги умели печатать задолго до электричества. Конечно, все печатные станки придется переделать, перевести с электричества на пар, на что потребуется время. Но книги, Джордж, будут выходить, слава Богу.

Джордж Бейли усмехнулся и встал из-за стола. Подошел к окну, посмотрел в черноту ночи. Гроза прошла, небо было ясное.

Напротив, посередине улицы, застыл, как мертвый, пустой трамвай. Из-за угла выехал автомобиль, остановился, двинулся было с места, немного прсехал, снова остановился. Свет его фар быстро слабел и наконец погас.

Джордж взглянул на небо, поднес бокал к губам, сделал глоток.

— Нет молний,— печально проговорил он.— Я начинаю жалеть о молниях.

Жизнь, вопреки ожиданию, входила в колею довольно гладко.

Правительство на чрезвычайной сессии приняло мудрое решение о создании единого органа с неограниченными полномочиями — Совета экономической реорганизации с тремя подведомственными ему комиссиями. На Совет была возложена задача координировать действия этих трех комиссий и быстро, без проволочек

урегулировать между ними споры и разногласия. Причем решения его были окончательные и обязательные для всех.

Первая комиссия ведала транспортом. Она немедленно взяла под свое начало все железные дороги страны. Было отдано распоряжение отвести на запасные пути все дизельные локомотивы, в самый короткий срок привести в порядок и пустить в действие все имеющиеся в наличии паровозы, наладить работу путей сообщения без телеграфа и электрической сигнализации. Пока все это приводилось в исполнение, комиссия занималась очередностью перевозок. Было решено в первую очередь перевозить пищевые продукты, затем топливо: уголь и нефть. И затем уже промышленную продукцию по степени важности ее для экономики страны. Вагоны за вагонами, груженные новыми радиоприемниками, электроплитами, холодильниками и другими столь же ненужными теперь товарами, бесцеремонно опрокидывались под откос вдоль железнодорожных линий, откуда их увозили потом на переплавку.

Все лошади были объявлены собственностью государства, зарегистрированы и распределены в зависимости от физического состояния либо на различные виды работ, либо для воспроизводства на племенные заводы. Ломовые лошади использовались для перевозок только в самых экстренных случаях. Особое внимание было уделено разведению лошадей. Комиссия подсчитала, что конный парк за два года удвоится, за три — возрастет вчетверо, а через шесть-семь лет лошадь уже будет в каждом гараже вместо автомобиля.

Поскольку фермеры временно остались без конного тягла, а тракторы ненужным хламом ржавели в полях, приходилось обучать их использовать крупный рогатый скот для вспашки и других сельскохозяйственных работ, вплоть до перевозок на небольшие расстояния легких грузов.

Вторая комиссия называлась Бюро перемещения рабочей силы, и занималась она в точности тем, что следовало из ее названия. Бюро выплачивало пособия и компенсации миллионам людей, которые временно остались без работы, подыскивало им новое дело и помогало устраиваться на новом месте.

Третья комиссия, ведавшая всеми энергетическими ресурсами страны, занималась решением самых трудных задач. Ей предстояло выполнить грандиозную задачу: перевести все предприятия страны с электричества на пар и наладить выпуск приборов, машин, двигателей и аппаратуры, работающих без электричества.

Было разыскано несколько стационарных паровых двигателей, которые в те первые дни работали безостановочно все двадцать четыре часа в сутки. Они приводили в действие токарные, штамповочные, строгальные и фрезерные станки, которые, в свою оче-

редь, производили детали новых паровых двигателей всех размеров и любой мощности. Число паровых двигателей росло в геометрической прогрессии, как и число лошадей на племенных коннозаводах. Принцип был тот же. Первые паровые двигатели так и назывались в шутку племенными жеребцами. В металле недостатка не было. Склады фабрик были забиты продукцией, которую нельзя было перевести на другую тягу и которая вследствие этого ожидала своей очереди в переплавку.

И только когда паровых двигателей стало достаточно, чтобы обеспечить энергетическую базу тяжелой промышленности, их стали использовать для производства товаров широкого потребления: керосиновых ламп, одежды, керосинок и примусов, печей, которые топятся углем, ванн, кроватей, велосипедов.

Некоторые крупные фабрики и заводы нельзя было перевести на новую тягу. Они закрывались и прекращали свое существование. Вместе с тем в период реконструкции в различных местах возникали тысячи мелких кустарных предприятий. Мастерские, где работали один или два человека, производили и починяли мебель, обувь, свечи и другие самые разнообразные товары, производство которых не требовало сложного дорогостоящего оборудования. На первых порах они давали ничтожную прибыль. Но мало-помалу самые преуспевающие стали аставать на ноги: покупали небольшой паровой двигатель, станки, приводимые в действие этим двигателем, и по мере оживления деловой активности, восстановления занятости населения и роста покупательной способности разрастались и крепили, начиная конкурировать с уже более крупными существующими предприятиями по количеству производимого товара и обгонять их по качеству.

Конечно, в этот первоначальный период реконструкции не обошлось без жертв: крушений надежд, внезапного обнищания, личных драм, но все это ни в какое сравнение не шло с тем морем бедствий, которые породил великий кризис начала тридцатых годов. И оздоровление экономики шло куда более быстрыми темпами.

Причина была очевидна: борясь с кризисом и его последствиями, правительства действовали вслепую. Они не знали истинных причин кризиса, вернее, им были ведомы тысячи причин, противоречивых и недостоверных, но как избавиться от кризиса, они не имели ни малейшего понятия. Они полагали, что кризис — явление временное и случайное и что он должен изжить сам себя, — в этом было их главное заблуждение. Честно говоря, они не понимали тогда ничего. Рушились состояния, тысячи людей оставались без крова, работы и куска хлеба, а они экспериментировали, позволяя кризису расти с неумолимостью снежного кома.

Положение, в котором очутилась страна в 1957 году (и все другие страны, разумеется), было ясным и понятным: из жизни было изъято электричество. Отсюда сам собой вытекал неопровержимый вывод: надо вернуться к пару и лошадиной силе.

Ясно и понятно. Никаких там «если бы», «но», «на всякий случай». И весь народ, кроме, как водится, горсточки маньяков, принялся активно перестраивать жизнь.

Так подошел 1961 год.

Был сырой промозглый апрельский день, накрапывал дождь, Джордж Бейли ожидал прихода трехчасового поезда на маленькой станции городка Блейстаун, что в штате Коннектикут. Он прохаживался под навесом вдоль платформы, гадая, кто может пожаловать к ним в такую глушь с этим поездом.

Поезд подошел в три шестнадцать. Пыхтя и отдуваясь, паровоз тащил за собой три пассажирских вагона и один багажный. Дверь багажного вагона открылась, просунулась рука с мешком почты, и дверь снова закрылась. Багажа никакого — значит, никто не приехал...

Высокая темная фигура появилась вдруг на площадке последнего вагона. Человек спрыгнул на перрон, и у Джорджа Бейли вырвался из груди радостный вопль.

— Пит! Дружище! Каким ветром тебя занесло к нам!

— Бейли! Вот уж неожиданность! Что ты здесь делаешь?

— Я? — Джордж тряс руку Пита. — Я здесь живу. Вот уже два года. Купил в 59-м газетку «Блекстоун ункин». Купил, можно сказать, даром. И вот теперь в одном лице совмещаю владельца газеты, редактора, репортера и сторожа. Держу одного печатника. Отдел городской хроники ведет Мейзи. Она...

— Мейзи? Мейзи Хеттерман?

— Мейзи Бейли, лучше скажи. Мы поженились, как только я купил газету, и переехали сюда. А ты как здесь оказался?

— Я сюда по делам. До завтра. Должен встретиться с неким Уилкоксом.

— С Уилкоксом? Это наш местный чудак. Не пойми меня неправильно. В общем-то, он славный парень. Увидишь его завтра. А сейчас давай к нам. Пообедаем, переночуешь у нас. Мейзи очень тебе обрадуется. Моя двуколка ждет у вокзала.

— Отлично. Едем, если ты уже кончил здесь все свои дела.

— Да я за тем только здесь, чтобы посмотреть, кто придет. А приехал-то, оказывается, ты. Так что все в порядке. Идем.

Приятели сели в двуколку. Джордж взял вожжи.

— Н-но, Бетси, — понукнул он кобылу и сказал, обращаясь к Питу:

— Ты чем теперь занимаешься, старина?

— Провожу исследования для одной газовой компании. Ищем более экономичную газокалильную сетку. Чтобы давала более яркое пламя и не так изнашивалась. Этот парень Уилкоккс написал нам, что у него есть кое-что интересное для нас. Компания и послала меня взглянуть, что он придумал. Если дело стоящее, приглашу его с собой в Нью-Йорк, и компания попробует заключить с ним контракт.

— А как идут дела компании?

— Блестяще. За газом будущее, Джордж. Каждый новый дом теперь газифицируют, и многие старые переводят на газовое освещение и отопление. У тебя дома как?

— Тоже, конечно, газ. К счастью, один из моих линотипов очень старого образца, и тигель в нем нагревается от газовой горелки. Так что газ к дому подведен очень давно. Наша квартира расположена прямо над типографией, и газ пришлось тянуть всего на один этаж. Газ — великая вещь. А как поживает Нью-Йорк?

— Прекрасно! Ньюйоркцев теперь всего один миллион. Народу на улицах мало, места стало хватать всем. Воздух лучше, чем в Атлантик-Сити. Представляешь себе, огромный город, не отравленный бензиновым перегаром?

— Лошадей для поездок хватает?

— Можно сказать, хватает. Но главный вид транспорта теперь — велосипед. Всех от мала до велика охватила велосипедомания. Спрос так велик, что удовлетворить его нет никакой возможности. Заводы работают на полную мощность и не справляются. Почти на каждой улице открылся велолюб. На велосипедах ездят на работу и с работы. Очень полезно для здоровья. Еще два-три года — о докторам и думать забудем.

— У тебя самого-то есть велосипед?

— А как же. Еще старинного образца, эпохи электричества. Делаю на нем ежедневно по пять миль, чем и нагуливаю прямо-таки волчий аппетит.

— Скажу Мейзи, чтобы включила в меню ярочку покрупнее, — пошутил Джордж. — Ну вот мы и приехали. Тпру-у, Бетси.

Из окна на втором этаже высунулась Мейзи, глянула вниз.

— Пит! Здравствуй! Надолго к нам?

— Ставь на стол еще один прибор, — крикнул жене Джордж. — Вот только распрягу лошадь, покажу Питу наше хозяйство и будем обедать.

Из конюшни Джордж черным ходом повел Питу в типографию.

— Наш линотип, — гордо сказал он, показывая на станок,

— Работает от парового двигателя?

— Еще не работает,— улыбнулся Джордж.— Набираем пока вручную. Мне удалось достать всего один двигатель для ротации. Но я уже заказал еще один — для линотипа. Получу его через месяц. Мой наборщик Поп Дженкинс научит меня работать на линотипе, и мы распрощаемся. С линотипом я смогу вести все дело один.

— Не жестоко ли это по отношению к Дженкинсу?

— Какое там жестоко,— покачал головой Джордж.— Он ждет не дожется, когда двигатель наконец придет. Ему седьмой десяток, хочется и на покой. Он и поработать-то согласился временно, покуда я не могу обходиться без него. А это мой печатник, старый добрый Мейол. Он у нас не стоит без дела. А это редакция, окна ее выходят на улицу. Хлопотливое дело, но стоящее.

Маявени оглядел все кругом и, улыбувшись, сказал:

— Я вижу, Джордж, ты нашел свое место в жизни. Ведь ты прирожденный газетчик, собиратель новостей и средоточие общественных интересов маленького города.

— Прирожденный, говоришь? Я влюблен в свою работу. Вернись ли, я работаю, как вол, и счастливее меня нет человека на земле. Ну а теперь идем наверх.

— А как роман, который ты все грозился написать? — спросил Пит, поднимаясь по лестнице.

— Половина уже написана. И знаешь, по-моему, получается очень неплохо. Но разве тогда я думал о настоящей литературе? Я был циником. Только теперь...

— Я вижу, Джон, космики — твои лучшие друзья.

— Какие космики?

— Интересно, сколько времени нужно словечку, родившемуся в Нью-Йорке, на то, чтобы завоевать право гражданства в провинции? Я говорю о волновиках, разумеется. Один ученый, занимающийся ими, как-то в разговоре назвал их космиками. Ну и пошло — космики, космики... Мейзи, привет! Какая ты стала красавица!

Ели за обедом неторопливо, с чувством. Джордж принес из погреба холодное пиво в бутылках.

— Боюсь, Пит, ничем более крепким не могу тебя угостить,— сказал он смущенно.— Последнее время совсем перестал пить. Может...

— В трезвенники записался?

— Не то чтобы записался. И зарокоев как будто не давал. Но вот уже почти год во рту ни капли спиртного не было. Не знаю даже, чем объяснить...

— А я знаю, Джордж,— прервал приятеля Пит.— Я точно знаю, почему ты не пьешь, я ведь и сам теперь пью очень мало. Мы не пьем, потому что для этого нет больше причин. У тебя радиоприемник есть?

— Есть,— усмехнулся Джордж,— бережем как память. Не расстанусь с ним ни за какие деньги. Взгляну на него другой раз и вспомню, какую чушь мне приходилось выдавливать из себя для его ублажения. Тогда я подхожу к нему, щелкаю выключателем и ничего—тишина! Тишина, по-моему, самая чудесная в мире вещь. Осыпьте меня золотом, я не стал бы сейчас включать этот сундук, если бы в проводах бежал, как раньше, электрический ток. Большое удовольствие слушать этих космиков! А что, эфир все еще забит ими?

— Скорее всего забит. Научно-исследовательский физический центр в Нью-Йорке проводит ежедневные пробы. У них есть крошечный генератор, приводимый в действие паровым двигателем, который они регулярно пускают. И результат всегда один: космики мгновенно пожирают генерируемый ток.

— А вдруг в один прекрасный день они улетят обратно?

— Хелметц считает,— пожал плечами Пит,— что бояться этого не надо! Он говорит, что волновники размножаются пропорционально имеющемуся в их распоряжении электричеству. Даже если еще где-нибудь во Вселенной изобретут радиовещание и космики, соблазнившись, отправятся туда, часть их все равно останется. И стоит заработать нашим динамо-машинкам, оставшиеся особи начнут размножаться, как мухи, и опять наводнят эфир. Сейчас же они питаются атмосферным электричеством. А как вы здесь развлекаетесь? Что делаете по вечерам?

— По вечерам? Читаем, пишем, ходим в гости, участвуем в любительских спектаклях и концертах. Майзи—руководитель любительской театральной студии. Я тоже иногда участвую в спектаклях, на третьих ролях, конечно. С тех пор как кино отошло в область преданий, все поголовно увлечены театром. И представьте себе, у нас в Бейктауне обнаружился настоящие таланты. Еще у нас есть шахматный и шашечный клубы, часто устраиваем пикники, велосипедные прогулки по окрестностям. Времени на все хватает. Я уж не говорю о музыке, сейчас все играют на каком-нибудь инструменте или, по крайней мере, пытаются играть.

— А ты?

— Играю, конечно. На корнет-а-пистоне. Первый корнет в нашем местном оркестре, играю и соло. К тому же... Боже мой, я и забыл. Сегодня у нас репетиция. В воскресенье даем концерт в городской ратуше. Мне очень не хочется покидать вас...

— А мне нельзя с тобой пойти? Я перед отъездом сунул на всякий случай в саквояж флейту...

— Флейту! Чудесно. У нас как раз не хватает флейт. Неси ее сюда и пойдем. Держу пари, наш дирижер Си Петкинск пленит тебя до воскресенья. Оставайся. Что тебе — ведь это всего на три дня. Давай перед уходом сыграем несколько пассажей для разминки и двинули. Мейзи, тащи скорее на кухню остатки пиршества и садись за пианино.

Пит Малвени пошел в отведенную для него комнату за флейтой, а Джордж Бейли взял с пианино корнет-а-пистон и проиграл на нем нежную, полную грусти мелодию в минорном ключе. Звук был чист, как звон колокольчика. Губы Джорджа были сегодня в полном порядке.

Держа в руке серебристо поблескивающий рожок, он тихо подошел к окну и поглядел на улицу. Сумерки сгустились совсем, дождя не было.

Невдалеке, цокая копытами, галопом проскакала лошадь, звякнул звонок велосипеда. На другой стороне улицы кто-то наигрывал на гитаре и пел. Джордж глубоко и умиротворенно вздохнул.

Нежно и терпко пахло весной, влажной весенней свежестью.

Мирные апрельские сумерки.

Отдаленное бормотание грома.

«Господи, — подумалось Джорджу, — хотя бы одну малюсенькую молнию».

Джордж жалел о молниях.

Перевела с английского
МАРИЯ ЛИТВИНОВА

СОДЕРЖАНИЕ

ВПЕРЕД И ВЫШЕ. Е. Ванлова	3
СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА	7
Зиновий Юрьев. Черный Яша	8
Ариадна Громова. Дачные гости	69
Кир Булычев. Мутант	85
Дмитрий Биленкин. Операция на совести	93
Александр Горбовский. Игрища в зале, где никого нет	102
Игорь Россоховатский. Учитель	112
Роман Подольный. Живое	118
Михаил Кривач, Альберт Ольгин. Не может быть	123
Эрнест Маринин. Тете плохо, выезжая	125
ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА	141
Рэй Брэдбери. «Чудеса и диковины! Передай дальше!» Перевел с английского Ростислав Рыбкин	142
Мануэль Гарсиа Виньо. Возвращение. Перевел с испанского Ростислав Рыбкин	151
Джеймс Ганн. Девушки, сработанные по науку. Перевела с английского В. Лимановская	157
Э. Голигорски. Он решил вернуться. Перевел с испанского Ростислав Рыбкин	165
Чарлз Бомонт. Квадриптикон. Перевела с английского С. Васильева	170
Хосе Гарсиа Мартинес. Роб-ерт и Роб-ерта. Перевел с испанского Ростислав Рыбкин	192
Деймон Кант. Кукловод. Перевела с английского Светлана Васильева	195
Том Вулф. Автоматизированный отель. Перевел с ан- глийского Ростислав Рыбкин	200
Г. Л. Лак. Упрямый робот. Перевела с английского Элла Башилова	209
Фредерик Браун. Волновики. Перевела с английского Мария Литвинова	215

Научно-художественное издание

Сборник научной фантастики

ОПЕРАЦИЯ НА СОВЕСТИ

Составитель Ростислав РЫБКИН

Главный отраслевой редактор В. П. Демьянов.

Редактор С. П. Столпник.

Мл. редактор М. Б. Гришина.

Техн. редактор Н. В. Клецкая.

Корректор С. П. Ткаченко.

ИБ № 11653

Сдано в набор 18.04.91. Подписано к печати 22.07.91. Формат бумаги 84×108 1/2. Бумага газетная. Гарнитура журнально-рублиная. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 18,11. Тираж 600 000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.). Заказ 1—162. Цена 3 р. 60 к.

Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 917735.

Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины (МДС) «Молодь». 254119, Киев, ул. Пархоменко, 38—44.

3 р. 60 к

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

